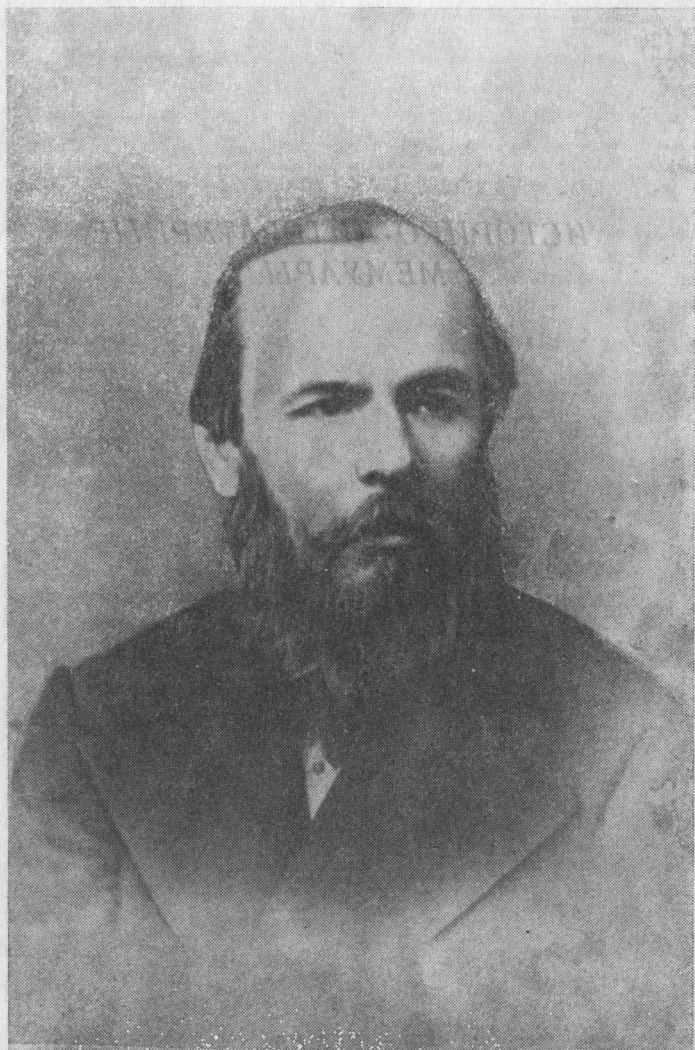


Ф.М. Достоевский
в забытых
и неизвестных
воспоминаниях
современников





Ф. М. Достоевский

Фотография. 1876 г.



Ф.М. Достоевский
в забытых
и неизвестных
воспоминаниях
современников



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



„АНДРЕЕВ И СЫНОВЬЯ“

1993

Со дня выхода двухтомника «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников» под редакцией А. С. Долинина прошло почти три десятилетия (одноименный двухтомник под редакцией К. И. Тюнькина в 1990 году, по существу, повторил это издание). За пределами двухтомника 1964 года, в связи с тем что туда включались после многолетнего забвения имени Достоевского в годы борьбы с космополитизмом и в силу тогдашних идеологических установок лишь наиболее известные и крупные мемуары, остался целый ряд мемуаров русской эмигрантской прессы, столичной и провинциальной печати, которые уже давно забыты. В двухтомник не вошли также неизвестные воспоминания о писателе, хранящиеся в отечественных архивах.

Однако главная цель настоящего издания «Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников» — показать, что единственный возможный подход к пониманию личности великого русского писателя — это нравственный христианский подход. Вот в чем высший христианский смысл слов А. С. Пушкина: «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

Вступительная статья, подготовка текста и примечания

С. В. Белова

Управляющий издательством *А. В. Старынин*

Оформление *В. Д. Кашина*

«ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙСТВО — ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТИМЫЕ»

Первую попытку собрать воспоминания современников о жизни и творчестве Федора Михайловича Достоевского предпринял в 1912 г. литературовед В. Е. Чехихин-Ветринский, выпустив сборник «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, письмах и заметках». Прошло полвека, и известный исследователь жизни и творчества Достоевского Аркадий Семенович Долинин, вместе со своими учениками, выпускает в 1964 г. двухтомное издание «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников». Наконец, в 1990 г. редактор этого издания К. И. Тюнькин, уже под одной своей фамилией, выпускает снова двухтомное издание «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», которое, по существу, является повторением предыдущего издания.

Еще в начале 1960-х гг. А. С. Долинин попросил автора этих строк составить указатель всех печатных мемуаров о Достоевском. Тогда удалось найти 183 источника¹. Впоследствии эта работа была продолжена и был составлен аннотированный указатель не только всех печатных, но и рукописных воспоминаний о Достоевском, хранящихся в архивах нашей страны².

Со дня выхода двухтомника А. С. Долинина «Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников» прошло почти три десятилетия. За это время исследователями, в том числе и автором этих строк, был найден целый ряд интереснейших печатных мемуаров из русской эмигрантской прессы. До сих пор есть неизданные воспоминания в наших архивах.

Кроме того, за пределами двухтомника 1964 г., в силу того что туда включались после многолетнего забвения имени Достоевского в годы борьбы с космополитизмом и в силу тогдашних идеологических установок лишь наиболее известные и крупные мемуары, остался целый ряд мемуаров, появившихся в русской провинциальной печати, которые уже давно забыты.

Так возникла мысль выпустить настоящее издание —

¹ См.: Белов С. В. Достоевский в воспоминаниях современников: Библиогр. указатель//Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1964. С. 478—489.

² См.: Белов С. В. Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников (Библиогр. указатель)//Проблемы жанра в истории русской литературы. Л., 1969. С. 276—316.

«Ф. М. Достоевский в забытых и неизвестных воспоминаниях современников».

Однако главная цель настоящего издания — на примере забытых и неизвестных мемуаров современников показать, что единственный возможный подход к пониманию личности Достоевского — это нравственный христианский подход. Вот в чем высокий христианский смысл слов Александра Сергеевича Пушкина: «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

На вечере памяти Достоевского 14 февраля 1881 г. его друг, поэт А. Н. Майков отметил, что «он постоянно стремился к тому, чтобы знать прошлое и понимать настоящее. Благодаря этому качеству, Достоевский был таким человеком, что если бы все люди были похожи на него, то на земле был бы рай. Его постоянной заботой и тревогою было то, понимают ли то, что он называл «главным»¹.

А. Шопенгауэру принадлежит замечательно верное изречение, что к великим произведениям живописи нужно относиться как к высочайшим особам. Перефразируя философа, скажем, что и к гениям надо тоже относиться как к высочайшим особам, тем более когда речь идет о национальном достоянии России, имя которому — Федор Михайлович Достоевский. Недаром же Валентин Распутин сделал такую запись в книге отзывов Дома-музея Ф. М. Достоевского в Старой Руссе: «Здесь дух святой Федора Михайловича — и как хорошо, что он есть! Спасибо вам, дорогие русские женщины, за то, что вы храните его имя... Как много всего, во имя чего следует его хранить».

А между тем великий русский писатель, о котором Н. А. Бердяев сказал, что «Достоевский и есть та величайшая ценность, которой оправдывает русский народ свое бытие в мире, то, на что может указать он на Страшном Суде народов»², подвергался у нас в последние годы и как человек, и как писатель такому препарированию, что даже герой «Бобка» с его криком «заголимся и обнажимся» показался бы целомудренным человеком.

Началось все с гнусной клеветы Н. Н. Страхова, который в 1883 г. приписал преступление Свидригайлова и Ставрогина самому их создателю (об истоках этой клеветы рассказывает в настоящем издании З. А. Трубецкая). Но ведь Страхов сделал это все-таки в частном письме к Л. Н. Толстому³, а публично же он писал много хорошего и о Достоевском-человеке и о его творчестве⁴.

¹ Новое время, 1881, 16 (28) февраля, № 1786.

² Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923. С. 238.

³ См.: Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1914. Т. 2. С. 307.

⁴ Историю этой клеветы Н. Н. Страхова подробно исследовал и убедительно опроверг В. Н. Захаров в своей книге «Проблемы изучения Достоевского» (Петрозаводск, 1978), хотя и опровергать-то ничего не надо было, ибо «гений и злодейство — две вещи несовместные».

Проходит почти сто лет, и мысль Н. Страхова подхватывает Б. Бурсов, но уже не в частном письме, а доказывает в своей работе «Личность Достоевского», вышедшей миллионными тиражами (Л., 1979), что гений и злодейство две вещи совместные и всему виной двойственность Достоевского — мог он и совершить то преступление, которое совершили Свидригайлов и Ставрогин, а мог и не совершить — двойственность, двойничество, всегда и во всем.

Но ведь все мемуары, которые печатаются в настоящей книге, абсолютно противоречат этой ложной концепции Б. Бурсова. Вторжение во внутренний мир личности любого человека, а тем более гения — всегда огромное испытание любопытствующего. Б. Бурсов не выдержал этого испытания.

Проходит еще шесть лет, и вот Н. Страхова и Б. Бурсова поддерживает О. Чайковская, которая в очерке «Из двух источников» («Новый мир», 1985, № 4) вдруг через сто лет после «вражды» Тургенева и Достоевского решила не просто столкнуть их снова лбами (это было бы еще победы), но и доказать, что один «источник» под названием «Тургенев» был светлый, благотворный, нужный сейчас (и как человек, и как писатель), а второй «источник» под названием «Достоевский» был, наоборот, «темный», вредный, плохо влияющий и в наши дни. Другими словами, О. Чайковская также считает, что гений и злодейство — две вещи совместные.

К сожалению, серьезного нравственного разговора по поводу очерка «Из двух источников», т. е. по поводу главного тезиса О. Чайковской — гений и злодейство — две вещи совместные — до сих пор не состоялось. Но ведь это самый важный вопрос для нашей культуры, особенно когда мы говорим о самом великом, что дала русская культура миру, — о Достоевском. Тем более, как это ни огорчительно, прокурорский очерк О. Чайковской нашел и последователей, а главное, продолжают публикации, утверждающие, что гений и злодейство — две вещи совместные. Так, в журнале «Новый мир» (1985, № 8) появляются дневниковые мемуарные записи немца Ф. Фидлера. Этот немец, которому «стоило величайших усилий прочитать «Братьев Карамазовых», стоит на Невском перед Достоевским, как перед божеством, а «божество», оказывается, «бросило» на него «гневный взгляд» и «сплюнуло».

Оказывается, в записях Фидлера композитор Н. Ф. Христианович, которого отродясь не значило в списке не только близких, но даже и дальних знакомых писателя, рассказывает, что Достоевский «всегда проповедовал терпимость, но был самым нетерпимым и завистливым человеком на свете, не терпевшим возле себя никаких других богов» (интересно бы узнать, кому и почему завидовал Достоевский?!).

Затем Фидлер записывает рассказ историка литературы С. А. Венгерова о том, как он был в 1875 г. дома у Достоев-

ского и завел речь о Свидригайлове, заметив писателю, что он не признает совсем церковных обрядов, на что Достоевский якобы ответил: «Нет, признаю! Даже для самого драгоценного вина требуется чаша, а для религии такой чашей является обряд...»

Но здесь какая-то мифология. В 1916 г. Венгеров в журнале «Солнце России» сам заявил, что он встречался с Достоевским не у него дома на Греческом проспекте в 1875 г., а на журфиксах у поэта Я. Полонского (это было зимой 1879 г.) и рассказал то, что записал Фидлер в своем дневнике от 2 августа 1907 г.¹

И это больше похоже на правду. Не говоря уже о том, что это говорит сам Венгеров, довольно странно было бы, если бы двадцатилетний Венгеров (в 1875 г. ему было 20 лет), придя первый раз к Достоевскому, вдруг заметил ему, что он «совсем не признает церковных обрядов».

Да и забывчивость со Свидригайловым больше характерна именно для последних лет жизни писателя.

Наконец, довольно легкомысленное, во всяком случае довольно странное для Достоевского, сравнение религии с вином (пусть даже самым драгоценным), а обряда — с чашей.

В 1916 г. сам Венгеров передал эти слова Достоевского так: «Обрядность — вещь второстепенная, но это та чаша, где хранится драгоценное содержимое — вера людская»².

Однако в передаче самим Венгеровым этого разговора с Достоевским на журфиксах у Я. Полонского есть еще одно существенное добавление, которое совсем не попало к Фидлеру: «В святоотеческой литературе Достоевский искал всегда образцов для подражания. Обсуждая свои поступки, он вдруг задавал себе вопрос: А как поступила бы в таком случае Мария Египетская?»³.

Но вот, оказывается, и второй эпизод, который приводит Фидлер в своем дневнике со слов Венгерова, — обед в честь Тургенева в 1879 г. — был уже самим Венгеровым опубликован в 1918 г. в журнале «Бирюч петроградских государственных театров» (№ 2), а в 1923 г. перепечатан в «Литературном еженедельнике» (№ 36).

В записи Фидлера отсутствуют после эпизода на обеде самые важные слова Венгерова: «Тургенев тогда был центром общего внимания, ибо в ту пору он считался первым русским писателем... Публика и критика поняла впоследствии, что Толстой и Достоевский выше Тургенева, что Тургенев просто

¹ Венгеров С. А. [Воспоминания]//Кауфман А. К. С. А. Венгеров и его архив//Солнце России, 1916, № 351. С. 4.

² Там же.

³ Там же.

хороший писатель, а они оба гении»¹. Но далее происходят совсем чудеса! Дело в том, что такой авторитетный источник, как воспоминания Г. К. Градовского «Итоги (1862—1907)» (Киев, 1908), ни слова не говорит о том, что Достоевский начал оправдываться перед своим извечным врагом, да еще с «помощью» фрка! Так кто же это придумал? Венгеров или, скорее всего, немец Фидлер.

Затем Фидлер приводит фантастически невероятный рассказ В. И. Ламанского о том, как Достоевский сообщил ему, что собирается совершить «преступление», за которым непременно последует «наказание» (уж не то ли самое, которое потом подхватили Страхов и Бурсов!). Затем, оказывается, Достоевский показал В. И. Ламанскому место у себя дома, где лежал на полу в припадке эпилепсии, и не просто показал, а сатанински наслаждался, описывая свой припадок с такими подробностями, что для Ламанского стало мучительно слушать, а Достоевский видел это, но все равно продолжал рассказывать.

В чем же главная ошибка таких мемуаристов, как Н. Страхов и Ф. Фидлер, и таких критиков, как Б. Бурсов и О. Чайковская?

Ошибка заключается в том, что на Достоевского (впрочем, как и на любого другого гениального писателя, но к Достоевскому это относится прежде всего и больше всего), вместо того чтобы принимать его как целостное явление духа, как живой организм, интуитивно постигать его, пытаться быть в сотворчестве с ним, читать его с верующей душой,— бросаются со скальпелем и начинают кромсать так яростно, как будто речь идет о неизлечимом больном. И единый духовный организм, великое слово умирает, остается словоблудие. Вообще, это стало какой-то болезнью, каким-то бедствием: непременно в чем-то подозревать всех и все, а когда речь идет о целостном явлении духа, имя которому Достоевский, наш скепсис разлагает его, делая невозможным верующее созерцание и чуткое сотворчество.

Но вот совсем другой пример. В 1929 г. в Париже выходит маленькая книжечка под заглавием «Достоевский и современность». Написала ее легендарная Мать Мария — Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева — Е. Скобцова. Она сумела через все нелегкие годы пронести свою любовь к Достоевскому, и эта любовь согревала поистине трагическую и героическую жизнь этой легендарной женщины, придавала ей мужество и отвагу в борьбе с фашизмом, укрепляла ее дух до самой последней минуты — до гибели в газовой камере концлагеря Равенсбрюк 31 марта 1945 г.

Вот начало этой книги: «Без преувеличения можно сказать, что явление Достоевского было некой гранью в сознании лю-

¹ Бирюч петрогр. гос. театров, 1918, № 2. С. 44.

дей. И всех, кто мыслит теперь после него, можно разделить на две группы: одни — испытали на себе его влияние, прошли через муку и скорбь, которую он открывает в мире, стали „людьми Достоевского“. И если они до конца пошли за его мыслью, то так же, как и он, могут говорить: „Через горнило сомнений моя осанна прошла“. И другие люди, не испытывавшие влияния Достоевского. Иногда они тоже несут свою осанну. Но им ее легче нести, потому что они не проводят ее через горнило сомнений. Они — всегда наивнее и проще, чем „люди Достоевского“, они не коснулись какой-то последней тайны в жизни человека, и им, может быть, легче любить человека, но и легче отпадать от этой любви»¹.

Конечно, не понимают Достоевского те, которые считают его мрачным и безысходным, которые не видят свечу в конце тоннеля. Да, у Достоевского почти всегда просвет через страдание, но он не виноват в этом. Это не его прихоть. Это христианский, по его убеждению, путь. Мир во зле лежит, и счастье может быть только через распятие.

Но вот читаешь эссе О. Чайковской и чувствуешь, что все это до удивления знакомо. Уже писали так о национальном достоянии России. Еще в 1931 г. А. В. Луначарский спрашивал: «Закономерно ли, однако, с точки зрения интересов нашего великого строительства увлечение писателей (в такой же степени и увлечение читателей) Достоевским?»²

В этом же номере «Литературной газеты» Михаил Левидов в статье «Миф о Достоевском» «раскрыл» нам, в чем же заключается этот «миф»: «...И конечно не было писателя с могучим, целостным мировоззрением, которым он хотел завоевать человечество. Не было пророка, проповедника, мыслителя, публициста. Это — один из мифов русской литературы. Был человек, одаренный небывалым громадным художественным талантом, бессознательным в том смысле, что он им никак не управлял...»

А между прочим, еще в 1920 г. известный литературовед Б. М. Эйхенбаум протестовал против одного автора, который пользовался «известным письмом Н. Страхова о Достоевском, считая его авторитетным в непогрешимом изображении личности Достоевского и тем обнаруживая полное свое невежество»³.

Почва Достоевского религиозно-нравственная, и если бы О. Чайковская встала только на нее, тогда мог бы получиться серьезный разговор. Но она на нее становится далеко не всегда, а если и становится, то с явным недоброжелательством по отношению к Достоевскому.

¹ Скобцова Е. Достоевский и современность. Париж, 1929. С. 6.

² Луначарский А. В. Достоевский и писатели//Лит. газ., 1931, 9 февр.

³ Центр. Гос. архив Октябрьской революции. Ф. 395, оп. 1, д. 74.

О. Чайковская пишет, что «вряд ли годится в оракулы тот, кто живет в непрестанной внутренней борьбе с самим собой, своими страстями (и не всегда побеждает их); тот, кого жгут сомнения даже там (а может быть, именно там), где речь идет о главных проблемах жизни».

И далее О. Чайковская приводит письмо Достоевского 1854 г.: «Я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных»¹.

Это излюбленный аргумент всех, кто сомневается в религиозности Достоевского. Однако забывают св. апостолов, обращавшихся к Иисусу Христу: «Помоги нашему неверию...», а ведь они лицеизрели Христа и его дела. «А доводы были сильны», — пишет О. Чайковская и приводит слова позднего Достоевского: «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла». Но ведь Достоевский не случайно глагол-то употребляет в прошедшем времени — ПРОШЛА, а об этом забывает О. Чайковская. Сознательно опускает она в этом контексте еще одни слова Достоевского, когда он, назвав тех, кто «дразнил» его «необразованною и ретроградною верою в Бога», «мерзавцами» (разрядка наша. — С. Б.), пишет: «Этим олухам (разрядка наша. — С. Б.) и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в Инквизиторе... такой силы отрицания, которое перешел я. Им ли меня учить!»² Вера Достоевского в Христа прошла через горнило сомнений, а это и есть самая надежная вера.

Далее О. Чайковская, говоря о «Братьях Карамазовых», приводит, как ей кажется, самый потрясающий аргумент в пользу «атеизма» Достоевского. «Нет у Христа права прощать, — пишет О. Чайковская, — если на одну чашу весов (высших, судейских) положить его муки, а на другую — муки матери, на глазах которой растерзали сына, Христовы муки не перетянут».

Я не буду сейчас говорить о том, что О. Чайковская забывает, что призыв к нуждающимся и обремененным исходил от Христа униженного, а не в славе. Действительно, проблема мирового зла есть самая трудная проблема религиозного сознания — точнее говоря, неразрешимая проблема для нашего «эвклидова» ума. Преодолевается она у Достоевского мистической идеей вины каждого за всех. Неотомщенное безвинное страдание заставляет Ивана отвергнуть мир во имя оскорблен-

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 28. Кн. 1. Л., 1985. С. 176.

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 27. Л., 1984. С. 48.

ного нравственного чувства, требующего мести; но есть нечто более высокое, чем месть,— это прощение и любовь.

«Мама,— говорит умирающий брат Зосимы,— не плачь, жизнь есть рай, все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай». Проблемы мирового зла уже нет, потому что нет и самого зла, прощенного, побежденного любовью. Основная истина христианства та, что совершенный праведник, Христос, ничего не получил от этого мира, кроме распятия. Если страдание не искупается в этом мире, оно должно быть искуплено в каком-то другом. Первое положение христианства, что Христос этим миром был распят; второе — что и распятие и этот мир Он преодолел своим воскресением. Воскресением восстанавливается справедливость, обидчику дается возможность раскаяться, жертве — простить. Этим страдание из подневольного, принуждающего превращается в свободное, возвышающее. Таким образом, идея бессмертия тесно переплетается с моральной проблемой. Отсутствие бессмертия лишает всю мировую проблему зла смысла и морального оправдания. Если загубленный мальчик не воскреснет и его страдания так и останутся неискупленными, то этот весь мир, как целое, навсегда дискредитируется. Только идея бессмертия решает проблему, но зато решает ее сполна.

Вот как Достоевским решается проблема мирового зла, а непосредственно О. Чайковской ответил уже художник М. Нестеров. У него есть малоизвестная картина «У Креста» (Страстная седмица) (хранится в Церковноархеологическом кабинете при Московской духовной академии). Слева на картине — на коленях простая женщина, за ней стоят мужик и священник; справа — на коленях Гоголь, за ним стоит Анна Григорьевна Достоевская и держит на руках гробик со своим сыночком Алешей, умершим от припадка эпилепсии, а за Анной Григорьевной стоит Достоевский. Все их взоры устремлены к центру картины. А в центре Крест, на котором распят Христос. Вот и весь ответ.

О. Чайковская пишет, что «сомнения, терзания, раздвоенность (разорванность) не могли не сказаться на романах Достоевского (речь идет о поздних произведениях) неустранимыми противоречиями». Однако в действительности это все не так. Ведь через все муки раздвоения и тьму Достоевский принимал и Бога, и человека, и мир, ибо у Достоевского всегда свет Христа во тьме светит. Достоевский проводит человека через все ужасающие бездны раздвоения, но это раздвоение никогда не губит окончательно человека, потому что через Христа вновь может быть восстановлен человеческий образ.

О. Чайковская считает, что с Достоевским «надо быть осторожнее», и в качестве доказательства ссылается на М. Бахтина: «Достоевского не раз обвиняли в нравственном реляти-

визме, как не раз его от подобных обвинений и защищали... Если герои Достоевского, как указывает сам М. Бахтин, являют собой не образы, а голоса, «чистые голоса», равноправные не только меж собой, но и с голосом самого автора, если они ведут меж собой непрерывный нравственный спор, который, как опять же полагает М. Бахтин, решен быть не может, то мысль об опасности нравственного релятивизма напрашивается сама собой».

Действительно, казалось бы на первый взгляд, антиномичность мышления Достоевского и полифоничность его поэтики делают его простым регистратором идей, причем его собственный голос остается как будто несказанным, заглушенным голосами литературных персонажей. Но это ошибка, в которую впадают многие, пишущие о Достоевском, в частности, М. Бахтин, когда он из правильного вывода о полифоничности поэтики Достоевского сделал ошибочный вывод о полифоничности его мировоззрения. Великий христианский писатель, искусство которого новозаветно, ибо оно исключительно и всецело посвящено бессмертной человеческой личности, в каждом из нас единственной, никем и ничем незаменимой, превращается в оркестр без дирижера.

Мировоззрение Достоевского в целом выражено во всей заключенной в его произведениях символике Добра, и эта символика Добра, т. е. диалектический результат целого, вырастает при полном учете всех идей-образов, которые венчаются идеей Добра Только учитывая эту символику Добра, можно понять «Легенду о Великом Инквизиторе», понять молчание Христа перед Великим Инквизитом, как и понять, кстати, молчание Христа перед Пилатом. Как и Пилат, Великий Инквизитор не понимал, что это молчание и есть лучшее опровержение всех его аргументов, ибо, как говорил Исаак Сирин, которого читает перед уходом из жизни Смердяков: «Молчание есть тайна будущего века, а слова суть орудие этого мира». Великий Инквизитор не понимал, что одним фактом своего появления Христос опровергает все его аргументы.

Дело доходит до того, что поцелуй Христа в финале «Легенды о Великом Инквизиторе» принимают за признание Христом правды Инквизитора, а тот факт, что Инквизитор отпустил Пленника, объясняют актом великодушия, когда, как бы тронутый всепрощающей любовью Спасителя, Инквизитор открывает двери темницы. Но ведь те, кто так объясняют финал Легенды, не понимают самого главного: ведь Инквизитор говорит слова, мучащие Христа и пригвождающие его к кресту сильнее, чем голгофские гвозди. Инквизитор говорит Спасителю мира: «Ступай, ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!». В поцелуе «Легенды» есть правда, но есть и ложь. В нем Достоевский, и в нем — Иван Карамазов. Правда этого поцелуя в том, что Христос любит любого

человека, в том числе и того, кто не любит его и не хочет любить. Христос грешников пришел спасти. И человечество нуждается для своего спасения именно в такой высшей любви Христа. Вот мысль самого Достоевского. Но ведь «Легенда о Великом Инквизиторе» является также сочинением Ивана Карамазова, который заставил Истину поцеловать ложь.

Легенда о Великом Инквизиторе есть художественно завершенный образ лжи. Достоевский собрал в фокус все возражения против Христа и его дела в мире и выявил это в Легенде. Достоевский показал всю фальшь неистинного добра, неистинной веры, чтобы люди яснее увидели все дело Христа и его лучезарный образ.

Неожиданную поддержку тезис Н. Страхова, Б. Бурсова и О. Чайковской о том, что гений и злодейство — две вещи совместные, получил в книге И. Волгина «Последний год Достоевского» (М., 1986). Эта работа построена на целом ряде воспоминаний современников, часть из которых приводится полностью в настоящем издании, поэтому есть смысл остановиться подробнее на использовании критиком этих мемуаров.

Первый, главный вывод И. Волгина — попытка доказать, что вся предыдущая жизнь Достоевского, которая, как в фокусе, отразилась в последнем годе его жизни, и прежде всего, конечно, сам последний год жизни, когда развернулась настоящая охота за царем, в том числе и в доме Достоевского и даже на одной с ним лестнице, сделала писателя сочувствующим народовольцам, причем настолько, что, как считает И. Волгин, проживи Достоевский еще и напиши продолжение «Братьев Карамазовых», он бы и Алешу Карамазова сделал революционером и чуть ли не царевубийцей. Но это явная фальсификация, с которой согласиться невозможно, ибо не мог гений сочувствовать злодеям, готовящим убийство Александра II: «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

Попытка И. Волгина сделать Алешу революционером (про то, что не просто революционером, а еще и царевубийцей, и говорить не приходится: здесь И. Волгина так высоко занесло, что обратно он так и не смог спуститься) абсолютно противоречит всей сути образа Алеши в понимании самого Достоевского.

А между тем И. Волгин в своем неумном желании сделать Алешу революционером доходит до полной фальсификации: он первый разгадывает, оказывается, «сокровенный» смысл эпиграфа к «Братьям Карамазовым» (с учетом того, что если бы Достоевский написал продолжение романа, сделав Алешу революционером): «Гибель Алеши на эшафоте есть искупление. „Много плода“ дается гибелью главного героя».

Однако слова из «Евангелия от Иоанна», взятые в качестве эпиграфа к роману, выражают совсем другое, а именно одну из важнейших основ метафизики Достоевского: весь мир есть

мир идей, и не только идея подобна зерну, но и зерно, но и семя есть зародыш идеи. Идея, по Достоевскому, семя потустороннего мира; всход этого семени на земле — тайна каждой человеческой души.

Таким образом, великий христианский смысл евангельских слов — воскресение Христа — превращается в «гибель Алеши» на эшафоте, хотя, очевидно, И. Волгин понимает, что между смертью Христа и смертью цареубийцы есть, мягко говоря, «маленькая» разница.

Но И. Волгина заносит все дальше и дальше. Оказывается, Достоевский «по самому своему творческому духу был глубоко родственен той всеразрушающей силе, которая вызрела в недрах русской исторической жизни и была готова смести ее вековые устои»; Достоевский стал «духовным предтечей русской революции» (и это о Достоевском, который за полгода до смерти сказал: «Смирись, гордый человек!»); Алеша Карамазов «готовился в цареубийцы. „Машина“ была заведена — и взрыв мог грянуть в любую минуту. Он не чувствовал себя вправе губить тех, кто завел „машину“: среди них мог оказаться его любимый герой. Ему оставалось умереть» (кому — Достоевскому или Алеше?). Но разве мог *тот* Алеша, который пережил *такой* момент после смерти своего друга и учителя, когда «душа его» вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным», стать революционером, да еще цареубийцей? Ведь именно в главе «Кана Галилейская» Достоевский показывает, что воскресение, возрождение победило в душе Алеши смерть и тление, и после того как он припал к *земле*, он пережил новое духовное рождение, став *христианским* (не революционным) бойцом.

Второй вывод, собственно связанный непосредственно с первым, это попытка И. Волгина уличить жену писателя Анну Григорьевну Достоевскую в том, что она «скрывала» истинные причины смерти мужа, то есть «скрывала», что одной из главных причин (если не самой главной по И. Волгину) был арест народовольца Баранникова, проживавшего на одной лестничной площадке с Достоевским.

Но Анна Григорьевна ничего не скрывала, и И. Волгина подвело здесь в одном случае ошибочное прочтение самого важного документа — записной книжки Анны Григорьевны 1881 г., полностью публикуемой в настоящем издании, — а в другом случае — просто неумение до конца прочесть этот документ.

В статье «На углу Кузнечного и Ямской (последняя квартира Достоевского и явка народовольцев)» доктор исторических наук В. А. Твардовская, рассказывая об аресте соседа писателя народовольца А. И. Баранникова в январе 1881 г., делает вывод: «Но даже если писатель и вовсе не был знаком с жильцом из соседней квартиры, то и тогда арест и обыск в его доме не могли не потрясти Достоевского — человека

с обостренной впечатлительностью и необычайным воображением...»¹

Рассматривая запись А. Г. Достоевской в ее записной книжке 25 января 1881 г. «Вечером ходил гулять, а затем...», В. А. Твардовская пишет: «Здесь запись открытым текстом обрывается и следуют стенографические значки, пока не расшифрованные. Что было „затем“ — после вечерней прогулки, накануне той ночи, когда у Достоевского пошла горлом кровь,— неизвестно и из воспоминаний Анны Григорьевны, хотя опиралась мемуаристка на свои дневниковые записи. Восстанавливая события 25 января, она не воспользовалась зашифрованными строчками. Не исключено, что именно во время прогулки Достоевский мог узнать об аресте жильца из одиннадцатой квартиры»².

Наконец, отмечая, что 26 января в доме, где жил Достоевский, был арестован Н. Колодкевич, и указывая, что вечером этого же дня у писателя возобновилось кровотечение, которое А. Г. Достоевская в письме к Н. Страхову 21 октября 1883 г. объяснила тяжелым разговором писателя с сестрой В. М. Ивановой о наследстве богатой родственницы, В. А. Твардовская заключает: «Все же, по-видимому, Достоевского угнетали не только семейные раздоры и заботы о будущем детей, но и то, что происходило в доме. Возможно, слух о новом аресте проник в квартиру писателя и усугубил его нездоровье»³.

Однако это ошибочный вывод. Никакой арест народовольца не «потряс» Достоевского, и А. Г. Достоевская ничего не скрывала. Об этом совершенно ясно и недвусмысленно свидетельствует записная книжка Анны Григорьевны Достоевской 1881 г. То, что В. А. Твардовская в записной книжке Анны Григорьевны за воскресенье 25 января 1881 г. в нерасшифрованной записи «Вечером ходил гулять, а затем...» приняла за умышленное сокрытие Анной Григорьевной того факта, что Достоевский во время прогулки узнал об аресте в своем доме народовольца, уже давно расшифровано стенографисткой Ц. М. Пошеманской. Оказывается, Достоевский страдал расстройством желудка и часто ходил в туалет (Анна Григорьевна обозначала это словом «дело»). Так и в данном случае после прогулки он пошел в туалет. Вполне естественно и понятно, что когда Анна Григорьевна писала свои воспоминания, «она не воспользовалась зашифрованными строчками», т. е. решила об этом не писать.

И. Волгин учитывает эту ошибку В. А. Твардовской, однако сам, в свою очередь, допускает три ошибки. Анна Григорьевна, действительно, не скрывала причину смерти Достоевского. Его

¹ Литературная газета, 1982, 3 ноября.

² Там же.

³ Там же.

сестра Вера Михайловна Иванова обратилась к нему с просьбой отказаться в пользу сестер от своей доли в доставшемся ему по наследству от умершей тетки Куманиной рязанском имении. По воспоминаниям дочери писателя, между братом и сестрой произошел бурный разговор о куманинском наследстве¹. Достоевский не хотел отказываться от рязанского имения, зная, что у него подрастают дети. Через тридцать пять лет Анна Григорьевна говорила писателю А. Измайлову, что, освободившись за год до смерти от долгов, Достоевский «мечтал о маленьком имении, которое и обеспечило бы детей, и сделало бы их, как он говорил, почти некоторыми участниками в политической жизни Родины»². Но особенно потрясло Достоевского то, что об этом с ним приехала говорить его любимая сестра Вера, дочери которой он посвятил роман «Идиот» и назвал в ее честь свою первую дочь именем Софья. И вот, когда он колоссальным трудом, и исключительно благодаря Анне Григорьевне, лишь к концу жизни достиг хоть небольшого материального благополучия, и имение дало бы ему возможность позаботиться о детях, а самому работать там над продолжением «Братьев Карамазовых», его вдруг хотят лишить этого. И кто? Сестры. А просить приехала Верочка, как ласково называл он сестру. А ведь у нее уже было свое имение в Даровом.

Об этом же крупном разговоре писателя со своей сестрой Анна Григорьевна рассказала в письме к Н. Н. Страхову от 21 октября 1883 г., а в своей записной книжке 1881 г. точно указала, что В. М. Иванова действительно была у Достоевского, только в судороге предсмертных дней мужа спутала и написала, что В. М. Иванова была не в понедельник 26 января 1881 г., а во вторник 27 января: «...Во вторник была Штакеншней[дер], Орест Миллер, ходила за виноградом, ел икру с бел[ым] хлебом, пил молоко. Был Кошлаков, а после него Бретцель, разъехались. Ходил кой-куда, освежали комнату. Вечером Верочка и Павел Александр[ович]».

Здесь И. Волгин делает первую ошибку. Он принимает Верочку не за сестру писателя Верочку Иванову, а за жену его пасынка Павла Александровича Исаева, не зная, что ее звали Надежда Михайловна.

Наконец, решающим доказательством того, что главной причиной, ускорившей смерть Достоевского, был его разговор с сестрой В. М. Ивановой, является отзыв умирающего писателя о сестрах в записной книжке жены 1881 г. после его причащения — отзыв, который Анна Григорьевна, записав частично сте-

¹ Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери/Вступ. статья, подгот. текста к печати и прим. С. В. Белова. Пер. с нем. Е. С. Кибардиной. СПб., Андреев и сыновья, 1992. С. 198.

² Измайлов А. У А. Г. Достоевской (К 35-летию со дня кончины Ф. М. Достоевского)//Биржевые ведомости, 1916, 28 янв. № 15350.

нографически, не решалась даже весь расшифровать (здесь И. Волгин делает вторую ошибку, не зная, что все зашифрованные места в записной книжке Анны Григорьевны 1881 г. расшифрованы Ц. М. Пошеманской): «... [Я причастился, исповедался, а все-таки не могу равнодушно подумать о сестрах]. Какие они несправедливые...» (на запись «Какие они несправедливые...» И. Волгин не обратил внимания, не до конца прочтя эту книжку жены писателя).

Можно представить себе, как на Достоевского подействовал разговор с сестрой, если даже после причащения он не успокоился. Однако в своих «Воспоминаниях», работу над которыми Анна Григорьевна завершила в 1916 г., она не стала называть фамилию В. М. Ивановой и рассказывать о ее неприятном разговоре с Достоевским, ускорившем его смерть. Сделала это Анна Григорьевна из чисто этических соображений. Еще были живы трое детей В. М. Ивановой. В «Воспоминаниях» Анна Григорьевна сообщила лишь о первом кровотечении мужа в ночь с 25 на 26 января 1881 г., когда он отодвинул тяжелую этажерку, чтобы найти вставку с пером¹.

Третья ошибка И. Волгина не так существенна, как две первые, просто она говорит о том, что он невнимательно работал. А. Г. Достоевская пишет, что в понедельник 26 января 1881 г. «пришел к нам один господин очень добрый и который был симпатичен мужу». И. Волгин принимает «одного господина», с которым Достоевский говорил 26 января 1881 г. о будущем «Дневнике», и они горячо спорили, за Веру Михайловну Иванову.

Непонятно, во-первых, почему женщину надо выдавать за мужчину, а, во-вторых, это нелепо, чтобы Достоевский говорил с сестрой о «Дневнике», да еще спорил по поводу статьи в будущем «Дневнике», зная, что она в этом ничего не понимает.

Скорее всего, это был А. Н. Майков, который, как пишет Анна Григорьевна в записной книжке 1881 г., действительно, говорил с Достоевским об окончании «Дневника писателя», о февральском будущем номере «Дневника», о том, что Достоевский хочет в нем опубликовать.

Только в судороге предсмертных дней мужа Анна Григорьевна перепутала, когда приходил Майков — 25-го или 26-го января. Характерно, что в своей записной книжке Анна Григорьевна ни о каком таком «одном господине» не упоминает. Почему же Анна Григорьевна в 1916 г., когда закончила работу над своими «Воспоминаниями», не назвала этого господина? Да из чисто этических соображений: еще были живы дети Майкова.

Вывод отсюда может быть только один: не надо ни в чем подозревать или уличать женщину, которой Достоевский посвя-

¹ Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 393.

тил величайший роман мировой литературы «Братья Карамазовы».

И в заключение еще об одном, пожалуй, о самом главном. К сожалению, в некоторых вопросах И. Волгин, возможно, и неожиданно для него, солидаризируется с Н. Страховым, Б. Бурсовым и О. Чайковской, с их тезисом, что «Гений и злодейство — две вещи совместные».

Основная посылка И. Волгина следующая: «Террор — даже самый „бескорыстный“ — не мог вызвать в авторе „Преступления и наказания“ ни малейшего сочувствия. Скорее наоборот. Однако распространялось ли это нравственное отвержение на личность тех, кто, рискуя собой, поднимал оружие?».

Но разве И. Волгин не знает, что Нечаев тоже рисковал собой, как и Березовский, стрелявший в Александра II, или не знает резко отрицательного отзыва Достоевского о Березовском?

И. Волгин с упоением описывает, как Степняк-Кравчинский всадил кинжал в Мезенцова, как Халтурин подложил «динамит к юбилею», как развивалась народовольческая «охота» на царя, забывая, что во время этой охоты погибали и «случайные», невинные люди. И. Волгин пытается нас убедить, что «нравственные истоки» преступления Нечаева и Алеши-цареубийцы различны, и вина Верховенского «перетягивает» предполагаемую вину Алеши.

Однако считая, что Достоевский солидаризировался с народовольцами, И. Волгин, воспевая их, хотел он того или нет, соглашается, таким образом, с тезисом, что «Гений и злодейство — две вещи совместные», ибо ничего, кроме страшного зла и горя народовольцы не принесли России. А у И. Волгина Достоевский — «искренний приверженец высших нравственных целей революции», как будто у революции могут быть высшие нравственные цели.

К сожалению, И. Волгин здесь не одинок (хотя, конечно, никто до Алеши-цареубийцы не доходит). Уже стало притчей во языцех говорить о том, что в «Бесах» Достоевский имел в виду не тех бесов, а других бесов, то есть Нечаева и иже с ними, и даже пишут, что разоблачая в лице Нечаева левацкий мелкобуржуазный уклон, Достоевский чуть ли не с К. Марксом солидаризировался в этом разоблачении или, во всяком случае, как и К. Маркс, предупреждал об опасности, подстерегающей *настоящее* революционное движение, если оно пойдет по пути Нечаева и ему подобных.

Но это заблуждение. Дело в том, что Достоевский выступал не против того или иного революционера, для него было все равно, как его звали, — Каракозов, Нечаев, Желябов или еще как-нибудь. Достоевский выступал против *общей категории бунта*, независимо от того, какую конкретную форму этот бунт примет, чьим именем бунт этот будет освящен. Для Достоев-

ского любой революционный бунт, любая революция — это не экономический бунт, не экономическая революция, а бунт против Бога, ибо если Бога нет, то все позволено.

Но И. Волгин идет еще дальше и начинает сомневаться в вере Достоевского (вот здесь он окончательно смыкается с О. Чайковской). И. Волгин пишет: «Победа, по-видимому, остается за этим несловоохотливым персонажем». И это говорится о Христе в его молчании перед Великим Инквизитором. Самое замечательное здесь у И. Волгина, конечно, словечко «по-видимому».

Но ведь Достоевский действительно верил в Христа. И только эта вера дает нам возможность понять, что «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

Прочтите мемуары, собранные в этой книге, и тогда вы поймете высокий христианский смысл слов А. С. Пушкина.

С. В. Белов

ДЕТСТВО
ОТРОЧЕСТВО
ЮНОСТЬ

3. А. ТРУБЕЦКАЯ

Среди лиц, с которыми сблизился в последние годы своей жизни Достоевский, была замечательная русская женщина, известная общественная деятельница, активная участница женского движения в России, Анна Павловна Философова (1837—1912). Жена крупного царского чиновника, главного военного прокурора, А. П. Философова была настроена весьма оппозиционно: в ее квартире хранилась нелегальная литература, по слухам, у нее скрывалась после суда Вера Засулич. «Я ненавижу настоящее наше правительство... это шайка разбойников, которые губят Россию», — писала А. П. Философова своему мужу (Сборник памяти А. П. Философовой. Т. I. А. В. Тыркова. А. П. Философова и ее время. Пг., 1915. С. 326).

С Достоевским А. П. Философова сблизилась в конце 1870-х гг., очень высоко ценила его, считала своим «дорогим нравственным духовником» (Достоевский в воспоминаниях современников. Т. II. М., 1964. С. 323). Достоевский в свою очередь неизменно относился к Анне Павловне с большим уважением (она явилась организатором в 1878 г. Высших женских (Бестужевских) курсов), писал о ее «прекрасном умном сердце» и, судя по рассказу ее дочери М. В. Каменецкой (1862—1920 (?), Поволжье), очень переживал слухи о возможном аресте А. П. Философовой (см.: Достоевский в воспоминаниях современников, Т. II. М., 1964. С. 326. Об отношениях Достоевского с семейством А. П. Философовой см. также статью М. С. Альтмана «Еще об одном прототипе Федора Павловича Карамазова//Вопросы литературы, 1970, № 3. С. 252—254).

В августе 1971 г. автору этих строк удалось познакомиться в Ленинграде с внучкой А. П. Философовой княгиней Зинаидой Александровной Трубецкой (род. в 1908 г.), преподавательницей русской литературы в Монреальском университете, приехавшей в нашу страну на XIII конгресс историков науки. «Листая» страницы своей памяти, З. А. Трубецкая, необычайно доброжелательный и одаренный человек, рассказывала мне об отношениях А. П. Философовой и Достоевского. Правда, Зинаида Александровна была еще совсем маленькой девочкой, когда умерла ее знаменитая бабка, и, естественно, память ее сохранила больше семейные предания и рассказы ее матери Зинаиды Владимировны Ратьковой-Рожновой (1870—1966, Монреаль) (В книге «Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников». Т. I. Л., 1971. С. 685—690 опубликованы воспоминания З. В. Ратьковой-Рожновой о В. А. Серове) и дяди Владимира Владимировича Философова (1858—1929, Париж), т. е. дочери и сына А. П. Философовой.

Меня заинтересовали новые штрихи из биографии Достоевского, и я попросил З. А. Трубецкую, когда она вернется в Канаду (в настоящее

время она живет во Франции), написать мне все, что она рассказывала, для первой публикации в нашей стране. Самый важный, самый главный факт в этих воспоминаниях З. А. Трубецкой — это рассказ Ф. М. Достоевского об одном трагическом эпизоде из своего детства, поэтому включаем эти воспоминания в раздел «Детство. Отрочество. Юность». Вторая часть воспоминаний З. А. Трубецкой — запись бесед с ней автора этих строк в Париже в июне 1991 г.

ДОСТОЕВСКИЙ И А. П. ФИЛОСΟΦОВА

I

То, что я пишу, скорее картины, которые встают в моей памяти. Я любила в детстве и юности сидеть у камина и слушать маму или дядю — оба были хорошими рассказчиками. Анна Павловна, часто повторял Владимир Владимирович, была исключительно добрый человек, у нее, как выразился Достоевский, было «умное сердце». Достоевский хотел сказать, что Анна Павловна всегда помнила того, кому хотела помочь, она влезала мысленно в его «кожу» и этим умением всегда прийти на помощь не тяготила, не оскорбляла и как бы не требовала благодарности, а рождала близость, часто дружбу. Именно за это очень ценил ее Достоевский. Она была очень красива, что с ее добротой составляло редкий шарм.

Она имела друзей «всех форм и всех шерстей» (как говорят французы: *tout poil et tout calibre*), т. е. из литературного мира, из высшего общества, левых и правых кругов. Для Анны Павловны самое важное в человеке было его сердце и самое ужасное, когда человек был «ни рыба, ни мясо», «серый душой», однако и в этом человеке Анна Павловна стремилась найти «искру божью». Однажды при Достоевском муж Анны Павловны спросил ее: «Как ты могла заставить господина Х оживленно говорить, удивляюсь! Он только молчит». «Да, он мне тоже раньше казался флаконом скуки, но я нашла, что его интересует, и он очень интересно рассказал о жизни горных птиц». Достоевский рассмеялся и сказал: «Анна Павловна каким-то восьмым чувством притягивает доверие людей. Это неопенимый дар!».

Неудивительно, что Федор Михайлович ценил и любил Анну Павловну. Он часто бывал у нее, причем всегда заходил за просто. Моя мать (ребенок 6—8 лет) его иногда видела и рассказывала, что Достоевский непременно любил поговорить с ней и ее маленьким братом (на год моложе ее) Дмитрием¹, причем Достоевский как-то сразу располагал к себе и в играх с ним мы совершенно забывали разницу в возрасте между

нами и Достоевским: так он умел войти в наши интересы. Моя мать говорила мне часто, что когда она позже прочла «Братья Карамазовы», то взаимоотношения Алеши с мальчиками живо напомнили ей игры Достоевского с ней и ее маленьким братом: в обоих случаях было поразительное умение войти в мир детей.

Когда Достоевский бывал в великосветских салонах, в том числе у Анны Павловны Философовой, он всегда, если происходила какая-нибудь великосветская беседа, уединялся, садился где-нибудь в углу и погружался в свои мысли. Он как будто засыпал, хотя на самом деле слышал все, о чем говорили в салоне. Поэтому те, кто первый раз видел Достоевского на великосветских приемах, были очень удивлены, когда он, как будто спавший до этого, вдруг вскакивал и, страшно волнуясь, вмешивался в происходивший разговор или беседу и мог при этом прочесть целую лекцию. Мой дядя Владимир Владимирович рассказывал нам следующий эпизод, очевидцем которого он был сам.

На этот раз гостей у Анны Павловны было немного, и после обеда все гости, среди которых был и Достоевский, перешли в маленькую гостиную пить кофе. Горел камин, и свечи люстр освещали красивые отливы платьев и камней. Началась беседа. Достоевский как всегда забрался в угол. Я, рассказывал дядя, по молодости лет, подумывал, как бы удрать незаметно... Как вдруг кто-то из гостей поставил вопрос: какой, по вашему мнению, самый большой грех на земле? Одни сказали — отцеубийство, другие — убийство из-за корысти, третьи — измена любимого человека... Тогда Анна Павловна обратилась к Достоевскому, который молча, хмурый, сидел в углу. Услышав обращенный к нему вопрос, Достоевский помолчал, как будто сомневаясь, стоит ли ему говорить. Вдруг его лицо преобразилось, глаза засверкали, как угли, на которые попал ветер мехов, и он заговорил. Я, рассказываю дядя, остался, как прикованный, стоя у двери в кабинет отца и не шелохнулся в течение всего рассказа Достоевского.

Достоевский говорил быстро, волнуясь и сбиваясь... Самый ужасный, самый страшный грех — изнасиловать ребенка. Отнять жизнь — это ужасно, говорил Достоевский, но отнять веру в красоту любви — еще более страшное преступление. И Достоевский рассказал эпизод из своего детства. Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: «Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!» И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом

в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в «Бесах»...

Этот рассказ я неоднократно слышала от своего дяди и помню, как он был страшно возмущен, когда прочел печально известное письмо Страхова к Л. Толстому, в котором Страхов приписал преступление Ставрогина самому Достоевскому². Дядя снова вспомнил рассказ Достоевского в салоне Анны Павловны и сказал, что это чудовищная клевета, что этого не могло быть даже и в *мыслях* Достоевского, ибо мысль еще грешнее действия!

Тетя Маня (старшая дочь Анны Павловны, в замужестве Каменецкая), которой Достоевский помогал по математике, любила нам рассказывать следующий эпизод. Однажды Анна Павловна должна была ехать на бал, на ней было черное бархатное платье и букет анютиных глазок (как у Анны Карениной) и диадема в волосах, как полагалось. Вдруг перед самым отъездом на бал прискакал гонец и сообщил, что в дешевых ночлежных квартирах, созданных Анной Павловной, обварили ребенка, мать голосит, а доктора нет. Не раздумывая ни секунды, Анна Павловна, как была в бальном платье, вскочила на извозчика с гонцом (парень лет 16) и понеслась за доктором, вместе с ним поехала к ребенку, чтобы попытаться его спасти. Когда мой дядя, Владимир Владимирович, рассказал Достоевскому эту историю, то Достоевский воскликнул: «В этом жесте вся Анна Павловна! Помочь ребенку важнее, чем новое платье, чем опоздать к выходу царя, чем войти во дворец не под руку с мужем, как полагалось, а одной. Главное, всегда сначала *настоящее* главное!».

В тот день, когда Анна Павловна узнала, что ее высылают³, она сожгла (со слов моей мамы) письма к ней Достоевского⁴, Тургенева и другие письма, которые хранила в кожаных коробках (испанской кожи Кордова) формы маленьких сундучков. Моя мать рассказывает: было решено, что Маня, я и Дима поедем с мамой в Женеву. И вот мы сидим в ее голубом будуаре, вдруг дверь открывается и вбегает Достоевский. Надо сказать, рассказывала моя мама, что меня очень поразило это появление Достоевского: ведь в то время невозможно было появиться без доклада, без того, чтобы лакей не ввел в одну из гостиных и не пошел спросить, могут ли хозяин или хозяйка принять гостя и где, причем, это правило касалось даже близких друзей. Но таков уж был Достоевский, действующий по велению сердца!

Анна Павловна была в большой дружбе также и с И. С. Тургеневым, а так как Достоевский был в многолетней вражде с Тургеневым, то он, как рассказывала нам бабушка, нередко

упрекал ее за то, что она любила Тургенева не только как писателя, но и как человека.

Моя бабушка не любила и не понимала живописи, и это очень огорчало Достоевского, который не понимал, как картины не заставляют ее, такую чуткую, мыслить: ведь все, что творит красоту, говорил Достоевский, неизмеримо прекрасно, искусство возвышает и ободряет человека, оно может и утешить и разбудить «заснувшую душу». Анна Павловна не раз повторяла потом, что именно Достоевский научил ее лучше понимать живопись.

После смерти Достоевского Анна Павловна продолжала дружбу с его вдовой Анной Григорьевной Достоевской. Моя бабушка преклонялась перед этой женщиной, перед тем, что она сделала для Достоевского. (Бабушка любила повторять, что Достоевскому и Льву Толстому повезло с женами, а вот Пушкину не повезло). Правда, встречи Анны Павловны с Анной Григорьевной были всегда грустные: обе они смотрели на портрет Достоевского и плакали. Анна Павловна никак не могла простить себе, что познакомилась с Достоевским перед самым концом его жизни. В «Воспоминаниях» А. Г. Достоевской, вышедших уже после смерти Анны Павловны, в 1925 году, есть такие строчки: «Кстати, скажу, что Федор Михайлович имел много искренних друзей среди женщин, и они охотно веряли ему свои тайны и сомнения и просили дружеского совета, в котором никогда не получали отказа. Напротив того, Федор Михайлович с сердечною добротою входил в интересы женщин и искренне высказывал свои мнения, рискуя иногда огорчить свою собеседницу. Но доверявшие ему чутьем понимали, что редко кто понимал так глубоко женскую душу и ее страдания, как понимал и угадывал их Федор Михайлович»*.

Моя бабушка могла бы полностью подписаться под этими словами.

II

Историю с девочкой, так ранившую в детстве Достоевского, я очень хорошо помню по рассказу моего дяди Владимира Владимировича. У А. В. Тырковой⁵ в ее книге «А. П. Философова и ее время» (Пг., 1915) есть ошибки. Сама Тыркова очень левая. Она выставила дедушку⁶ кретином. Это не так. Моя мать мне сказала, что Тыркова не поняла его правильно и не достаточно подчеркнула, что стиль и даже обязательные в ту эпоху меланхолические трагические выражения не принадлежали ему от рождения, а были принесенной модой.

* Достоевская А. Г. Воспоминания. М.; Л., 1925. С. 258. (Примеч. З. А. Трубецкой).

Тыркова вырывает отдельные фразы А. П. Filosoфовой, не считаясь с контекстом. Анна Павловна, по словам моей мамы, дяди Димы и дяди Володи, обожала Александра II (несмотря на то, что он выслал ее из России), и когда его убили, она серьезно заболела и сказала, что он был единственным спасителем России (конституция была уже готова, поэтому левые и убили накануне, чтобы реформа не шла сверху).

Квартира дедушки находилась рядом с Зимним дворцом. У А. П. Filosoфовой было раздвоение: что делают дураки вокруг государя и чувство к государю. Письмо Анны Павловны — «я ненавижу настоящее наше правительство... это шайка разбойников, которые губят Россию» — смотря в каком контексте стоят эти слова. Анна Павловна знала Веру Засулич, но она не скрывалась у нее после суда. Причиной высылки Анны Павловны из России послужил следующий факт. Анна Павловна отдала браслет бедной женщине, чтобы та могла прокормить свою семью, а та оказалась революционеркой. На вырученные от продажи браслета деньги она купила динамит для убийства царя. Царь вызвал мужа Анны Павловны и отправил ее в ссылку за границу. Перед отъездом она сожгла письма Достоевского, боясь обыска.

Владимир Владимирович, сын Анны Павловны, знал Достоевского, когда ему было 18 лет. Дмитрий Николаевич Filosoфов, отец мужа Анны Павловны, прообраз Федора Павловича Карамазова⁷. У Достоевского он довольно примитивен, а он знал 5 языков, у него была отличная библиотека. Достоевский был настоящим другом дома: мать — восьми лет — его помнила, т. к. Достоевский любил бывать в детской и играть с Димой⁸.

Моя мать Зинаида Владимировна Filosoфова (умерла в 1966 г. в Канаде, в Монреале) окончила Высшие математические курсы, ее муж, Александр Ратьков-Рожнов, служил в министерстве финансов у Витте, а потом в министерстве горного дела на Урале.

Отец Анны Павловны — Дягилев — офицер, сошел с ума на религиозной почве, всех разорив.

Когда дедушка сделал предложение Анне Павловне, ей было 17 лет, ему 35 лет. Анна была идеалисткой: едет, например, в карете и видит, что какой-то мужчина не может вытащить свою карету из грязи, — она тут же сама полезла вытаскивать эту карету.

Моя мать рассказывала, что Дмитрий Николаевич Filosoфов был, действительно, очень похож на Федора Павловича Карамазова. Он, например, ставил в киоты картины вместо икон. Но Анна Павловна говорила, что он был культурен и грамотен.

Сергей Дягилев был двоюродным братом Анны Павловны. Моя мать знала Анну Григорьевну Достоевскую. Анна Павловна

присутствовала при смерти Алеши Достоевского — сына Достоевского⁹.

Либеральным считался дедушка, прокурор, муж Анны Павловны. Александр III плохо к нему относился и убрал его с должности прокурора.

Прадедушка — прообраз Федора Павловича Карамазова — похоронен в Петербурге. Анна Павловна похоронена в своем имении в Богдановском Псковской губернии, рядом с Михайловским А. С. Пушкина.

Автор этих воспоминаний Владимир Михайлович Каченовский (1826—1892), литератор и переводчик, сын известного историка, академика, ректора Московского университета Михаила Трофимовича Каченовского (1775—1842), учился вместе с Ф. М. Достоевским в Москве в пансионе Леонтия Ивановича Чермака (серед. 1770-х — 1840-е гг.) (см. Г. А. Федоров. Пансион Л. И. Чермака в 1834—1837 гг. (по новым материалам)//Достоевский. Материалы и исследования. Т. I. Л., 1974. С. 241—254).

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

Еще одна тяжелая утрата для русской литературы! Еще одним честным деятелем стало менее в России! Скончался Ф. М. Достоевский.

Много будет сказано о нем, но едва ли найдется достаточно источников к воспроизведению облика почившего в его детском возрасте. Так мало осталось знавших его сверстников. Поэтому-то я, знавший Федора Михайловича с детства, считаю долгом передать в предлагаемой заметке несколько материалов, хотя отрывочных, но, смею думать, ценных для его будущего биографа.

Отец Федора Михайловича был врачом Марининской для бедных больницы в Сущеве, в Москве. В той же местности отец мой, М. Т. Каченовский¹, имел свой дом, в котором и жила наша семья. Нашим домашним врачом был врач той же больницы Козьма Алексеевич Щировский, супруга которого Аграфена Степановна была очень близка с моею матерью. Отец мой, весь преданный своим ученым занятиям, имел очень мало семейных знакомств, и тем более мы ценили их. Чаше всего мать моя видалась с княгиней А. Ф. Шаликовой, а затем с Агр. Степ. Щировской.

Летом раза два в неделю мать водила меня с сестрой к Щировским... Едва успев войти в их квартиру мы, дети, спешили в тенистый сад больницы и вmeshивались в группы играющих детей местных медиков и служащих. Как теперь помню в числе их двух белокурых мальчиков; один из них был немного старше меня, другой — лет на пять. Для игр они выбирали себе более подходящих к ним по возрасту товарищей и становились их руководителями. Авторитет их между играющими был замечен и для меня, ребенка. Эти дети были Федор и Михаил Достоевские... Прошло года два, в течение которых я ближе сошелся с обоими братьями, которые мне и сообщили, что они уже учатся в пансионе.

Из опасения быть не точным, я не определяю годов этих детских воспоминаний, которые становятся точными лишь с 1834 года.

В этот год я поступил в пансион Леонтия Карловича Чермака, пользовавшийся лучшею репутацией как по бдительному надзору за учащимися, так и по составу преподавателей. Достаточно сказать, что в числе их были Д. М. Перевощиков², А. М. Кубарев³, К. М. Романовский⁴, лучшие учителя того времени.

В первый же день поступления, когда я, оторванный от семьи, окруженный чужими для меня лицами и, как новичок, даже обижаемый ими, предавался порывам детского отчаяния, во время рекреации слышался в среде резвившихся вокруг меня детей знакомый голос... Это был Федор Михайлович Достоевский, который, увидев меня, тотчас же подошел ко мне, прогнал шалунов-обидчиков и стал меня утешать, что ему скоро и удалось вполне. С тех пор он часто приходил ко мне в класс, руководя моими занятиями, а во время рекреаций облегчал занимательными рассказами тоску мою по родительском доме.

Он был ко мне очень приветлив и ласков.

В это время Федор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах: это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый, с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, проводя остальную часть свободного времени в разговорах со старшими воспитанниками пансиона — А. М. Ломовским⁵, Ф. и Ал. Мильгаузенами⁶, Д. и А. Шумахерами⁷ и П. Перевощиковым⁸.

В 1835 году Достоевские оставили пансион и поступили в Инженерное училище в Петербурге⁹, унося — по крайней мере Федор Михайлович — в себе теплое воспоминание о месте их первоначального образования. «Бывая в Москве, — писал он мне, — мимо дома в Басманной [бывшего князя Лобанова-Ростовского, ныне г. Крестовоздвиженского, где помещался некогда пансион Чермака], — всегда проезжаю с волнением. Чермаковцев немного, и я их всех помню», — пишет он мне тут же.

Прошли десятки лет и, вот, прибыв в Москву в 1874 году, — помнится по расчетам за свои издания с книгопродавцами, — и узнав от кого-то из чермаковцев, что я состою здесь на службе, он приехал ко мне на квартиру (Плетечковский переулок, д. Коровина). Это было часа в два дня. Не сказав прислуге своей фамилии, он просил доложить о себе, что желает меня видеть, и вошел в зал...

Перед мной стоял худощавый, бледный, болезненный господин с бородою. Я долго всматривался в его умное, выразительное лицо, в его приветливо устремленные на меня глаза, и не узнавал стоявшего предо мною, хотя в чертах его припоминалось мне что-то знакомое, как бы родное. Когда выяснилось, кого я вижу, мы уселись, и около двух часов прошло в оживленной беседе. Посвятив несколько времени воспоминаниям о далеком прошлом и расспросам о старых товарищах, Федор Михайлович отвечал на мои расспросы о нем. С тихим, ясным

чувством говорил он мне о своем семейном счастье: «Хорошо и как хорошо жилось бы мне,— сказал он,— если бы не злые недруги, которые часто меня беспокоят». При прощании мы товарищески с ним обнялись. Вообще как в разговоре, так и в письмах, он любил употреблять слово «старый товарищ» и был очень сердечен.

Между тем весть о том, что у меня в гостях Достоевский, распространилась по всему дому, в котором поблизости от него 2-й гимназии и Технического училища квартировало много учащейся молодежи, и потому когда Федор Михайлович, сопровождаемый мною, стал сходить с лестницы на крыльцо, он увидел ряды техников и гимназистов, которые при появлении его почтительно ему кланялись. Федор Михайлович приветливо отвечал на их поклоны. С того времени я уже не видал его... Во время Пушкинского юбилея я был у него, не застав в номере. На празднествах, данных Москвою в честь Пушкина, на которых он занимал такую выдающуюся роль, я по разным обстоятельствам быть не мог; когда же получил возможность снова посетить Федора Михайловича, его уже не было в Москве.

В конце истекшего лета представилась мне необходимость хлопотать в Петербурге по одному существенному для меня делу. Не имея ни материальной, ни физической по болезни глаз возможности туда ехать, я, вспомнив сказанные мне некогда Федором Михайловичем слова, чтобы в случае какой-либо надобности я обращался к нему, и зная, что у него слово нераздельно с делом, я написал ему в Петербург письмо, обстоятельно изложив мою просьбу. Долго не получал я ответа и считал уже мое письмо потерянным — другой причины предполагать я не мог,— как вдруг получил ответ. Дело в том, что он, не предполагая пребыть в Старой Руссе, где лечился, долее известного времени, не распорядился о пересылке адресуемых на его имя в Петербург писем. «Мне очень жаль, старый товарищ,— пишет он,— если вы думаете, что я отнесся к вашему письму холодно и невнимательно».

За дело мое он принялся с энергией. Отрываясь от трудов, он ездил неоднократно к тому лицу, от которого зависело решение интересовавшего меня дела. Между нами возникла целая переписка, и в тех случаях, когда Федору Михайловичу писать было некогда, он поручал писать мне своей супруге — его, как он выражается, «всегдашнему секретарю и стенографу». Смерть Ф[едора] М[ихайловича] помешала ему довести дело мое до конца.

До чего покойный был предупредителен ко всякому даже намеку на какую-либо просьбу, видно из следующего. Я ему писал как-то, между прочим, что кончившая в прошлом году курс учения дочь моя не читала из его сочинений «Подростка», и он мне отвечает: «„Подростка“ вышло милой читательнице

моей, дочери вашей». И выслал книгу с собственноручною надписью по первой же почте.

В газетах смерть Федора Михайловича относят к разрыву сердца или легочных артерий. Так ли это? Предчувствуя свою кончину, он в письме от 16 октября писал мне: «Я человек весьма нездоровый, с двумя неизлечимыми болезнями, которые очень меня удручают: падучею и катаром дыхательных путей, так что дни мои, сам знаю, сочтены. А между тем беспрерывно должен работать без отдыха».

Кроме отличной библиотеки, после Федора Михайловича осталась большая коллекция автографов наших замечательных писателей, художников и общественных деятелей. Это я знаю из написанного по поручению покойного А. Г. Достоевской письма ко мне от 18 октября, которым просил доставить для его коллекции какое-либо письмо моего отца, Михаила Трофимовича, «если возможно характерное, если же нельзя, то хотя записку или подпись». Я тотчас же выслал письмо.

Вот рассказ о моих отношениях к почившему товарищу детских лет.

Вечная же память тебе, старый товарищ, закатившееся светило родного слова, честный деятель, поборник света и правды!

Ты памятник воздвиг себе нерукотворный!

АРЕСТ ЭШАФОТ КАЗНЬ

В. А. ПИНЧУК

Эти воспоминания об аресте Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев в апреле 1849 г. абсолютно противоречат рассказу самого писателя о своем аресте, который он записал в альбом дочери своего друга А. П. Милюкова О. А. Милюковой (см.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Т. 18. Л., 1978. С. 174—175), хотя указание на правильный петербургский адрес Достоевского в момент ареста — на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской — свидетельствует о том, что мемуарист В. действительно мог жить тогда рядом с писателем.

ИЗ ЖИЗНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Вся Россия оплакивает в настоящее время смерть одного из столбов нашей русской литературы — Ф. М. Достоевского. Нет периодического издания, в котором не было бы высказано сожаление по поводу этой смерти. Потеря эта тем чувствительнее для русской литературы, что молодых талантов, по выражению «Руси»¹, не видно, а стариков осталось очень немного.

Мы не станем распространяться о том, как велика эта утрата для России: это всякому понятно; мы передадим здесь лишь краткий эпизод из жизни покойного, эпизод, который положил начало его страданиям, эпизод, который он помнил, по всей вероятности, до последних минут своей жизни. Мы передаем этот эпизод со слов человека, знавшего близко покойника.

«Это было в конце 1849 года². Федор Михайлович жил тогда на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской, в доме Митуса³, в номерах Бремера, — так начал свой рассказ г. В. — Я жил там же. Комната моя находилась в том же коридоре, где и была комната Достоевского. Как-то вечером ко мне собралось несколько человек моих товарищей поиграть в карты. В числе моих гостей был и Ф[едор] М[ихайлович]. Играть в карты он отказался; вообще он не любил этого занятия и сидел у меня одиноким зрителем до 10 вечера, а затем, попрощавшись, ушел к себе спать. Во втором часу ночи мы были отвлечены от игры каким-то особенным шумом, происходившем в коридоре. Кто-то из нас выглянул в коридор и полушепотом сообщил нам, что в коридоре — жандармы. Мы страшно испугались, думая, что как-нибудь жандармы узнали о нашей игре,

которая, к слову сказать, бывала у нас нередко. Моментально все карты были брошены в печь. Все мы присмирели и боялись слово проронить. Лишь один из нас, Ш., решился покинуть мою квартиру и убежать сквозь толпу жандармов. Ему это действительно как-то удалось. Затем мы слышали, как ломали какую-то дверь, как кто-то крикнул... Потом последовал какой-то неопределенный шум, точно кого-то тащили... стоны и оханье, шум шагов от многочисленных ног... Наконец все смолкло. Долго мы просидели, не говоря ни слова друг другу. Затем медленно, один за другим, товарищи мои стали прощаться и потихоньку уходить, не спрашивая и не справляясь, что тут могло произойти. К утру я узнал, что был арестован Достоевский. Об аресте рассказал мне Ш., ушедший раньше других. Оказалось, что дверь к Достоевскому была заперта. Когда жандармы выломали ее, то Достоевский стоял у разбитого окна, в которое намерен был броситься, но вовремя был остановлен жандармами. Он долго боролся, пока его не взяли и не вынесли из дома на руках совершенно обессиленного⁴. На другой день после ареста Достоевского, вечером, был арестован и я, так как у него в комнате нашлись мои записки и книги. Но я вскоре был отпущен тогдашним начальником штаба жандармского корпуса Дубельтом. В феврале месяце 1850 года Достоевский, Плещеев, Пальм и многие другие были приговорены к смертной казни⁵. Покойный государь смягчил приговор... Но сильнее других понес наказание Ф[едор] М[ихайлович]: он был сослан на 4 года в каторжные работы. Что пережил там Ф[едор] М[ихайлович] — это мы можем видеть из его сочинения «Записки из Мертвого дома».

Этот эпизод был причиной того, что только 12 лет спустя Ф[едор] М[ихайлович] был снова возвращен литературе. Мы говорим — *снова*, так как литературная деятельность Ф[едора] М[ихайловича] началась еще в 1846 году (Первое произведение Ф[едора] М[ихайловича], появившееся в печати в «Петербургском сборнике» Некрасова — «Бедные люди»).

Мир праху твоему, много выстрадавший печальник бедных, униженных и оскорбленных!..»

22 декабря 1849 г. Ф. М. Достоевский вместе с другими петрашевцами прошел на Семеновском плацу в Петербурге через страшный обряд смертной казни, замененной в последнюю минуту каторгой и ссылкой. Воспоминания Ивана Васильевича Вуича — полковника, начальника штаба гвардейского пехотного корпуса, командир которого должен был исполнить этот обряд смертной казни, уточняются и дополняются печатаемыми далее воспоминаниями А. Н. Плещеева (См. также: Д. Д. Ахшарумов. Из моих воспоминаний (1849—1851 гг.). СПб., 1905. С. 100—113).

ДНЕВНИК

В видах восстановления истины считаю долгом сообщить вам следующие обстоятельства, мне особенно хорошо известные, так как в то время, в чине полковника, я состоял в должности начальника штаба гвардейского пехотного корпуса, которого командиру, генерал-адъютанту С. П. Сумарокову (тогда еще не графу), поручено было исполнить приговор над осужденными.

В первоначальном приговоре суда могла значиться смертная казнь для многих. Но уже в объявленной конфирмации покойного государя императора эта высшая мера наказания была оставлена только для троих, именно: Петрашевского, Момбелли и Григорьева¹. Были сделаны и все приготовления для исполнения приговора над тремя лицами; не в далеком расстоянии от платформы, устроенной для объявления приговора, были поставлены три столба, и против них выстроены три пешие взвода, снабженные боевыми патронами.

В назначенный день, чуть стало светать, собрались на Семеновском плацу все назначенные присутствовать при объявлении приговора и казни. Привезли осужденных из крепости в закрытых возках, по двое в каждом, в сопровождении жандармов. По мере того как осужденные выходили из возков, в серых арестантских халатах, они бросались друг другу в объятия. Излияния дружественные между ними были трогательны. Особенно замечательны показались всем изъявления дружбы и уважения осужденных к Петрашевскому — первому виновнику общей их беды.

Осужденных взвели в нарочно устроенную для этого четырехугольную платформу и выстроили вдоль трех сторон ее. Оставалась свободная сторона, обращенная к трем столбам, где была и входная лестница.

По приказанию Сумарокова обер-аудитор прочел приговор, смягченный уже императором, как сказано, с оставлением смертной казни для троих. Никакого волнения на лицах осужденных замечено не было. Очень может быть, что они уже

знали сущность приговора частным образом. Может быть, некоторые из них предчувствовали и то, что должно было последовать. Ибо в Петербурге с давних пор не было казни.

Исполнен был обряд преломления шпаги над теми, которые лишены были всех прав состояния. После того Петрашевского, Момбелли и Григорьева повели к столбам, привязали их и завязали им глаза.

Скомандовано было взводам: «Заряжай ружье».

Но вслед за этою командою Сумароков приказал барабанщику ударить отбой (перестать стрелять).

Развязали глаза осужденным на казнь, отвязали их от столбов и привели снова на платформу. Объявлено было помилование, дарование жизни трем и смягчение наказания всем остальным. Послышались радостные крики: «Да здравствует государь!». У многих показались на глазах слезы.

История этого помилования была вот такая.

Накануне назначенного для казни дня мне было отдано корпусным командиром приказание, с соблюдением строжайшей тайны, отправиться в военное министерство к генерал-аудитору. Лично от генерал-аудитора получил я запечатанный пакет, который лично должен был передать генералу Сумарокову. В этом пакете заключалось Высочайшее повеление объявить помилование лишь в ту минуту, когда все уже будет готово к исполнению казни.

На Петрашевского, Момбелли и Григорьева надели дорожные шубы, ибо они тотчас же на приготовленных тройках должны были отправиться в Сибирь с фельдъегерями². Помню нежное прощание с Петрашевским всех остававшихся осужденных. Помню даже сердитый взгляд, брошенный им на фельдъегеря, который, хотел прислужиться ему, слишком сильно вздернул кверху воротник шубы. За несколько минут ожидавшие смерти понеслись по пути в Сибирь.

Все рассказанные мною подробности должны быть памятны и истина их может быть засвидетельствована г. Пальмом, известным ныне драматургом, который, хотя освобожденный от всякого взыскания, стоял на левом фланге осужденных в сюртуке и эполетах лейб-гвардии егерского полка.

Итак, Ф. М. Достоевский и А. Н. Плещеев не были приговорены покойным императором Николаем Павловичем к смертной казни.

Поэт Алексей Николаевич Плещеев (1825—1893)— один из самых близких друзей молодого Ф. М. Достоевского. Именно ему писатель посвятил повесть «Белые ночи». После каторги и ссылки дружеские отношения продолжались, несмотря на идейные разногласия (принадлежность к разным политическим лагерям — Плещеев занимал пост секретаря «Отечественных записок»). Об отношениях Достоевского и А. Н. Плещеева см. работу В. Л. Комаровича «Юность Достоевского»//Былое, 1924, № 23. С. 3—43.

[ВОСПОМИНАНИЯ]

...Сведения эти не точны. Или память изменила г. Вуичу, или он в то время находился не довольно близко к платформе, на которой стояли осужденные и где читалась им конфирмация. Не знаем, заметно ли было на их лицах волнение, но к смертной казни были приговорены все 24 человека, участвовавших в деле Петрашевского, а не трое только поименованных г. Вуичем лиц, хотя действительно только эти трое были привязаны к столбам. По прочтении конфирмации на всех, за исключением г. Пальма¹, были надеты белые рубашки приговоренных к смерти. До той самой минуты, пока Петрашевского, Момбелли и Григорьева не отвязали от столбов и пока не объявлено было о помиловании, осужденные не знали, что смертная казнь не будет приведена в исполнение; доказательством этому может служить между прочим то, что один из осужденных — Тимковский, подойдя к находившемуся тут же на платформе священнику в черной ризе, с крестом в руке, — пожелал исповедаться. По возвращении осужденных в казематы Петропавловской крепости всех их обошел доктор, для того чтобы удостовериться, не произвела ли на кого-либо из них слишком потрясающего впечатления, могущего отразиться на здоровье, происходившая церемония.

Все это мы передаем, основываясь на свидетельстве одного из участвовавших в деле Петрашевского, именно А. Н. Плещеева. Впрочем, желающие могут удостовериться из того № «Русского инвалида» (от 22-го декабря 1849), из которого на днях была сделана выдержка в «Петербургском листке», что к смертной казни были приговорены все без исключения лица, выведенные на плац в качестве осужденных.

Хотя автора этих воспоминаний пока установить не удалось, они важны для нас прежде всего тем фактом, что, посещая кружок петрашевцев и став революционером и атеистом, Достоевский продолжает читать Евангелие.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

Есть люди на сем свете, которых *призвание* — страдать, страдать и страдать. К числу этих людей *всецело* принадлежал *Достоевский*, скончавшийся 28 текущего января. Он был беден и несчастлив в юности и остался бедным и несчастным в старости. Громадный талант, натура страстная, поэтическая, выдвинули его из общей колен, но с этим вместе и погубили его во цвете лет.

Я познакомился с ним в Петербурге в 1848 году, когда оставил навсегда Москву. Зять его П. А. Карепин¹ просил меня, при отъезде, передать Федору Михайловичу 50 р., а с этим вместе ближе сойтись с ним и принимать его как доброго знакомого. Я исполнил желание Карепина, и Федор Михайлович чуть не ежедневно ходил ко мне обедать. Жил я в это время в Коломне, в доме церкви Св. Станислава. Однажды приезжает ко мне Иван Петрович Липранди², производивший следствие по делу Петрашевского, и советует мне оставить квартиру в сказанном доме, потому что в нем живут, как он выразился, разные *революционеры*, и, следовательно, я могу тоже быть привлечен к следствию. Я отвечал ему на это, что не понимаю, за что привлекать меня по делу, которого я вовсе не знаю, а следовательно, в нем участвовать не могу. — «Все-таки советую выехать — спокойнее».

Сначала это меня обеспокоило, а потом я забыл совет Липранди и остался жить в той же квартире.

В одно из обычных посещений Достоевского он увидел у меня французское издание Евангелия, подаренное мне известным филантропом, доктором Гаазом³. Достоевский попросил у меня эту книгу на несколько дней. Я исполнил его желание.

В конце года я уехал в Москву и по возвращении поселился в Графском переулке, в доме Зиновьева. Следствие о Петрашевском было кончено, и я узнал, что Достоевский приговорен к *повешению*⁴. В день исполнения приговора он был помилован — ему была дарована *жизнь*; но каторга оказалась все-таки его уделом.

По прошествии нескольких месяцев после проводов Достоевского в Сибирь я был крайне удивлен визитом ко мне какого-то жандармского майора, который объяснил мне, что я

приглашен к генералу Дубельту, управлявшему в то время «страшным» третьим отделением, при шефе жандармов графе (тогда еще) Алексее Федоровиче Орлове.

Я сказал майору, что тотчас же явлюсь, а он предложил мне ехать немедленно с ним вместе. Какие же тут разговоры? Оделся и отправился с майором, который был настолько внимателен ко мне, что запасся каретой.

Приехали к Цепному мосту, вошли во второй этаж, в приемную, где находился жандарм и какой-то чиновник, который объявил мне, что генерала нет и что он возвратится не ранее пяти часов (а было второго половина). Делать нечего — жду генерала. Часу в восьмом вечера тот же чиновник приглашает меня пить чай в какую-то отдаленную комнату, в которую мы попали чрез нескончаемый коридор. Напились чаю. Прошел час, другой; явился другой чиновник, который объявил мне, что генерал Дубельт примет меня на *другой день* и между прочим предложил мне *ночевать* в отдельной комнате *до завтра*. Признаюсь — я сильно струсил, тем более, что ничего не понимал.

Каждый, живший в то время, согласится, что я провел всю ночь и следующий день, до двух часов пополудни, в положении крайне незавидном. Наконец меня пригласили к генералу. Я вошел в кабинет Его превосходительства.

— Кто Вы такой?

— Такой-то.

— Вы москвич и сын такого-то?

— Точно так.

— Отчего Вы не служите?

— Служил и теперь желаю поступить вновь на службу.

— В военную?

— Нет-с, в гражданскую, потому что в военной никогда не служил.

— Напрасно. Во всяком случае, скажите, в каких отношениях были Вы с Петрашевским?

— Я Петрашевского не только не знал, но в жизни никогда не видел.

— Вы нагло лжете!

— Позвольте Вашему превосходительству доложить, что Вы не имеете никакого права меня оскорблять.

— Вы *никаких прав не имеете*; одно у Вас право — говорить правду!

— Я сказал правду.

— А это что?!!

И при этих словах Дубельт выдвигает ящик своего письменного стола и показывает мне французское Евангелие, которое взял у меня на несколько дней Достоевский в 1848 году, Евангелие, о котором я вовсе забыл.

— Что это такое?

— Французское Евангелие.

— А это что такое? — продолжал Дубельт, указывая на пометки карандашом, написанные на полях книжки.

— Не знаю.

— Как же к нему попало это Евангелие?

— Я это Евангелие дал Достоевскому, но Петрашевского не знал, и как оно к нему попало — не ведаю.

— Расскажите, почему и как Вы знакомы с Достоевским? Рассказал.

— Ну вот что, молодой человек, забудьте об этом, не болтайте и ничего не бойтесь. Если Вам что-нибудь нужно, попросите — я для Вас все сделаю.

Этим окончилось мое нравственное мучение у милого Дубельта, которого я впоследствии встретил на обеде у М. Н. Муравьева⁵.

Прошли годы — все изменилось. Достоевского возвратили, и он приехал в Петербург.

Мы встретились; я рассказал ему казус со взятым им у меня Евангелием. Оказалось, что книжка эта (с обозначением моей фамилии на заголовке) была взята у него *без его ведома* Петрашевским.

— Много прожил, перечувствовал и перестрадал я с тех пор, как мы не виделись. Я того убеждения, что не молодость виновата в том, что она делает глупости — не в меру увлекается; виноваты те, которые, находясь за кулисами, не подвергая *шкуры* своей никакой опасности, *науськивают* молодежь ради *своих личных целей*. Простите, что подвел Вас, не зная этого.

Достоевского после того мне удавалось встретить раза два, не более. В разговорах он вспоминал о своей сестре и брате. Нравственное состояние его, насколько я мог судить из его разговоров, было крайне ненормально⁶.

Его «Мертвый дом» было его *последнее искреннее* слово. Все его последующие произведения носят отпечаток нравственной его ненормальности, хотя и присущая ему даровитость всегда проявлялась в них.

Достоевский жил страдальцем и умер страдальцем. Утешений в жизни он не имел с *младенчества*; ласки родительские были для него чужды⁷.

Достоевский умер, оставив после *смерти* живые следы.

Он спокоен — и благо ему.

«Не плотские дети суть дети Божие, но дети *обетования*», — сказал апостол Павел.

Слово это всецело можно применить к умершему страдальцу Достоевскому.

КАТОРГА

М. Д. ФРАНЦЕВА

В Тобольске, по дороге в Омскую каторгу, произошло незабываемое событие, сыгравшее важнейшую роль в духовной биографии Достоевского. Жены декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова с дочерью О. И. Ивановой и Н. Д. Фонвизина добились («умолили», по словам Достоевского), тайного свидания с петрашевцами на квартире смотрителя пересыльной тюрьмы. В «Дневнике писателя» за 1873 г. Достоевский вспоминал: «Мы увидели этих великих страдальцев, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге». (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 21. Л., 1980. С. 12).

Когда Достоевского и С. Ф. Дурова после шести дней пребывания в Тобольской тюрьме повезли под стражей в середине января 1850 г. в Омский каторжный острог, две женщины поджидали экипажи на омской дороге: жена декабриста Наталья Дмитриевна Фонвизина (1805—1869) и близкий друг ее семьи, дочь тобольского прокурора Мария Дмитриевна Францева (см. о ней: М. М. Громыко. Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского 1850—1854 гг. Новосибирск, 1985).

ВОСПОМИНАНИЯ

...Незадолго же до этой истории была привезена в Тобольск партия политических преступников, так называемых петрашевцев, состоявшая из восьми человек: Достоевского, Дурова, Момбелли, Львова, Григорьева, Спешнева и самого Петрашевского¹. Отсюда их распределяли уже по разным заводам и губерниям. Наталья Дмитриевна Фонвизина², посещая их в Тобольском остроге, принимала в них горячее участие и, находясь еще тогда в дружеских отношениях с князем Горчаковым³, просила его оказать посланным в Омск Достоевскому и Дурову покровительство, что и было сначала исполнено князем.

Узнав о дне их отправления, мы с Натальей Дмитриевной выехали проводить их по дороге, ведущей в Омск, за Иртыш, верст за семь от Тобольска. Мороз стоял страшный. Отправившись в своих санях пораньше, чтоб не пропустить проезжающих узников, мы заранее вышли из экипажа и нарочно с версту ушли вперед по дороге, чтоб не сделать кучера свидетелем

нашего с ними прощанья; тем более, что я должна была еще тайно дать жандарму письмо для передачи в Омске хорошему своему знакомому, подполковнику Ждан-Пушкину⁴, в котором просила его принять участие в Достоевском и Дурове.

Долго нам пришлось прождать запоздалых путников; не помню, что задержало их отправку, и 30-градусный мороз порядочно начинал нас пробирать в открытом поле. Прислушиваясь беспрестанно к малейшему шороху и звуку, мы ходили взад и вперед, согревая ноги и мучаясь неизвестностью, чему приписать их замедление. Наконец, мы услышали отдаленные звуки колокольчиков. Вскоре из-за опушки леса показалась тройка с жандармом и седоком, за ней другая; мы вышли на дорогу и, когда они поравнялись с нами, махнули жандармам остановиться, о чем уговорились с ними заранее. Из кошевых (сибирский зимний экипаж) выскочили Достоевский и Дуров. Первый был худенький, небольшого роста, не очень красивый собой молодой человек, а второй лет на десять старше товарища, с правильными чертами лица, с большими черными, задумчивыми глазами, черными волосами и бородой, покрытой от мороза снегом. Одеты были они в арестантские полущубки и меховые малахаи, вроде шапок с наушниками; тяжелые кандалы гремели на ногах. Мы наскоро с ними простились, боясь, чтобы кто-нибудь из проезжающих не застал нас с ними, и успели только им сказать, чтоб они не теряли бодрости духа, что о них и там будут заботиться добрые люди. Я отдала приготовленное письмо к Пушкину жандарму, которое он аккуратно и доставил ему в Омск.

Они снова уселись в свои кошевые, ямщик ударил по лошадям, и тройки помчали их в непроглядную даль горькой их участи. Когда замер последний звук колокольчиков, мы, отыскав наши сани, возвратились чуть не окованные от холода домой.

В начале пребывания в Омске, в арестантских ротах, Достоевского и Дурова, им было гораздо лучше, чем впоследствии. Князь Горчаков, по просьбе Натальи Дмитриевны, принял в них участие и делал разные облегчения, но после размолвки Натальи Дмитриевны с князем все вдруг переменялось, и вместо снисхождения началось притеснение. Прежде всего, запрещено было помещать их в госпиталь, потом велено было высылать их с прочими арестантами в кандалах чистить зимой самые многолюдные улицы, одним словом, начался для них целый ряд разнородных унижений. Мы имели о них постоянные сведения от Пушкина; он, как инспектор кадетского корпуса, писал ко мне о них под видом известий будто бы о родственниках-кадетах; между прочим, забавно описывал он переполох князя из-за Достоевского и Дурова. «Однажды,— писал Пушкин,— начальник штаба, генерал Жемчужников, посетил военный лазарет и, видя здоровый вид Достоевского и Дурова,

шепнул главному доктору Троицкому⁵, чтоб он их выписал, прибавив при этом по секрету, что в них и князь Горчаков принимает большое участие и что им не так худо будет и вне госпиталя; действительно, коменданту было передано по секрету, чтоб с ними и обращались хорошо и не употребляли их на тяжелые работы. Причина приказания выписать их из госпиталя была, кажется, трусость князя. Здесь пресмешная комедия была. Князь, получивши в первый раз предписание о присылке в Сибирь этих несчастных, распорядился тотчас же о развозе их по назначенным местам тоже на почтовых, как они прибыли из Петербурга; на другой день приходит к князю начальник штаба и уверяет, что их следовало отправить по этапам пешком, а не по почте, и что за это князь может получить неприятность. Князь испугался, послал было тотчас же адъютанта своего на курьерских в Тобольск, чтоб остановить свое первое распоряжение, но было уже поздно, адъютант встретил на дороге едущих в Омск Дурова и Достоевского и узнал, что прочие тоже отправлены и что их никак не догонишь. На князя напала страшная трусость, пошли вздохи и жалобы; он только и твердил окружающим его, что вот долголетняя служба его должна пропасть, что он ожидает каждую минуту, что прискачет из Петербурга фельдъегерь, посадит его в сани и увезет за тридевять земель; ничем заниматься не мог, только это в голове у него и было, и вот, вероятно, под влиянием этой-то трусости он и послал начальника штаба в госпиталь с тем, что ежели он найдет их на вид здоровыми, то чтобы приказал выписать. На днях получил, наконец, князь успокоительный ответ из Петербурга, где пишут, что все его распоряжения насчет отправления и назначения этих несчастных одобряются совершенно, и вот он вздохнул свободнее...»

Краевед Г. Зленко установил, что криптоним А. М. принадлежал историку Алексею Ивановичу Маркевичу (1847—1903), а рассказал эту историю Генрих Михайлович Мейер, который в это время был врачом приюта общественного призрения в Тобольске, и ему пришлось осматривать петрашевцев (см.: Г. Зленко. Читатель рассказывает//Литер. Россия, 1975, 25 июля, № 30). См. далее в настоящем издании воспоминания А. И. Маркевича о встрече с Достоевским в начале 1860-х гг.

К ВОСПОМИНАНИЯМ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

(Рассказ очевидца)

В дополнение к сведениям, сообщенным о Достоевском в № 3-м «Русской старины»¹, привожу рассказ человека, видевшего его в Сибири.

На новый год (1850) в Тобольске был бал, на котором присутствовал и губернатор Энгельке. Несмотря на страшный холод, бал был чрезвычайно оживленный. В час ночи вошел очень толстый полицмейстер Тецкой и шепотом что-то сказал губернатору. Губернатор смутился, побледнел и сейчас же уехал с бала. Мигом в публике распространился слух, что привезли социалистов; настроение сразу изменилось, и все гости тотчас же разъехались.

Приехавшие были заключены в остроге, в очень низкое и тесное помещение со спертым воздухом, словом, весьма плохое; «их содержали слишком плохо». Но в них приняла участие публика, особенно декабристы, жившие в Тобольске: Анненков, Муравьев, Свистунов, два Пушкина², посылали им белье и т. п. Особенный интерес возбуждал Достоевский³, о котором тогда говорили уже как о знаменитом авторе повести «Бедные люди».

Рассказчик (бывший в Тобольске доктором приюта общественного призрения) тоже заинтересовался присланными и посетил их, как в тюрьме, так и в тюремном лазарете. Он помнит, что привезены были, кроме Достоевского, Петрашевский, Дуров, Толль, Спешнев, Ястржембский, Львов, Момбелли и еще кто-то. Из них Момбелли был болен меланхолией и пролежал в тобольской больнице около шести недель. Очень был огорчен и Толль, который потом распился⁴. Спился и еще кто-то.

Петрашевский производил впечатление маньяка или даже совсем помешанного и был ужасно угрюм. Когда доктор попросил рассказать, за что все они осуждены, то Петрашевский обещал написать ему об этом и точно прислал записку, в которой излагал теории Фурье и описывал фаланстеры; но записка была крайне беспорядочная и обличала в пишущем некоторое

повреждение ума. Рассказчик потом, страха ради, записку эту изорвал.

Достоевский был маленький, тщедушный и казался молоденьким; он был чрезвычайно спокоен, хотя у него были очень тяжелые кандалы и на руках, и на ногах.

Львов был совсем ребенок и, несмотря на такие же кандалы, прыгал и даже танцевал, без всякого признака грусти.

В место заключения их пришел вице-губернатор *Владимиров*, человек из выслужившихся и грубый; но, видно, заключенные произвели на него впечатление людей порядочных, потому что он вежливо спросил их, довольны ли они помещением? Тогда *Львов* с иронией ответил, что очень довольны, что помещение прекрасное, комнаты высокие и т. д. *Владимиров* сконфузился и вышел.

Из *Тобольска* уже все присланные были отправлены на место ссылки. Мне рассказывал один из уроженцев *Нерчинска*, что он, хотя и был еще мальчиком, но живо помнит приезд *Петрашевского*, *Львова* и др. Народ тогда толковал, что это пленные венгерцы; тогда именно была венгерская кампания.

Воспоминания странника Барышева, переданные В. Абельдяевым, один из немногих мемуарных источников, связанный с непосредственным свидетельством очевидца каторжной жизни Достоевского. Достоверность их невозможно проверить, но они в полной мере соответствуют сострадательной натуре писателя, его отзывчивости на чужую боль.

ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Завтра, 29 января, исполнится десять лет со дня кончины одного из наших лучших писателей, Федора Михайловича Достоевского. Пользуюсь этим случаем, чтобы привести о нем два рассказа, слышанные мною от очевидцев, и которые нигде не приходилось встречать в печати.

Первый рассказ мне привелось услышать от лица ни духовного, ни светского, но посветившего себя духовному служению, нечто вроде того, что на Руси принято называть «странником». Он носил духовную одежду, подобную монашеской, длинные волосы и некоторое подобие скуфьи. Фамилия его Барышев. Он говорил, что получил благословение на духовное служение от многих лиц, высоко стоявших в служебной иерархии и, между прочим, от Московского митрополита Филарета. В настоящее время он очень стар и не помнит хорошенько ни года происхождения, ни места. Тем не менее рассказ его очень характерен.

«Я сначала хаживал все по тюрьмам в Москве,—говорил он.—И в военную ходил, и в гражданские. Наберешь с собою священных книг и пойдешь беседовать. Все тюремное начальство меня знало и пускало ночевать с арестантами. И часто случалось мне целые ночи читать им Священное Писание—так заслушаются. Иногда приходилось и даром провести ночь. Попадались такие, что только закричат: „Читай сам свои книги, если хочешь, а нас разрюмитья не соблазнишь. Отстань“. Но никогда со мной не было такого случая, как в Сибири.

Вздумал я вместе с партиями прогуляться в те страны, где люди живут на каторге. Обошел благодетелей, запаса на дорожку книгами, деньгами, казенными бумагами и письмами некоторых больших лиц и отправился летом—чтобы сподручнее было—с одной партией по этапу. Партию гнали довольно скоро. На дороге я отстал от нее. Пришел в Казань один. Там дождался новую партию и с нею прошел верст сто. А потом опять отстал и пошел один в Пермь. Перевалив Урал, помню я, прошел через город, прозывается Тюмень, а дальше пошли названия все такие не русские, что не всегда языком выговоришь. Только строились у нас тут какие-то крепости. Явился я к заведывавшему работами; военный, генерал ли, полковник, уж

не упомню; дал я ему грамотку от важного генерала Бутурлина и получил разрешение везде свободно впускаться. Так же, как в Москве, ходил я больше на ночь. Днем не приказывали мешать работам. Было там в Сибири, говорят, несколько каторжных отделений. Понемногу обошел я их чуть не все.

Не так далеко от границы привелось мне ночевать в одной тюрьме, пересыльной ли, каторжной ли, не упомню по названию. Попались арестанты как будто сердечные. Расспрашивают обо всем, просят рассказать и почитать. А потом вдруг говорят: „Ну тебя, надоел. Убирайся к шуту“. Вынули откуда-то карты и начали играть. Смотрю, через несколько времени появилась и водка. Тогда, поскорбев о пропавшем дне, лег я уснуть.

Хорошо. Сплю. Вдруг чувствую, надо мной как будто свет и из-под головы у меня вытаскивают малахайчик, который я подложил вместо подушки.

Открываю глаза. Гляжу. Надо мной эти самые, которые разговаривали, стоят. Один держит в руке свечку, а трое начали меня ощупывать. Сняли с меня теплые штаны, вынули из кармана какие были деньги — была мелочишка, а между нею и бумажка. Сняли все, оставили один подрясник. „Молчи,— говорят,— а то зашибем“. Отняли все и опять стали играть.

Играют на мои вещи и на мои деньги и опять послали за водкой. Где уж они ухитрились ее доставать — Бог весть.

Только один проиграл все и опять ко мне: „Давай,— говорит,— подрясник“. Я взмолился: „Как же мне оставаться в одной рубашке?“ — „Да что,— говорит,— братцы, все равно он завтра на нас скажет, давайте его задушим“.

Я, как услышал, вскочил, ухватил, не помню, доску ли какую или скамейку и хотел к двери. Не тут-то было. Схватили меня, зажали рот и давай душить. Был бы мне совсем конец. Но тут-то у меня явился спаситель.

Спал в углу какой-то арестант, не то чиновник, не то военный, а только из благородных. Давно он на своем месте поднялся и что со мною делали, глядел. И верно хотел выручить. А не смел. Как только он к двери, сейчас голоса: „Ты куда, хамово отродье, доносить?“ Успел он все-таки с нар соскочить, потом присел на землю, ползком, ползком и добрался до двери. Это он уже потом тюремному начальству рассказывал. Сейчас в дверь постучал и дал знать часовому. Часовой кричит через окошко: „Стрелять буду“ и сделал тревогу.

Как услышали это мои грабители, бросили меня, повалились все на нары и как бы спят. Входит караул: „Кто здесь вас, батюшка, грабил?“ — „Ничего,— говорю.— Я ни на кого не в претензии, только бы мне платье отдали, было бы в чем идти“.. Подошел я к этому самому моему спасителю и спрашиваю: „Как вас звать, за кого я должен Бога молить?“ — „Зачем вам

знать,— говорит.— Только вы больше сюда не ходите. А то вас впрямь убьют. А платье вам воротят“.

Пошли розыски, кто и что сделал. Ни я ничего не говорю, ни он. Только попросился (он-то), чтоб его в другую комнату перевели.

Через день приносят мне мое платье. „Вот,— говорит,— отдали, а кто сделал, не могли узнать“.— «Позвольте,— говорю,— спросить, как прозывается тот арестант, который обо мне дал знать. Хотел я за него Богу помолиться а не имени, ни фамилии его не знаю».— „Имя его Федор, а фамилия Достоевский. От него тоже ничего не узнаешь: прослышат арестанты— убьют. И то должен его был перевести в другое место“.

После уже слышал я, что он с каторги вышел и даже известный человек сделался. Собирался я все к нему пойти, да за многими заботами так его и не видел.

Пришлось мне быть опять в Москве. Пришел в тюрьму, гляжу, один из злодеев сидит, которые меня убить собирались. „Счастлив твой Бог,— говорит,— что на нас тогда не сказал. А то бы теперь ли, после ли, покончил бы с тобой. И то тебе вовек не забуду, как меня высекли. Смотри у меня“.

И показывает мне кулак. Я так испугался, что сейчас же ушел и отправился даже из Москвы вон.

Да, вот какой был случай», — закончил старик.

Второй рассказ мне был сообщен товарищем, который вышел из четвертого класса гимназии, где я учился, и несколько лет шатался без дела в Москве. Тут он вошел в приятельские отношения с одним студентом Московского университета. По какому-то случаю этот студент вместе с другими ездили в Петербург к Ф. М. Достоевскому, чтобы спросить его мнения и совета. Совет был дан и не одним им, а всем их товарищам. Вот что приблизительно высказал Федор Михайлович:

«В самые тяжелые моменты моей жизни, когда, кажется, все оставляли меня, я находил поддержку в одном существе, которое мне никогда в ней не отказывало. Это существо — Бог. Я по личному опыту убедился, что нет ничего хуже неверия. И всем, кто желает в этом убедиться, я предлагаю отправиться на каторгу. Если они не покончат с собою, то возвратятся оттуда истинно верующими.

Стройте себе какие хотите идеалы, разрушайте все человеческие понятия, но не касайтесь понятия о Боге. Оно раньше вас пришло на землю и не может быть вами уничтожено. Те, которые остаются без него, чувствуют пустоту и мрак на сердце и, потеряв все в жизни, не могут обрести ничего и внутри себя. От того и являются у вас порывы отчаяния, что вы не имеете веры.

На земле еще все так несовершенно, не устроено, что нельзя жить одними земными идеалами. Приходится сталкиваться со скорбями, с огорчениями и не видеть утешения. Если жить

так плохо, если ваши старания не могут этого мгновенно переделать, и если вы не имеете надежды на изменение к лучшему — вы смотрите на себя как на существо, которому не стоит жить и которое поэтому может сделаться машиной, орудием для исполнения замыслов ваших и других людей, ведущих к благороднейшей и возвышеннейшей цели — исправлению существующего зла. Пусть, говорите вы, мы погибнем, зато по нашим трупам наши товарищи, следующие за нами, пойдут победителями. Но человек не машина и не есть орудие дел человеческих, если они не сходятся с намерениями Бога. Смотрите, когда Иисус Христос безропотно переносил мучения и *когда* он брал бич, чтобы прогонять торговцев. Вы, взявшие этот бич не вовремя, будете сами извергнуты из Храма, вытолкнуты и, падая, разобьетесь о камни, и тела ваши погибнут безо всякой пользы, так же как и ваши души.

Если вы бы имели веру, вы знали бы, что учить надо словом и *примером*. И только тогда, когда вы имеете власть, могущество, которое стоит за вами и готово будет явиться вам на помощь в случае надобности, тогда вы можете взять бич и наказывать, судить и осуждать.

Оглянитесь же теперь — Вы одни. За Иисусом Христом стояли все силы небесные. Что за вами? Не надейтесь же на свои силы — их хватит на очень малое. Постарайтесь о том, чтобы умножить свое воинство настолько, сколько этого требуют силы. Самый нерасчетливый полководец старается, однако, всегда быть в решительном месте сильнее врага, и если знает, что у него сил мало, не выступит в поле, а запрется в крепости. Не безумие ли будет, при современном оружии, если он пойдет на неприятеля, имея силы в десять раз меньше. А у вас сила не только в десять раз, а во сто и более раз меньше. Я вам говорю, наберите сил и тогда сражайтесь. Если вы так мужественны, что один из вас может сразить двух врагов, то и то вам надо иметь войско не менее его половины.

Вам тяжело ждать; вы говорите, что не можете равнодушно выносить и терпеть вашего настоящего положения, потому что у вас нет противовеса, к которому вы могли бы обращаться и который давал бы вам утешение. Но как же вы хотите его найти на земле, где все так скверно? Сколько бы вы ни искали, очевидно, ничего не найдете. Сколько бы вы ни думали вашу тяжелую думу, вы не выстроите себе в мыслях человеческого разума ничего прочного, на что вы бы могли сейчас же опереться.

Вы мне не верите? Попробуйте поступать, как я вам советую — верить безусловно, без рассуждения и сомнений — и увидите, что вашему делу это не помешает, но зато никакая неудача не покажется вам непоправимою, никакое бедствие — чрезмерным, никакое человеческое действие — невыносимым. Вы никогда не лишитесь надежды, и что бы вас ни преследо-

вало в жизни, какая бы сила вас ни свалила, вы всегда опять поднимитесь на ноги и пойдете спокойно своим путем, зная, что уничтожить она вас не в силах, не может заставить и отступить вас от цели, к которой вы идете, и, достигнув этой цели, вы станете сильнее ее. Поднимитесь, как дуб,—и вас сломает буря; пригнетесь к земле, как былинка,—и вы все вынесете. Но когда вас поднимется целый лес, его не сломает никакая буря.

Вот та сила, которую я дам вам, чтобы в ожидании этого времени терпеливо все вынести. И если вы хоть сколько-нибудь цените мое мнение, что я замечаю из того, что вы ко мне обратились, то не отбросите моего совета без пробы. Я его даю, как вы знаете, желая вам всего лучшего. Мои идеалы—ваши идеалы, мои стремления—ваши стремления. Хотя мне пятьдесят уже с лишком лет, но я горжусь тем, что нахожу в себе те же мысли, которыми одушевлено молодое поколение и глубоко буду скорбеть, если его силы потратятся бесплодно. Я пишу теперь вещь (он писал в это время *«Братья Карамазовы»*), которая выразит мои взгляды на веру, как я ее понимаю, и если мне не удастся всего высказать там, я попытаюсь изложить это потом, в форме ли обращения к вам, моим надеждам, или ко всем людям, я еще не решил.

Меня стали ужасно раздражать последние события, я стал нервен и беспокоен больше, чем следует. Меня оторвали от моих вопросов, чтобы заставить обратиться на такие, которые не могут быть решены. Я не хочу их исследовать и думаю, что то, что я сказал и скоро скажу, будет совершенно достаточно для моих сил».

— Федор Михайлович говорил с нами часа два или больше,—рассказывал студент моему товарищу,—но другие мысли я боюсь перепутать, хотя, возвратившись в номер, в котором мы остановились, и я, и мой товарищ сейчас же записали все, что слышали и сверили свои записки. Я вам сообщаю только то, что у нас совершенно сошлось.

13 февраля 1882 г. в тифлисской газете «Кавказ» некто Алексей Южный (возможно, под этим псевдонимом скрывался историк и педагог Алексей Александрович Андриевский) опубликовал воспоминания бывшего каторжанина поляка А. К. Рожновского о пребывании Достоевского в Омском остроге. Хотя В. Вайнерман в своей книге «Достоевский и Омск» (Омск, 1991) скептически относится к их достоверности, однако, на наш взгляд, психологически это вполне правдивые мемуары. Кроме того, Рожновский, действительно, умер в Старой Руссе.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

(Со слов А. Южного)

Это было летом 1880 года. Я только что возвратился из-за границы. Открытие Кельнского собора, шумная и многочисленная толпа всесветных шатунов в Гамбурге, тысячами толпящихся у рулеток, не менее шумные и бьющие на эффект парады республиканских войск в Париже,— все это страшно утомило меня: в голове стоял какой-то чад, перед глазами носился пестрый калейдоскоп, и потому я очень рад был внезапной случайности, вызвавшей меня в Петербург. Впрочем, эта случайность заняла у меня всего неделю времени и, следовательно, впереди предстояло почти полуторамесячное пребывание в опустевшем городе. Пыльный Невский, чахлые деревья Лесного, раскаленный купол Исаакия, певцы и певицы Берга¹ — все это может иметь некоторую прелесть для провинциала, жаждущего видеть Петербург, как во времена «оны»... Но для постоянного жителя столицы не составляет никакого интереса. Ввиду всего этого я решил провести остаток лета где-нибудь на чистом воздухе, вдали от шума и толпы. Выбор мой пал на Старую Руссу, купания которой мне хвалило несколько лиц, в том числе С. Шашков.

Не позже как через неделю, в первых числах августа, я уже поселился в Старой Руссе, в доме какой-то вдовы отставного капитана, которая расхваливала мне свои «меблированные комнаты» как восьмое чудо света (в последнее время этих восьмых чудес развелось особо много). На деле же оказалось совсем наоборот, комнаты были прескверные, низенькие и грязные, но выбирать было не из чего, лучшие квартиры были заняты, а остались, как говорят малороссы, одни «последки», да и за те требовали баснословные цены.

Кроме меня, у капитанши занимали квартиры еще три личности: раненый офицер (с ним капитанша была особенно предупредительна и приветлива), чахоточная гувернантка и высокий седой старик, бывший для меня большой загадкой.

Хотя Старая Русса при ближайшем знакомстве с ней и не понравилась мне, но я все-таки был доволен тем, что жил в уединении, распоряжался свободным временем как хотел и мог привести в порядок свои заграничные впечатления. Занимался я преимущественно в полдень и поздно вечером, остальное же время посвящал прогулке с ружьем по окрестным лесам, купался или же, захватив с собой книгу, отправлялся в какое-нибудь уединенное место довольно тенистого парка на Красном берегу.

Выше я уже заметил, что в числе квартирантов моей хозяйки был один старик, служивший для меня загадкой. Действительно, с первого раза как я только увидел, он приковал к себе мое внимание. Это случилось так. Прошло около недели со времени моего приезда в Старую Руссу. Был полдень, солнце пекло невыносимо и наполняло мою комнату целыми потоками света, вследствие чего я опустил грязные зеленые шторы и принялся разбирать кипу почтовой корреспонденции, в первый раз еще полученной мною здесь.

Всякий, кто привык ежедневно пробегать журналы и газеты, поймет, с какой я жадностью пожирал печатные столбцы после недельного поста. В это время — в минуту самого напряженного внимания я был поражен раздирающим душу криком, раздавшимся с улицы.

Крик этот, и без того ужасный, в окружавшей тишине приобретал еще более зловещий характер. Я вздрогнул от испуга и, швырнув газету в сторону, в несколько прыжков был уже на дворе.

Калитка на улицу была отворена, и за воротами стояла хозяйка и еще кто-то из прислуги, безучастно глядя на разыгравшуюся вблизи отвратительную сцену.

Я в один миг очутился на улице, и глазам представилась следующая картина. Напротив одного из соседних домов высокий, здоровый мужчина в русской поддевке и высоких сапогах нещадно бил плетью молодую красивую женщину в нарядном костюме новгородской горожанки. Несчастная уже не кричала, а лишь хрипела и безжизненно моталась на руке у истязателя, который держал ее за косу. Несмотря на то, что из всех дворов и домов высыпала масса народа, никто не делал ни малейшей попытки освободить несчастную от тиранства.

Возмущенный до глубины души как зверством истязателя, так и апатичным хладнокровием глазевшей на потеху толпы, я хотел уже броситься к несчастной на помощь, как в эту минуту мимо меня пронесся мой сосед старик. Он был без шапки, длинные седые волосы густыми прядями ниспадали до плеч и красиво оттеняли благородное открытое лицо, окаймленное большой седой бородой. Подбежав к мучившему женщину, он схватил его за плечи и с необыкновенной силой присадил к земле.

— Брось плеть, подлец! — судорожно проговорил он, пожирая сверкавшими гневом глазами смутившегося от внезапного нападения мужчину в поддевке.

Последний, как бы чувствуя если не физическое, то нравственное превосходство старика, отпустил свою жертву, держа, однако, плеть в руке. Впрочем, замешательство его длилось одно мгновение, затем ярость поднялась с удвоенной силой и уже обратилась на защитника несчастной. Ловко вывернувшись из рук старика, он так сильно ударил его локтем в грудь, что тот зашатался и упал, как сноп. Не удовольствовавшись этим, он хотел еще ударить его ногой по лицу, но тут уже подоспел я и помешал этому. Мне приходилось вступить в борьбу с разъяренным зверем, и я, конечно, был бы побежден, как мой предшественник, но, к счастью, в эту минуту критическую подоспел один из вечно опаздывающих блюстителей порядка, и отвратительная сцена прекратилась. Сдав бушевавшего на руки полицейскому и некоторым из толпы, я подошел к лежавшему старику. Он был в сознании, но, видно, удар пришелся метко: дыхание было прерывисто и на глазах выступили слезы. Я помог ему встать и повел под руку к дому. У ворот нас встретила хозяйка со следующим замечанием:

— Охота вам была вступаться за эту дрянь. Жаль, что Егоров и ее любовника не попотчевал.

В ответ на эти слова, служившие разгадкой вышеописанной сцены, старик ничего не ответил, только как-то странно поглядел на говорившую.

Я помог ему дойти до своей комнаты и предложил позвать доктора, но он отрицательно мотнул головой и отрывистым слабым голосом произнес:

— Не надо, я привык!

В тот момент я не обратил на последние его слова никакого внимания, но впоследствии, увидит читатель, они получили для меня особое значение.

На этом пока и остановилось наше знакомство. Ни он, ни я не делали дальнейших попыток к сближению, хотя меня невыразимо влекло к этому молчаливому человеку, открытое и прямодушное лицо которого носило на себе следы глубокого горя и множества перенесенных страданий.

От хозяйки я знал только, что его фамилия Рожновский, но этим и ограничились все мои сведения о нем.

Прошел месяц со дня моего первого столкновения с Рожновским. Погода начала портиться. Большинство купавшихся разъехалось, решил и я уехать через несколько дней.

Помню, за два дня до моего отъезда был пасмурный тихий день. Все небо заволкло тучами и начал капать мелкий дождь, грозивший зарядить на несколько суток. Я хотел было остаться на целый день дома, но потом вспомнил, что мне необходимо отправить одно срочное письмо заказным, потому я

быстро оделся и вышел, спеша возвратиться назад, пока улицы не покрылись грязью.

Возвращаясь назад, я близ собора встретил Рожновского. Он быстро шел мне навстречу, как будто никого и ничего не замечая, но поравнявшись со мной, внезапно остановился и, схватив меня за руку, произнес:

— Покойник здесь! Вы его видели?

Не зная, что и подумать о подобном вопросе, я в конце концов предположил, что с ним горячка, тем более, что рука его, сжимавшая мою, горела, как в огне. Однако я его спросил:

— О ком вы говорите? Какой покойник?

При моем вопросе лицо Рожновского перекосилось, как будто от внезапно нахлынувшего болезненного ощущения.

— Ах, ведь вы не знаете ничего! Простите меня!

Последнюю фразу он произнес так спокойно, что трудно было предположить бред, кроме того, вслед за нею он сильно закашлял и приложил платок к губам. Весь платок был в крови. Я понял все. Не желая оставлять его в таком положении одного, я спросил:

— Куда же вы идете в такую дурную погоду?

— Хотел идти к «нему», да не стоит тревожить старые раны.

Мне небольшого труда стоило уговорить его отправиться домой.

Комната, занимаемая Рожновским, как и все остальные квартиры капитанши, была скудно меблирована, но носила на себе следы особенной уютиности. В углу стояла железная кровать, постель была покрыта безукоризненно чистым бельем. В стороне у окна стоял большой письменный стол, весь заваленный бумагами, книгами и газетами. Над кроватью висел поясной портрет молодой женщины редкой красоты, единственное украшение всей комнаты. Несколько стульев и кресло перед столом дополняли меблировку.

Я хотел уложить Рожновского в постель, но он не согласился на это, точно так же отказался он и от приема доктора, но здесь я действовал уже самостоятельно. Мне удалось застать доктора дома, и через полчаса он уже был в квартире Рожновского.

При входе доктора Рожновский насмешливо улыбнулся, однако на все вопросы отвечал вполне разумно.

Доктор пробыл недолго. Внимательно выслушал грудь и, осмотрев больного, он потребовал бумаги и перо. Через две минуты доктор подал мне рецепт. Читаю: *Sachari Aqua distillata*. Я с недоумением посмотрел на доктора, не зная, что предположить: мистифицирует ли он или шутит. Доктор заметил мой взгляд и глазами же указал мне, чтобы я вышел с ним.

В коридоре он остановился.

— Вы удивляетесь, отчего я прописал опасно больному сахар и воду, да ведь надо же было что-нибудь прописать, чтобы успокоить больного, а более радикальные средства не помогут — поздно. Можно бы было прописать что-нибудь успокаивающее, если бы предвиделись страдания, но и этого не нужно: по всем признакам больной должен умереть спокойно. Недавно он получил удар, от которого последовал разрыв каверны и ускорилося разложение легких. Впрочем, если последует ухудшение, пришлите за мной, — добавил он, прощаясь со мной.

Эти беспощадные слова ошеломили меня.

— Неужели же нет никакого спасения, доктор? — с сомнением спросил я.

— Никакого! Ему осталось двое или трое суток жизни!

С тяжелым чувством возвратился я к Рожновскому. Он лежал на кровати.

— Устал я, полежать захотелось, — с усилием проговорил он.

Я приказал подать в его комнату самовар и решился не оставлять его одного.

К вечеру Рожновскому сделалось лучше, и он рассказал мне многое, что я постараюсь передать здесь читателям, насколько помню.

«„Покойник“ вам незнаком, начал Рожновский, но если я вам скажу имя того, кого я называю по старой памяти „покойником“, то вы, наверное, не скажете „не знаю“. „Покойником“ на каторге звали Достоевского. Давно это было. Мы были вместе там. Впрочем, я раньше его прибыл туда. Кажется, через год или два после меня привели и его. Я не из повстанцев — они пришли после². Я ее зарезал (с этими словами он указал на портрет, висевший на стене, и глаза его сверкнули дикой страстью).

Когда пришел Достоевский, то с первого раза сильно не понравился „ватаге“*. Каторга имеет свои законы, и каторжники строго следят за точным выполнением их. Иного и сами зарежут. Там закон Линча в ходу. У нас насчет женщин было строго, и все ватажники горой стояли друг за друга в этом деле. Каждый из нас по очереди дежурил по вечерам, когда приходили прачки из прачешной, а Достоевский отказался от дежурства, когда очередь дошла до него. В другой раз он достал от солдата листик махорки. По тамошним правилам, если кто достанет табаку, то половину берет себе, а другую половину делят на несколько частей и затем бросают жребий, кому достанется. Достоевский же и от своей части отказался, и жребий не захотел бросать: разделил пополам между двумя цин-

* «Ватагой» на каторжных работах называется партия арестантов, помещающаяся в одной казарме или отделении. «Ватага» имеет старшего из опетых, который называется «большаком» или «старостой».

готными. Вот на него и взъелись „большаки“ наши: „Что, ты порядки сюда новые вводить пришел“, говорят, хотели „крышку“* сделать, но здесь Достоевского спасло одно обстоятельство. Однажды в пищу одному из каторжников попался какой-то комок. Развернули, смотрим: тряпка и в ней кости и еще какая-то гадость. Может быть, нечаянно попало, а может, кто и нарочно бросил. Тот, к кому попал этот комок, хотел бросить его и смолчать — старый был арестант, знал порядки, а Достоевский говорит: „Надо жаловаться, если ты боишься, давай мне“. Хотели мы его предупредить, чтобы не жаловался он, да „большак“ запретил. Вот при проверке и выходит Достоевский с тряпкой вперед. Набросились тут на него плац-майор³ и ключник: „Ты это нарочно выдумал, чтобы бунт поднять. Эй, кто видел, что это было у него в чашке, выходи!“ Арестанты молчат, „большаков“ боятся. Хотел было я выйти, да думаю: один в поле не воин, если не „большаки“, то начальство заест. А знаете, ведь своя рубашка ближе к телу, постоял плац-майор, видит — все молчат.

— В кордегардию! Пятьдесят!

Увели Достоевского. Пролежал он потом недели две в больнице, затем выписали — выздоровел⁴. Вот этот случай и спас его от „крышки“. Он теперь уже сделался свой, „крещеный“, за ватагу пострадал.

Прошло около года после этого случая.

Я работал с ним в одной партии. Нравился мне он за свой тихий характер. Пальцем, бывало, никого не тронет, не то что другие, бывшие у нас, хотя тоже из привилегированных. Да и совесть, признаться, мучила: почему я тогда не подтвердил его слов перед плац-майором: он (Достоевский) болезнь после экзекуции получил на всю жизнь**.

Иногда, бывало, ночью как начнет его бить об нары, так мы его сейчас свяжем куртками. он и успокоится.

Пошли мы однажды барку ломать и взяли урок втроем. Третий был солдат, по фамилии Головачев — в работы попал за нанесение удара ротному командиру. Начали работать. Погода была хорошая, на душе было как-то веселее обыкновенного, и работа шла скоро. Уже почти оканчивали урок, как я вдруг нечаянно уронил топор в воду. Что тут делать — надо достать во что бы то ни было: конвойные требуют, чтобы топор был, а не то грозят прикладами. Снял я куртку и штаны, подвязался веревкой и начал спускаться. Все было бы хорошо, да на беду плац-майор работы объезжал. Увидал, что меня Достоевский и Головачев держат в воде, и спрашивает:

— Что здесь такое?

* «Крышку» сделать — на арестантском жаргоне — убить.

** Здесь Рожновский, вероятно, намекал на припадки, сведшие потом Ф. М. в могилу.

Конвойные ответили.

— Не задерживать работ, пусть сам знает, бросьте веревку,— кричит он на Головачева и Достоевского. Те не слушаются. Побелел весь от злобы плац-майор, даже пена на губах выступила; зверь, а не человек был.

— В кордегардию после работ!

Сел на дрожки и уехал.

Достал я топор, вылез из воды. Жутко было оканчивать работу, а надо кончить, не то прибавят.

Вернулись мы вечером в замок.

Я думал, что и меня поведут в кордегардию,— нет, повели только Достоевского и Головачева. Не знаю, как их наказывали, только пронесся на другой день слух у нас, что Достоевский умер. Я поверил этому, зная, что он не привык к подобным пыткам, да притом и болен был еще.

Слух упорно держался, так что мы были вполне уверены в его смерти, а достоверно узнать нельзя было — никто за это время из больницы не выписался.

Прошло месяца полтора после этой экзекуции, многие уже начали забывать о Достоевском. Я только не мог никак забыть его, все он как будто стоит перед глазами.

Пришли мы однажды с работ — камень дробили. Было уже довольно поздно, так что в отделении, когда я зашел туда, был полумрак. Подхожу к нарам, смотрю, кто-то сидит. Я думал — новичок какой-нибудь, и особенного внимания не обратил, вдруг слышу знакомый голос:

— Здравствуй, Рожновский!

Приглядываюсь. Достоевский.

Не могу передать вам, как я перепугался в ту минуту. Мне показалось, что это привидение, выходец с того света. Я так и оцепенел на месте.

— Что ты так смотришь? Не узнаешь?

Руку протягивает...

— Достоевский! Разве ты жив? — мог только я проговорить: смех и слезы — все смешалось в горле, и я повис у него на шее.

Потом все объяснилось. Рядом с койкой Достоевского в госпитале лежал горячешный больной, который и умер на другой день после поступления Достоевского в госпиталь. Фельдшер по ошибке записал, что умер Достоевский. Все разъяснилось тогда, когда Достоевский выздоровел и выписался из госпиталя. После этого случая и дали у нас в „ватаге“ кличку „покойник“. По фамилии больше никогда и не называли.

— Живо помню еще один случай,— продолжал Рожновский.

У плац-майора была гувернантка, молоденькая девушка. Шла упорная молва, что он состоит с нею в любовной связи и что она, как говорится, держит его в руках. Звали ее арестанты

Неткой и боялись как огня: настоящая змея была, под стать плац-майору. Про нее рассказывали, что когда, бывало, секут в кордегардии, то она подходит к замку и слушает крик. Впрочем, я этому не верю. У Нетки были ручные голуби, которых она привезла из России, и очень за ними ухаживала. Голуби эти часто залетали к нам во двор, и многие из наших зарились на них, но надсмотрщики еще зорче следили, чтобы их не ловили. Один молодой голубь сильно привязался к Достоевскому. Тот кормил его хлебом, и он каждый день прилетал к нему за своей порцией. Сначала сторожа восставали против этого, но потом, видя, что Достоевский вреда голубю не делает, начали смотреть сквозь пальцы. Пришлось нам однажды идти обжигать алебастр, а путь лежал мимо плац-майорского дома. Работа эта тяжелая и потому нас отпустили в замок раньше обыкновенного. Поравнялись мы с плац-майорским домом, вдруг, смотрим, Нетка голубей кормит. Достоевскому пришла в голову взбалмошная мысль свистнуть на голубей. Вся стая поднялась в воздух, а голубь Достоевского, видно, узнал его, подлетел к нему близко и вьется над головой. Нетка выскочила на дорогу и прямо бросилась к Достоевскому.

— Это ты приманиваешь моих голубей, разбойник: постой, я тебе задам!

Не помню, право, что ответил ей на это Достоевский, кажется, сказал, что она хуже бессовестного животного, знаю только, что сказал сильную и внушительную фразу. Нетка так и замерла на месте.

Далеко мы отошли от плац-майорского дома, а она все стоит; потом смотрю, закрыла лицо руками и тихо пошла в дом.

Мы все ожидали, что эта вспышка дорого обойдется Достоевскому, между тем ничего, прошло благополучно. Потом недели через две узнаем, что Нетка уехала в Россию вместе со своими голубями, но что всего удивительнее, голубь Достоевского остался и по-прежнему прилетал к нему каждый день. Нарочно ли оставила его Нетка, или он сам от нее улетел — мы не могли узнать. После отъезда Нетки в замке сделалось еще хуже: плац-майор до того рассвирепел, что его не раз удерживали высшие начальствующие лица. Не проходило дня, чтобы в кордегардию не отправлялось несколько человек».

К утру Рожновскому сделалось хуже, что я мог заключить по судорожному сжатию мускулов на лице и прерывистому дыханию.

Рожновский сказал мне адреса родных, и я телеграфировал сестре его в Варшаву и еще некоторым лицам.

От утра целые сутки прошли без особенных перемен, но к вечеру следующего дня больной начал отходить. Часов около 11-ти он слабым голосом прошептал:

— Проститься с ним.

Я быстро набросил пальто и полетел к Достоевскому на квартиру. Там меня не приняли по случаю нездоровья Ф. М. (я, впрочем, предполагаю, что по случаю позднего часа).

К утру Рожновского не стало.

В 10 часов я встретил Ф. М. внизу бульвара у купален и передал ему все здесь рассказанное. Он был, видимо, поражен и взволнован.

— Отчего вы раньше меня не навестили? — спросил он.

Я сказал, что сначала Рожновский сам отказывался от свидания, а потом, когда захотел проститься, то прислуга не допустила меня к нему.

— Так, так! Пойдемте к нему, — проговорил Ф. М.

Мы пришли на квартиру к покойнику. Он уже был одет и обмыт, но лежал на кровати, вследствие малого помещения.

Ф. М. встал на колени, долго смотрел на бледное изможденное лицо страдальца и заплакал...

Я вышел из комнаты.

Уходя, Ф. М. сказал мне, что уезжает в Петербург и потому не может проводить тела при похоронах. Здесь же я спросил у него позволения напечатать слышанное от Рожновского.

— Можете, только после, когда-нибудь, — отвечал он.

Теперь, я думаю, пора пришла. Хотелось мне напечатать эти воспоминания во время поминок, бывших в этом году по Ф. М., но некоторые обстоятельства помешали мне это исполнить.

На похороны приехали какие-то дальние родственники Рожновского, которым я вместе с хозяйкой квартиры и сдал все имущество и бумаги покойного, за исключением двух объемистых рукописей, заключающих в себе записки А. Рожновского. Записки эти заключают в себе массу ценного и крайне любопытного материала и завещаны мне покойным с одним условием: я имею право издать их на русском языке после того, как они предварительно появятся на польском.

Мне тоже не удалось проводить тела покойного: спешное дело внезапно вызвало меня в Москву.

Автор этого письма, в котором есть воспоминания о Достоевском,— известная публицистка славянофильской ориентации, автор книг и статей, посвященных англо-русским отношениям, Ольга Александровна Новикова (урожд. Киреева, 1840—1925), восторженная почитательница Достоевского (см. о ней: В. Стэд. Депутат от России. Воспоминания и переписка О. А. Новиковой. Пер. с англ. Пг., 1916). Несмотря на неточности, эти воспоминания достоверно передают отношение Достоевского к своей каторге.

ДЕПУТАТ ОТ РОССИИ. ВОСПОМИНАНИЯ И ПЕРЕПИСКА. 1880—1885

Г-жа Новикова писала Стэду¹.

Москва. 14-го февраля 1881 года.

«Не могу выразить, как я огорчена смертью Карлайля² и Достоевского. Я помню, конечно, все, что Карлайль неоднократно говорил мне эту осень, как он жаждал смерти, но я эгоистка, и подумать, что я больше никогда, никогда не увижу его доброго лица, очень тяжело. Но Карлайль пережил себя, работу свою он совершил, а Достоевский... Ему было едва 50 лет.³ Нет, в настоящее время, человека в России, которого влияние было бы очевиднее и полезнее. Он был восторженным славянофилом. В 1849 году он взял на себя вину брата, отца многочисленного семейства⁴, а он сам был не женат; он был сослан в Сибирь на 4 года. Он был слабого здоровья, и тюрьма была причиной появившейся эпилепсии, но укрепила его ум и душу. Когда я ему выразила мой ужас от ненужной пытки, он отвечал: „Вы ошибаетесь, я не жалею. Это была хорошая школа. Она укрепила во мне веру и любовь к тем, кто переносит терпеливо страдания. Она также укрепила мою любовь к России и к удивительным великим качествам русского народа. Поверьте,—прибавил он,—нет настоящего прогресса и настоящей цивилизации без глубокого сочувствия к нашим братьям, без настоящего самопожертвования, часто встречаемого в наших соотечественниках. Вы можете коснуться чужой души только своей душой. Помочь вы можете только тогда, когда сами страдаете с ними, когда вы любите их, когда вера Христова проникла в каждое ваше слово, в каждый ваш шаг“. Достоевского обожала наша молодежь и те взрослые люди, в сердце которых была правда и благородство. Я потеряла в Достоевском друга, так же как брат мой, который очень огорчен его смертью».

Автор этих воспоминаний Николай Михайлович Ядринцев (1842—1894), этнограф, археолог, писатель, проведший два года в омском остроге и называвший себя «последователем Достоевского в литературе и области исследования, собратом по духу и по судьбе», опубликовал под влиянием «Записок из Мертвого дома» работу «Русская община в тюрьме и ссылке» (СПб., 1872).

ДОСТОЕВСКИЙ В СИБИРИ

«Когда вечером, по окончании послеобеденной работы, я воротился в острог, усталый и измученный, страшная тоска опять одолела меня. „Сколько тысяч еще таких дней впереди,— думал я,— все таких же, все одних и тех же!“ Молча, уже в сумерки, скитался я один за казармами, вдоль забора, и вдруг увидел нашего Шарика, бегущего прямо ко мне. Шарик был наша острожная собака, так, как бывают ротные, батарейные и эскадронные собаки. Она жила в остроге с незапамятных времен, никому не принадлежала, всех считала хозяевами и кормилась выбросками из кухни. Это была довольно большая собака, черная, с белыми пятнами, дворняжка, не очень старая, с умными глазами и с пушистым хвостом. Никто не ласкал ее, никто-то никогда не обращал на нее никакого внимания. Еще с первого же дня я погладил ее и из рук дал ей хлеба. Когда я ее гладил, она стояла смиренно, ласково смотрела на меня и в знак удовольствия тихо махала хвостом. Теперь, долго меня не видя,— меня первого, который в несколько лет вздумал ее приласкать, она бегала и отыскивала меня между всеми и, отыскав за казармами, с визгом пустилась мне навстречу. Уж и не знаю, что со мной случилось, но я бросился целовать ее, я обнял ее голову; она вскочила мне передними лапами на плечи и начала лизать мне лицо. „Так вот друг, которого мне посылает судьба!“ — подумал я, и каждый раз, когда потом в это первое, тяжелое и угрюмое время я возвращался с работы, то прежде всего, не входя еще никуда, я спешил за казармы, со скачущим передо мной и визжащим от радости Шариком, обхватывал его голову и целовал-целовал ее, и какое-то сладкое, а вместе с тем и мучительно горькое чувство щемило мне сердце. И помню, мне даже приятно было думать, как будто хвалясь перед собой своей же мукой, что вот, на всем свете только и осталось теперь для меня одно существо, меня любящее, ко мне привязанное, мой друг — моя верная собака Шарик»*.

* «Записки из Мертвого Дома». С. 132—134. (Примеч. Н. М. Ядринцева).

Ф. М. Достоевский свыкся под конец с каторгой. Он упоминает в своих записках, что последний год для него был даже легкий год, так он со всеми перезнакомился, так сжился. Во что это обошлось, это другой вопрос.

Но отдаваться самому себе целые годы, много лет было невозможно. Кругом его был мир людей, несчастный мир, и он поневоле перенес свой взор на него.

Подготовленный уже ранее своим развитием и воспитанием понимать человеческое горе, воспринявший гуманные традиции, зародившиеся в русской литературе сороковых годов, он явился представителем русской литературы и русской интеллигенции в самые низшие слои общества, попранные и раздавленные жизнью. Он осветил эти пропасти светом своего таланта, внес миртовую ветвь мира, теплоту души своей и стал посредником более счастливой части общества с миром несчастных. Для человека мыслящего тюрьма, каторга должна была показаться дантовым адом страдающих душ. Достоевский начал прислушиваться к несущимся здесь исповедам несчастья и не один свирепый крик злодейства услышал здесь, но тихий стон измученной души.

В темноте ночей, на нарах у людей, у которых не дрогнул голос пред сильнейшими физическими страданиями, он подслушивает вздох, среди напускного цинического веселья он подмечает горе — почти отчаяние.

Впечатление, полученное в тюрьме и на каторге, до того было сильно, что Достоевский никогда не забывал этого мира несчастных и всегда обращался к нему в романах, повестях и Дневнике писателя, и это были лучшие, наиболее прочувствованные страницы.

Целый мир открывается здесь для чуткого сердца, личное горе было забыто, оно было бы слишком мелко и эгоистично и тонуло в море общечеловеческого несчастья. Здесь явилась и пробудилась у него мысль явиться изобразителем этой ужасной действительности, быть единственным ходатаем-заступником среды, к которой доселе существовало только чувство презрения и отталкивающего ужаса, которая лишена была сострадания и с которой проповедывалось самое жестокое зверское обхождение.

Чтобы изменить старые укоренившиеся воззрения, перевернуть чувства, победить ужас в обществе и вселить любовь и мир, вместо прежней ненависти, нужно было много таланта, много силы. И это достигнуто, благодаря одной беспристрастной картине, благодаря типам и образам, которые запечатлелись в душе художника в сибирской каторге.

Все знают, что издание записок из «Мертвого Дома» совпало с переломом в русской жизни, расширило мирозерцание общества и провело новую идею в художественных образах. Это идея спасения погибающих, идея сострадания,

любви, идея умиротворения, которая должна была войти в кровь и дух создающейся жизни.

Он помнил всегда своих героев. Когда в 1876 г. я имел случай познакомиться с Федором Михайловичем Достоевским в Петербурге и сообщил, что я видел прежнюю его тюрьму, он, внезапно погруженный в воспоминания, спросил:

— Ну а где же теперь они-то, что сидели там? (он разумел каторжных).

Что мне было сказать. Прошло 20 лет. Где эти люди: понятно. Они погибли под плетями и шпицрутенами, пропали в бегах, умерли в тюрьмах. Это был жребий прежних каторжных.

— Да, ведь их не может существовать уже,— спохватился Федор Михайлович. Но я понял, что он внутренне был связан с их жизнью и судьбою.

Когда в 1861 г., в лучшую эпоху оживления русского общества, Ф. М. Достоевский прочел отрывок из записок «Мертвого Дома», с ним сделалось дурно, так были живы впечатления. Да, кто раз побывал в этом мире, в этих преисподних, кто видел здесь страшные отверженные лица, тот никогда не забудет их.

Много лет спустя, среди освещенных зал, в другой, счастливой, блестящей обстановке, когда будет, по-видимому, все забыто, внезапно и неожиданно выступают и встанут они, зачумленные, отверженные призраки, изможденные голодом, избитые плетями; они выступают пред вами с своих печальных колесниц, с прокрустова ложа темниц.

Это испытывали все мы, спускавшиеся в мир тюрем для изучения несчастья. Пред нами часто выходят эти грустные тени, и вызывать их мы обязаны. В ночные часы, с нервной дрожью, в бреду мы вызываем их, чтобы представить резче бездну человеческого несчастья, чтобы сказать: взгляните на этих несчастных, страданье не отжило свой век на свете, последнее слово милосердия не сказано!

То, что доставляет читателю живые и сильные впечатления, что волнует его иногда, то для наблюдателя стоит массы потрясающих ощущений, а для писателя-художника, продумавшего и пережившего в душе своей эти драмы — траты лучших духовных сил и крови. Жизнь Достоевского, как художника несчастья, была часто переживанием этих драм. Болезненная, исстрадавшаяся личным горем натура продолжает жить чужим горем — этот процесс отразился в последующем творчестве.

Люди, воспитавшие в себе чувство жалости и сострадания к самым последним отверженным существам, проходят школу высшего гуманизма. Чувства эти окрашивают весь фон их жизни и переносятся на все слои общества. Недаром переносившие сами несчастье и тюрьму были лучшими друзьями бедного народа и заключенных.

Достоевский питал нежное чувство жалости к крестьянству, он уважал в нем благородную душу, видел в нем залого будущего богатого развития. Задавленные, обиженные, угнетенные вызывают его симпатию, и вот эти-то чувства и приковывают к нему более всего почитателей. Когда он явился впоследствии холодным теоретиком и мистиком, проповедником самобичевания и иногда криминалистом, он все-таки не мог переубедить в том, что вкоренилось в сознание его читателей под влиянием первых его правдивых описаний и первых столкновений с народом. Среди несвойственных ему холодных рассуждений сквозит человек, вынесший страдание, прежний Достоевский.

Трудно поверить, что из Пандемониума, из мира отверженной каторги, можно вынести веру в человеческую личность, в ее широкое нравственное значение. А между тем в этих слоях, среди отверженных людей, также цельно сохраняется человеческая душа с ее лучшими качествами, мало того, здесь встречались иногда самые сильные и нередко самые даровитые натуры. Недаром Ф. М. Достоевский воскликнул в конце своих наблюдений: «Сколько в этих стенах погребено молодости! Сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ, необыкновенный был народ. Ведь это, быть может, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего». И, действительно, кто опускался хоть раз в глубь народной жизни, кто сталкивался с непочатою массою народа, где бы то ни было, тот не может не припомнить слов профессора Бергера*: «Какая бездна жизненной силы заключается в низших слоях общества, и как в этих слоях без всякого возделыванья и ухода возникают благороднейшие цветы человеческой души — доброта и любовь, а гений, ум и острота пробиваются к свету, несмотря на все препятствия!»

Кто бы мог подумать, повторяю, что из этого тяжелого знакомства можно вынести веру в человеческую совесть и в будущее человеческое развитие. Но тут нет секрета: великая идея гуманизма порождает другую. При глубоком наблюдении правда жизни все ярче открывается. В этих же жестоких тюрьмах и страшных арестантских ротах приобретает убеждение, что главною силою в исправлении, в возрождении человека, служит не грубое насилие, против которого только протестует человек, не жестокосердие и страх, который не на всех действует, но более могучее орудие, к которому отзывчивее всего человеческая натура. Это человеколюбие, любовь и милосердие!

Этим девизом проникнуто самое великое и лучшее произведение Достоевского.

Произнося в числе первых это слово, выйдя с сибирской каторги, Достоевский, проживя несколько лет еще, видел и мог

* «Загадочные натуры», Шпильгагена. С. 329. (Примеч. Н. М. Ядринцева).

убедиться, как плодотворная идея прививалась и впиталась в сознание русского общества. Он, как Симеон-богоприимец, умирает, когда эта идея показала свою живучесть.

Он умирает в ту минуту, когда кругом в русском обществе, после годов озлобления, вражды, гонений, вдруг зазвучал иной голос — примирения и человеколюбия *.

* Время Лорис-Меликова. В эту зиму готовилось чтение о Достоевском. (Примеч. Н. М. Ядринцева).

ССЫЛКА ПЕРВЫЙ БРАК

Н. Ф. КАЦ

Воспоминания бывшего рядового 7-го Сибирского линейного батальона, сослуживца Достоевского по роте. Н. Ф. Кац всю жизнь прожил в Семипалатинске, стал впоследствии первым городским портным и до последних своих дней с нежностью вспоминал о Достоевском — своем защитнике и покровителе (см. о нем: П. Косенко. Сердце остается одно. Достоевский в Казахстане. Алма-Ата, 1969).

[ВОСПОМИНАНИЯ]

Газеты переполнены воспоминаниями о Ф. М. Достоевском по случаю исполнившегося 50-летия выхода в свет его «Бедных людей». Пользуясь этим случаем, позволяю себе внести маленькую лепту в эти воспоминания из мрачных лет жизни знаменитого писателя.

Как известно, покойный писатель, по отбытии срока наказания, был назначен на службу в 7-й Сибирский линейный батальон, квартировавший тогда в г. Семипалатинске. Из числа батальона в настоящее время здравствует проживающий в Семипалатинске г. К.¹, бывший когда-то барабанщиком в названном батальоне, причем судьба привела его служить в одной роте и спать на нарах рядом с знаменитым писателем.

В настоящее время К. — человек еще не старый, очень словоохотлив на свои воспоминания, касающиеся совместной службы с Ф. М., который, по его словам, был человек душевный, отзывчивый на все доброе, человек, к которому тянуло каждого солдата какая-то непреодолимая сила, несмотря на его мрачный характер. Службой Ф. М. «не неволили»; служба вообще тогда была легкая в батальоне; муштровки особенной не было, а на караульную службу в гарнизоне Ф. М. посылался редко. Благодаря этому Ф. М. был представлен большей частью себе: он почти всегда читал и писал, в особенности по ночам. Впрочем, в казарме Ф. М. пришлось жить недолго: ему было разрешено нанять квартиру. На вопрос о том, создавало ли хотя офицерство батальона, что среди них служит гениальный писатель, — образовательный ценз офицеров тогда стоял на слишком низком уровне, большинство знало только подписываться с трудом. При этом рассказчик привел случай,

не лишенный комизма. Прапорщик З. был счастлив и доволен, умея смело, храбро, без запинки писать «прапорщик», но производство в подпоручики принесло ему истинное несчастье: научиться писать слово «подпоручик» было дело нелегкое, требовавшее немало времени и терпения.

Домик, в котором жил Достоевский на квартире, в настоящее время рука всесокращающего времени стерла с лица земли... Нужно бы постараться собрать у старожилов-семипалатинцев воспоминания о знаменитом писателе. Да, надо и надо с этим поспешить, ибо та же рука времени не щадит никого.

Воспоминания, собранные Н. Яковлевым, дополняют книгу семипалатинского друга писателя, барона А. Е. Врангеля «Воспоминания о Достоевском в Сибири 1854—56 гг.>//Две любви Ф. М. Достоевского (СПб., 1992). В свете их становятся понятными слова Достоевского из письма к брату из Семипалатинска о своей солдатской службе: «Я не ропщу; это мой крест, и я его заслужил».

ЗАМЕТКА О ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

В 1854 г. Достоевский, по отбытии каторжных работ, был определен рядовым в 7-й западносибирский линейный батальон, расположенный в г. Семипалатинске, где Достоевский и пробыл до 1859 г., когда ему было разрешено вернуться в Россию. В настоящее время Семипалатинск небольшой областной город, с очень слабыми признаками культурной жизни, сорок же с лишком лет назад это было захолустье, затерянное в глухой киргизской степи, недалеко от китайской границы. Из современников Достоевского, знавших его в Семипалатинске, осталось в живых очень немного; с их разрешения я и печатаю настоящую заметку, составленную на основании полученных от них сведений.

По определении в батальон Достоевский жил первое время в казарме, вместе с солдатами. По словам Н. Ф. Каца, отбывавшего службу в одной роте с Достоевским, последний держал себя очень осторожно и к службе относился с педантической аккуратностью, стараясь, по-видимому, больше всего избегать всяких неприятностей. Ни о деле, за которое попал в Сибирь, ни о своей жизни вообще Достоевский никому в казарме не рассказывал; к сослуживцам относился мягко и был всегда готов, чем возможно, помочь. Приблизительно через год Достоевского произвели в унтер-офицеры и отношение к нему военного начальства значительно изменилось: ему было разрешено жить на частной квартире, и он был почти освобожден от всякой службы. Когда он нужен был зачем-либо в казармы, за ним посылался вестовой. Посыльным Достоевский всегда давал деньги, так что солдаты очень любили за ним ходить.

Когда Достоевскому было разрешено оставить казармы, в точности я не мог узнать. Первой квартирой его был дом Пальшиных (теперь уже не существует), у которых он снимал две небольшие комнаты с обедом и пр. Дальнейшее изложение основано на рассказе П. Л. Пальшина, которому тогда было 14—15 лет. К своим хозяевам Достоевский относился просто, без всяких претензий, и иногда любил с ними поговорить.

На службу ходил редко, много очень работал: читал и писал. На квартире у Достоевского мало кто бывал; сам же он чаще всего ходил к казачьему офицеру Каментовскому¹, батальонному командиру Белихову², горному ревизору Ковригину³ и смотрителю провиантского магазина Ордынскому⁴ (никого из них в живых нет). Особенно тесные отношения были у него с последним: на квартире у Ордынского Достоевский иногда проводил целые дни за своей работой. О жизни Достоевского от Пальшиных полиция никаких сведений не отбирала. Припадки падучей болезни бывали у Достоевского часто, особенно по ночам, но продолжались недолго. К рассказчику, П. Л. Пальшину (сын хозяина дома), которому, как я сказал выше, было тогда 14—15 лет, Достоевский относился очень сердечно. Заметив, что мальчик недурно рисует, он предлагал устроить его, при помощи брата, в Петербург, но отец П. Л. Пальшина не согласился на это. В деньгах Достоевский не нуждался: получал ежемесячно по 50 р. от брата.

У себя на квартире Достоевский не держался так сдержанно, как в казарме, и охотно рассказывал о своей прежней жизни. Особенно врезался П. Л. Пальшину рассказ Достоевского о том, как его с товарищами везли на казнь. Это был ужасный рассказ и, оканчивая его, Достоевский добавил, что он никому не поверит, будто можно идти на казнь с более или менее спокойным духом: сам он в те страшные часы ничего как следует не сознавал и очнулся лишь, когда им объявили помилование. По словам П. Л. Пальшина, Достоевский показал ему однажды хранившийся у него в сундуке белый саван, в котором он стоял на эшафоте... На свою тяжелую судьбу Достоевский никогда не жаловался и часто говорил, что Сибири ему все равно бы рано или поздно не миновать... С гораздо большей горечью и даже гневом рассказывал Достоевский, как он, будучи уже солдатом, получил удар по голове («подзатыльник»...) от фельдфебеля за то, что не тотчас исполнил какое-то его приказание. Говоря про этот случай, Достоевский всегда ужасно волновался...

Живя в Семипалатинске, Достоевский женился на вдове таможенного чиновника Исаевой*. Занимали они небольшую квартиру в доме почтальона Липухина. Дом этот существует и теперь. Сам Липухин давно умер, вдова же его, теперь очень пожилая женщина, на мою просьбу рассказать, что помнит о жизни у них Достоевского, вся встрепенулась и, называя его по имени и отчеству, с видимым удовольствием стала говорить, кто из Достоевских занимал какую комнату, какая у них обстановка и проч. Вообще, меня поразила та особенная мягкость, с которой мне все рассказывали о Достоевском. Так можно

* Свадьба была, кажется, в Усть-Каменогорске или Кузнецке, куда Достоевский ездил в отпуск⁵.

вспоминать только об очень хорошем человеке... Жили Достоевские очень скромно; сам он много работал и все больше по ночам.

В общем приведенным рассказам не противоречат и сведения, полученные мною от отставного подполковника А. И. Бахирева, бывшего командиром той роты, где служил Достоевский. По словам г. Бахирева, батальонный командир Белихов был гуманный человек, хорошо относившийся к Достоевскому, который часто у него бывал. Белихов, Достоевский, Ковригин, Ордынский (о них см. выше) — это была одна компания, как выразился г. Бахирев.

Вот и все сведения, которые мне удалось собрать о Достоевском в Семипалатинске. На вопрос мой, отличался ли Достоевский особенной религиозностью, не говорил ли о Евангелии и проч., — решительно все отвечали отрицательно⁶. Чтобы судить, сколько мелких, но жестоких уколов приходилось испытывать самолюбию Достоевского, расскажу переданный мне анекдот. Достоевский был у кого-то на «вечере» и вышел зачем-то в прихожую, где в ту минуту раздевался только что пришедший офицер. Бравый воин, увидя солдата, тотчас же подставил ему свою спину. Достоевский, не говоря ни слова, снял с него шинель, а потом с тем же офицером вошел в гостиную⁷.

В Семипалатинске же живет теперь отставной чиновник Н. Е. Гладышев, служивший в 50-х годах фельдшером в Омском военном госпитале, который Достоевский описал в «Записках из Мертвого дома». Достоевский часто бывал, как и другие политические каторжные, в этом госпитале, не столько по болезни (после припадков), как затем, чтобы отдохнуть от порядков каторжной жизни. По словам Гладышева, Достоевский всегда оказывал ему большую помощь, ухаживая за приводимыми в госпиталь после экзекуций солдатами и арестантами. Он обмывал и перевязывал им раны и проч. Никто в госпитале не относился так мягко и нежно к наказанным, как Достоевский.

После четырех лет каторги каждая новая встреча с женщиной производила на Достоевского неизгладимое впечатление. Именно такой оказалась встреча в 1854 г. на семипалатинском базаре с семнадцатилетней Лизой Неворотовой, торговавшей калачами с лотка. Красивая девушка, у которой была нелегкая трудовая жизнь (она поддерживала всю свою семью), любила солдата Достоевского за его теплое к ней отношение, заботу и внимание. Достоевский писал ей нежные письма, называл ее «Лизанькой». Елизавета Михайловна Неворотова хранила их до самой смерти и никому не хотела показывать. Многие годы спустя ее племянница Н. Г. Никитина показала эти письма сибирскому журналисту и поэту Николаю Васильевичу Феоктистову (см. его сб. «Стихи». Омск, 1913). К сожалению, эти письма Достоевского бесследно исчезли, но не явилась ли эта Елизавета Михайловна первым толчком к созданию писателем образов смиренных и кротких женщин, без ропота несущих свой крест (как в себе, так и в других Достоевский уже научился ценить это), и прежде всего сестры старухи-процентщицы в «Преступлении и наказании» Лизаветы: совпадение имен не случайное. (Сомнения в недостаточной достоверности статьи Н. В. Феоктистова, высказанные В. Вайнерманом в его книге «Достоевский и Омск». Омск, 1991, совсем не учитывают ее психологическую правдивость).

ПРОПАВШИЕ ПИСЬМА ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО

Теперь, когда я сделал все возможное для того, чтобы разыскать эти письма, когда все мои старания и попытки восстановить так нелепо утраченные неизвестные строки, написанные Ф. М. Достоевским в Семипалатинске, в тяжелые годы его ссылки, окончились неудачей,— мне ничего не остается больше, как рассказать хотя бы то, что я о них знаю.

Лет двадцать тому назад, в Семипалатинске, мне приходилось часто бывать в семье А. М. Никитиной, с сыном которой, Николаем, я дружил. Среди многочисленной родни Никитиной обращала на себя внимание почтенная дородная старуха—сестра хозяйки—Елизавета Михайловна Неворотова, добродушная, молчаливая и, кажется, набожная старая дева. Большую часть дня она обычно проводила в «светелке», как она называла свою комнату, появляясь за общим столом только к завтраку и обеду. Помню ее с неизменной колодой карт в руках, за бесконечным пасьянсом или за чтением старых романов.

Несмотря на довольно преклонный возраст (в 1909 году ей было не менее 70—72 лет), Елизавета Михайловна выглядела

еще довольно бодрой. На пожелтевшем, сравнительно гладком лице, как-то осторожно прорезанном морщинами старости, живо выделялись большие карие глаза, не совсем еще утратившие блеск далекой молодости. На щеке сидела небольшая темная родинка, которая в молодости ее обладательницы могла отлично сойти за удачно поставленную «интересную» мушку. Все в ее внешности говорило за то, что в далеком прошлом Елизавета Михайловна была красивой, видной женщиной. Внешняя бодрость не мешала ей жаловаться на всевозможные болезни, но в действительности она страдала от застарелого, еще в детстве полученного ревматизма.

Елизавета Михайловна и ее сестра были большими картежницами. У них не было других развлечений, кроме преферанса. Каждый день после вечернего чая в небольшой гостиной раскладывался ломберный столик, и обе сестры, в сопровождении обязательно являвшихся партнерш, усаживались за бесконечную пульку.

В один из таких вечеров, когда к старухам почему-то не пришли обычные партнерши, а мы с Николаем не успели удрать, не предусмотрев этого обстоятельства, я и Николай сделали жертвами неумеренной старушечьей страсти к преферансу. Впоследствии я не жалел, впрочем, об этом «пропавшем» вечере, потому что во время бесконечных распасовок я впервые узнал о том, что Елизавета Михайловна Неворова хорошо знала Ф. М. Достоевского и некоторое время переписывалась с ним.

Николай, пикируясь с тетушкой, допустил какую-то бестактность, и разобиженная старуха бросила карты, жалуясь на неучтивость и грубость «нынешней» молодежи, сопоставила, пользуясь случаем, «век нынешний и век минувший» и, глубоко вздохнув, сказала:

— Всем вам вежливости-то надо бы у Федор Михайловича учиться. Какой это был скромный и деликатный человек!..

— Так ведь он вашим женихом был, а я — только племянник, — защищался Николай.

— Не ври! Женихом моим он не был, а только... любил он меня... ухаживал за мной...

— Знаем, знаем, тетушка. Недаром он вам целую кипу писем написал.

— А ты помалкивай! Какое тебе дело до писем?!

Старуха окончательно рассердилась, встала из-за стола и, тяжело передвигая больные опухшие ноги, ушла в свою комнату, не простившись с нами.

— Вот всегда так, — сказала Анастасия Михайловна, с грустью поглядывая на неоконченную пульку. — Зачем ты расстраиваешь тетку? Ведь знаешь, что это ее больное место.

Я был молчаливым свидетелем этой маленькой семейной сцены. Понятно, что мне захотелось подробнее узнать историю

знакомства Елизаветы Михайловны с Достоевским, и, как только ушла мать Николая, я попросил его подробнее рассказать все, что он знает об этом.

Но узнал от него я очень немного.

Елизавета Михайловна рано осталась круглою сиротой. Будучи старшей в семье, она вынуждена была заботиться о воспитании своих многочисленных братьев и сестер. Вся ее молодость прошла в этих заботах. С Достоевским она встрети-лась на базаре, где она с лотка продавала хлеб. В молодости Елизавета Михайловна, говорят, была очень красива; неуди-вительно, что Достоевский заметил ее и подошел к ней ближе, чем он обычно подходил к людям.

Я не мог удовлетвориться этими крайне скудными сведе-ниями и сказал Николаю, что попытаюсь как-нибудь подойти к старухе и добиться от нее более полного рассказа о встрече ее с Достоевским, а, может быть, и разрешения прочесть его письма.

— Могу вперед сказать, что это тебе не удастся. Тетка ревниво бережет письма и никому их не показывает.

— Но я все-таки попытаюсь.

— Попытайся, только ничего не выйдет — зря время поте-рьешь.

Мы пошли в комнату Николая. Проходя через столовую, я заметил свет в комнате Елизаветы Михайловны. Старуха не спала, она сидела за столом, перебирая какие-то бумаги. Возможно, что это были письма. Мне показалось, что она плачет. . .

Не теряя времени, я принялся за выполнение моего плана. Я делал невероятные усилия заслужить расположение и дове-рие Елизаветы Михайловны: я сознательно погубил много пре-красных летних вечеров за постылым преферансом. Не про-пускал ни одного дня, чтобы не побеседовать с доброй, но не особенно разговорчивой старухой. О чем только мы с ней не беседовали! Но прошло, однако, не менее двух месяцев, прежде чем я решился заговорить с нею на интересующую меня тему. Возможно, что я еще продлил бы подготовительную работу, но у меня не было времени для этого: я надолго уезжал в Петербург и до отъезда мне хотелось во что бы то ни стало если не получить эти письма, то хотя бы познакомиться с их содержанием и узнать, какое место занимала Елизавета Михай-ловна в жизни Достоевского в годы его семипалатинской ссылки?

Для решительного разговора с Елизаветой Михайловной я выбрал праздничный день. Мне почему-то казалось, что старые люди бывают добрее и откровеннее в праздники.

Старуха только что пришла от обедни. На мое счастье, у нее, действительно, в этот день было особенно хорошее на-строение. После завтрака я сказал ей, что скоро уезжаю и

перед отъездом мне бы хотелось поговорить с нею по одному важному делу. Старуха насторожилась. Она больше всего на свете боялась, что у нее будут просить денег. Для этой боязни у нее было оснований более чем достаточно. Давно когда-то она дала займы одной своей приятельнице довольно крупную, по ее средствам, сумму и до самой смерти не могла дожждаться возвращения долга. Зная это, я успокоил ее, и она приветливо пригласила меня в свою «светелку». Тут уже я пренебрег всякой осторожностью — прямо и просто сказал Елизавете Михайловне, что хочу поговорить с нею о Достоевском, с которым, я знаю, она была хорошо знакома и некоторое время переписывалась. Я не скрыл, что меня особенно интересуют письма Федора Михайловича.

— Знаю, знаю, что тебе письма нужны, Коленька. Знаю, что если отдам — ты их в журнале напечатаешь. Так ведь?

— Если вы разрешите, напечатаю.

— Так вот, Коленька, пока я жива — этому не бывать. Не хочу я, чтобы все знали, что писал мне Федор Михайлыч. Когда умру — другое дело, пусть все читают. А письма эти я тебе оставляю. Так и в завещании напишу, я уже говорила об этом Настеньке (Настенька — сестра Елизаветы Михайловны — Анастасия Михайловна Никитина, у нее в доме жила Неворова), — письма твоими будут. А пока я жива, и тебе читать их не дам.

Это было сказано тоном, исключавшим всякую возможность каких-либо дальнейших уговоров и просьб, но я все-таки решил попросить Елизавету Михайловну показать мне хотя бы одно письмо. Я уверил ее, что никогда не видал рукописей Достоевского.

— Почерк Федора Михайловича посмотреть хочешь? Почерк покажу, только читать не дам. Потом прочтешь, когда меня не будет.

Елизавета Михайловна открыла небольшой кованный ларец, в котором, очевидно, хранились все ее драгоценности. Письма лежали сверху — довольно объемистая серая стопка исписанной бумаги, перевязанная отцветшей от времени голубой ленточкой. Да и самые письма были основательно потерты: по-видимому, обладательница их частенько перечитывала пожелтевшие от времени строки.

— Вот, посмотри почерк Федор Михалыча. Не очень разборчиво он писал, разбирать мне его трудно было спервоначалу, пока не привыкла, а теперь уж я их почти наизусть знаю.

Она передала мне всю пачку. На первом, сверху лежащем письме я успел прочесть: *«Милая Лизанька. Вчера я хотел увидеть Вас...»*. В одном из углов стояла дата — 1854 г. Числа и месяца я не запомнил.

Очевидно, заметив мой нескромно опущенный взгляд, Елизавета Михайловна быстро выхватила у меня из рук письма.

— Довольно! Почерк посмотрел, а читать нельзя...

Я убедился в одном: да, это были письма Ф. М. Достоевского. До этого я тщательно изучал имевшуюся в Семипалатинском областном музее небольшую рукопись Достоевского и теперь, сравнив с нею письма, убедился в их подлинности. Количество писем в пачке определить было трудно, но, судя по объему, в ней было не меньше 40—45 листов разного формата.

Поблагодарив Елизавету Михайловну за показанные письма, а, главным образом, за обещание передать их мне, я задал ей еще несколько вопросов, на которые она довольно охотно ответила.

Первое знакомство ее с Федором Михайловичем произошло, действительно, на семипалатинском базаре в 1854 году, когда Достоевский был еще солдатом, а Елизавета Михайловна продавала хлеб с лотка. Потом Федор Михайлович стал ее постоянным покупателем. Так произошло их знакомство, перешедшее скоро в тесную дружбу, скрепленную чувством, быть может, еще более сильной сердечной привязанности.

Елизавета Михайловна говорила мне, что Достоевский любил ее. Судя по тому количеству писем, которое он написал ей — красивой, но малограмотной девушке, живя в одном городе с нею; судя по той нежности, с какою он обращался к ней в своих письмах, — этому можно поверить.

Знакомство Достоевского с Неворотовой произошло незадолго до встречи Федора Михайловича с Марией Дмитриевной Исаевой, ставшей его женой только в 1857 году. Не следует забывать, что в эти годы Достоевский был исключительно беден и трагически одинок, и нет ничего удивительного, что его потянуло к этой, полюбившей и, быть может, приласкавшей его красивой девушке. Что же касается Неворотовой, то *она, несомненно, глубоко любила Достоевского*. Он навсегда вошел в ее жизнь. Верная своему чувству, потеряв Достоевского, она, несмотря на целый ряд претендентов, осталась старой девой.

Встретившись в 1855 году (или в конце 1854 года) с М. Д. Исаевой, женщиной культурной и высоко одаренной, Достоевский забыл красивую простушку Лизу. Неворотова, конечно, не могла тягаться с Исаевой. Бедная «Лизанька» только пересекла жизненный путь Достоевского, но она была слишком проста, слишком примитивна для того, чтобы долго идти рядом с ним одною дорогой. Но как бы то ни было, Федор Михайлович подарил ей несколько часов своей жизни — об этом красноречиво говорит объемистая пачка его писем, которые так бережно, с такой любовью и светлой памятью о нем хранила эта женщина до самой смерти.

На другой день я зашел к Никитиным проститься. Прощаясь со мной, Елизавета Михайловна обратилась к сестре:

— Смотри, Настенька, когда я умру, обязательно передай ему письма Федора Михайловича.

Это была наша последняя встреча. Я уехал.

Прошло около десяти лет. Шел бурный восемнадцатый год. По обстоятельствам, от меня независимым, осень этого года я увидел в Семипалатинской области. В городе я пробыл не больше пяти часов и, хотя обстановка совсем не располагала к литературным занятиям и изысканиям, тем не менее я, помня о письмах Федора Михайловича, пренебрегая некоторым риском попасть в лапы казакам-анненковцам, решил навестить моих старых приятельниц.

Дом, в котором они жили, оказался занятым каким-то штабом, а хозяева были выселены в нижний, полуподвальный этаж. Там я нашел только одну Анастасию Михайловну. Она рассказала мне, что Елизавета Михайловна умерла месяца три тому назад. Я справился о судьбе завещанных мне ею писем. Анастасия Михайловна успокоила меня: письма лежат в том же ларце, но ларец этот, вместе с другими вещами покойной, при переезде был перенесен в кладовую, которая теперь оказалась опечатанной по распоряжению поселившегося сверху военного штаба.

— Ты бы похлопотал, Коленька, нельзя ли вещи-то эти вызволить? — попросила Анастасия Михайловна.

Наивная старушка не представляла себе всю, мягко выражаясь, неустойчивость моего тогдашнего положения. Но посвящать ее в это не входило в мои расчеты, и, пообещав «все устроить», я поспешил покинуть стены этого гостеприимного когда-то, но теперь крайне неприятного и опасного для меня дома.

Прошел еще год. Над семипалатинскими песками вновь развевалось красное знамя. С белыми покончено. Радостно иду по давно знакомым улицам, теперь покрытым снегом. Спешу навестить Анастасию Михайловну.

Увы! За этот год ее также не стало. Меня встретил старший сын Никитиной — Константин. Справляюсь о судьбе ларца с письмами. Оказывается, две недели тому назад кладовые были вскрыты, и все хранившееся в них имущество Неворовой и Никитиной было вывезено.

— Куда?

— В кладовые Губтрамонта...

Дальше месяцы самых упорных, горячих поисков и... горькое разочарование: письма Федора Михайловича Достоевского,

те самые письма, которые я когда-то — десять лет тому назад — держал в руках, — навсегда и бесследно погибли в дебрях этого славного учреждения.

Прошло еще 8 лет. Я не прекращал поисков. Летом прошлого года я опять был в Семипалатинске и, как это ни смешно, пытался найти хотя бы след этих писем.

Конечно, смешно! За эти годы превратились в дым целые архивы, целые библиотеки. Очевидно, и письма Достоевского не избежали общей участи, искуренные кучерами Губтрамота.

Письма погибли. Это несомненно, но след их мне все-таки удалось разыскать. В конце прошлого года я получил письмо от племянницы покойной Неворотовой — Н. Г. Никитиной. Она была особенно дружна с покойной тетушкой. Только ей разрешила Елизавета Михайловна однажды прочесть хранившиеся у нее письма.

Узнав о моих хлопотах и поисках, вот что написала мне Нина Готфридовна: «К сожалению, много сказать об этом теперь не могу, т. к. письма были реквизированы и с др. вещами отправлены в Комхоз, где они, очевидно, выброшены. Этих писем, пожелтевших от времени, с обмызганными углами от частого перелистывания (ибо тетушка гордилась ими, как особо выраженному вниманию к ее особе, тогда молодой, веселой, ловкой и на слово и вообще интересной), было более двух десятков. Письма были длинные, написанные одинаковым, но нервным почерком Достоевского. Были в них пояснения и ответы на письма Елизаветы Михайловны Неворотовой, которая, как сирота, одинокая девственница, воспитывавшая большую семью сестер и братьев, считала этот крест непосильным, но, заглушая в себе свои интересы к жизни и возможному счастью, она считала жертву необходимой. Мыслила о ней, как о долге, черпая в этом силы для дальнейшей борьбы, она находила в этом свое назначение и цель жизни. Естественно, что Достоевский, человек в высшей степени чуткий, психолог, писатель и художник, сам носивший в душе неизгладимое, переживаемое горе и печать неизжитого страдания, не остался глух к письмам тетушки. Пожалуй, он подкреплял ее в борьбе и неясности жизни и утешал ее тем, что задача ее велика, назначение свято, что она, как скульптор, может из того детского материала, который в ее распоряжении, вылепить хорошие изваяния, придав чертам будущего желательное направление честного человека и хорошего борца. Здесь Достоевский даже увлекался, идеализируя возможность и рисуя бедной тетушке хороший сбор плодов. Действительность показала, что человек предполагает, а жизнь распределяет, а, быть может, тетушка не совсем оказалась ваятельницей подходящей. Достоевский,

разумеется, в тех двух десятках писем, которые хранились у тетки, писал не одни наставления, не одни советы... Идя ей навстречу в ее желании иметь письменное общение с культурным человеком, он иногда писал ей комплименты и на ее часто полудетский лепет малограмотной женщины подробно, тоном старшего, отвечал страницами письма. Скорее он писал для себя, забывая своего адресата, писал то, что накопилось невысказанным за долгие тяжелые и одинокие дни. Та искренность и теплое чувство, которым были пропитаны послания Достоевского, говорят уже о том, что он сам был рад возможности взяться за перо и писать человеку, бесхитростно ориентирующемуся в своих переживаниях».

Вот что писала мне Нина Готфридовна Никитина. К сожалению, здесь больше ее личных сентенций и ламентаций, чем фактического материала. Можно допустить, что при жизни Неворотовой эти письма читались еще кем-либо из ее немногочисленных друзей, но это было уже так давно! Возможно, что все они уже умерли, а если кто-либо и остался в живых, то едва ли в состоянии будет вспомнить и воспроизвести более детально содержание писем. Во всяком случае, если есть еще живые современники Елизаветы Михайловны, знавшие ее, было бы крайне желательно получить от них хотя бы то, что сохранила их память. Но, по правде сказать, у меня мало надежд на это. Очень уж необщительна была покойная, слишком ревниво она берегла тайну своей молодости.

О существовании писем знали очень немногие. Поскольку мне известно, о них не упоминает ни один из биографов Достоевского. О них не знал даже семипалатинский старожил Б. Г. Герасимов¹, давший так много интересных справок о жизни Достоевского в Семипалатинске. Знали о письмах только ближайшие родственники Неворотовой, но почти всем им были чужды литературные интересы, и никто из них не соприкасался с литературной средой. Я говорил уже, что даже мне — постоянному посетителю Никитиных — только благодаря случайности удалось узнать о существовании писем Федора Михайловича в этом тихом купеческом доме.

Мне известна только одна попытка извлечь эти письма еще при жизни Елизаветы Михайловны. Попытку эту сделал зять А. М. Никитиной — Лутохин. Он предложил за них тетушке пятьсот рублей, но, несмотря на столь заманчивый куш, старуха, вообще любившая деньги, сказала, что она ни за что не отдаст своих писем. Об этом мне говорила сама Неворотова, а впоследствии это подтвердила ее сестра Ан[астасия] М[ихайлов]на.

Еще задолго до встречи с Неворотовой в мои гимназические годы я познакомился с двумя другими современниками Достоевского, знавшими его по Семипалатинску. Это были старый семипалатинский портной Кац, из кантонистов, он жил в одной

казарме с Достоевским, когда последний был еще солдатом, и А. И. Згерская-Каша. Раза два мне доводилось слышать их воспоминания о Достоевском, причем воспоминания эти были далеко неравноценны.

Згерская познакомилась с Ф. М. уже после его производства в офицеры. Я слышал, как она рассказывала жившим у нее девочкам-гимназисткам (у нее было что-то вроде пансиона) о том, как она танцевала с Достоевским, каким он был учтивым и любезным «кавалером». Сколько я ни прислушивался к ее повествованиям, ничего путного из них не узнал о великом писателе. По ее рассказам выходило, что Достоевский был виртуозный плясун и сладчайший «дамский угодник». Мне говорили, что она оставила воспоминания о Достоевском, я их не читал, но, вспоминая накрашенную, напудренную и нарумяненную семидесятилетнюю белокурую (она носила парик) старуху, какой я ее тогда знал, мне что-то не верится, что она могла написать что-нибудь дельное о Достоевском как о писателе и человеке. Возможно, конечно, что я и ошибаюсь.

Другое дело Кац. Его воспоминания чрезвычайно ценны и интересны. Помню один разговор Каца с моим покойным отцом. Отвечая на какой-то вопрос моего отца о совместной жизни Каца и Достоевского в казармах, он сказал:

— Да, трудненько жилось тогда Федору Михайловичу. Тянуться ему перед каждым унтером приходилось. Уж на что аккуратный был, а без затрещин не обошлась ему служба.

— Неужели его били? — спросил отец.

— Да. Два случая я сам видел... При мне фельдфебель один раз его по голове ударил, а потом как-то, при уборке казармы, от него же он зуботычину получил.

Удивляться тут нечему. Ведь это теперь, для нас, он — великий писатель, а тогда на него смотрели как на преступника, вчерашнего каторжанина, не имевшего никаких прав...

Этот рассказ Каца я никогда не забуду.

Можно себе представить, сколько тяжелых, жутких минут пришлось пережить писателю в годы его почти десятилетней сибирской ссылки.

По выходе из Омской каторжной тюрьмы, оборванный и полуголодный, по этапу он пришел в Семипалатинск. Каторжный бушлат сменила серая шинель. Из каторжника он превратился в солдата, а солдатчина тогда мало чем отличалась от каторги.

Вот в это-то тяжелое время и произошла, по-видимому, его встреча с Елизаветой Михайловной Неворотовой. После долгих жутких лет каторжной тюрьмы он понемногу стал оживать. Но доступ в местное «светское» общество для него был еще закрыт, он был еще изгоем, и только старый семипалатинский базар с веселой молодой калашницей Лизой подарил ему первые радости возвращающейся жизни...

Личный адъютант начальника 24-й пехотной дивизии Алексей Иванов (? — после 1893) оставил интереснейшие по своей искренности и большой любви к писателю воспоминания о встрече с Достоевским в Семипалатинске в 1855 г.

ВСТРЕЧА С ДОСТОЕВСКИМ

(Из моих поездок по Азиатской России)

Лучше поздно, чем никогда

Когда я был личным адъютантом начальника 24-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта Александра Карловича Дометти, мне приходилось каждый год совершать с ним продолжительные поездки во время инспектирования войск, разбросанных по всей Западной Сибири на протяжении 12 тысяч верст. В состав дивизии в то время входили: 12 линейных батальонов и все уездные, этапные и конвойные команды, так что служебное *toiupée* продолжалось почти все лето. Однажды, это было в 1855 году, совершая обычный объезд, который, несмотря на разнообразие быстро менявшихся, как в калейдоскопе, картин, порядочно уже надоел, мы с генералом из Барнаула через Змиев и Бухтарму приехали в самый отдаленный Зырянковский серебряный рудник, находившийся на южной оконечности нашей границы с Небесной Империей. Военное начальство сюда раньше никогда не заглядывало; солдаты были неучи и поражали нас своими наивными до комизма ответами; так, один из них на вопрос генерала: «С которого года у тебя мундир?» отвечал: «Запамятовал, ваше благородие».

Генерала покорило; нахмутив брови, он продолжал:

— Ты разве не знаешь, как генералу нужно отвечать?

— Не знаю, ваше благородие.

— Да ты разве никогда не видал генерала?

— Бог миловал, ваше благородие, никогда не видал.

Из Барнаула мы на легкой лодке спустились по Черному Иртышу до Усть-Каменогорска. Иртыш здесь течет очень быстро, образуя множество красивых островов, покрытых густо зеленью кустарных растений. Любуясь ими, я невольно подумал, не те ли это нимфы, которые были обращены в острова за то, что не позвали на пиршество Хелоя, куда были приглашены все боги. Чудную картину представляют также дикие берега Иртыша, со своими поднимающимися над водою голыми утесами, достигающими местами до 20 сажен высоты. Грудь и ребра этих великанов покрыты сланцевыми породами

различных цветов: синим, зеленым, красным и совершенно черным с блестящим агатовым отливом. Все они носят разные названия: Веришкин, Барышников, Крестовский, Петуший Гребень, Семь Братьев и проч., и все, как древние Эдды, хранят вековые предания о местных событиях; так, словоохотливый наш кормчий, указывая на утес Веришкин, рассказывал, что с него во время боевой схватки казаков с киргизами один офицер, не желая сдаваться, кинулся с лошадью прямо в реку и что тень несчастного каждый год в роковой день и час верхом на лошади совершает свое обычное путешествие по гребню горы. Из Усть-Каменогорска мы, пересев в экипаж, отправились в Семипалатинск, где встретили возвращающегося из Заилийского края генерал-губернатора Западной Сибири и командира отдельного Сибирского корпуса генерала от инфантерии Гасфорта. После официального представления начальству, которое продолжалось довольно долго, на другой день генерал занялся инспектированием 7-го линейного батальона, в котором служил в то время рядовым Достоевский. Печальная участь его была мне хорошо известна, так как с ним вместе пострадал один из моих знакомых — Черносвитов, сосланный, как житель Сибири, в крепостные работы в Гельсингфорс¹. Да, кроме того, я знал Достоевского и по его роману «Бедные люди». Желая видеть этого талантливое человека, я просил батальонного командира указать мне его.

— Да вот, стоит седьмым с правого фланга, — сказал он, понижая голос, чтобы генерал не слышал разговора.

Достоевский показался мне на вид больным, изнуренным. Впалые глаза его смотрели задумчиво куда-то вдаль, а исхудалое тело, казалось, с трудом держало в руках тяжелое солдатское ружье. Мне стало жаль его, я хотел подойти, заговорить с ним, облегчить его душевные муки, но военная дисциплина не допускала ничего подобного, и я, как виноватый, молча прошел мимо, обещаясь в душе попросить батальонного командира не мучить его больше смотрами и ученьями. В 4 часа, когда мы были дома, ординарец доложил мне, что рядовой Достоевский желает меня видеть. Обрадованный случаем с ним лично познакомиться, я приказал просить его войти. Комната у меня была отдельная, и генерал не мог видеть нашего *tête à tête*, а потому, не стесняясь посторонним присутствием, я просил Достоевского без церемонии садиться и повести мне свои нужды, обещая заранее исполнить все, что будет возможно. Он поблагодарил меня легким наклоном головы, сел и, переводя дух, сказал:

— Я пришел к вам, г. адъютант, с просьбой помочь мне представить через вашего генерала корпусному командиру Гасфорту² стихи, написанные мною на смерть Императора Николая Павловича и посвященные Его Августейшей Супруге Императрице Александре Федоровне³.

Он подал мне стихи: они были написаны на большом листе почтовой бумаги. Я прочел их вслух. В них, как в зеркале, отражалось его доброе сердце, сочувственно говорившее о незаменимой потере, понесенной Ее Величеством и всею Россией, и теплые слова утешения поэтическим потоком лились друг за другом *. Дав слово исполнить его просьбу⁵, я спросил, как ему живется и служится в Семипалатинске.

— О, я здесь благоденствую, это не то, что в Омском остроге,— с горькою полуулыбкой отвечал он.

— Да, солдатский быт, как он ни суров, гораздо лучше, чем сидеть в каменном мешке в сообществе убийц и разбойников.

— Нет, г. адъютант, каменный мешок не так страшен, и окружающие убийцы и разбойники не так ужасны, как ужасны острожные порядки.

— Как же вы их перенесли?

— Ценою своего здоровья; видите, какой я красавец, хоть сейчас в гроб кладу.

— Да, вам надо отдохнуть, поправиться; я попрошу батальонного командира облегчить насколько возможно ваши служебные занятия.

— Не беспокойтесь, г. адъютант,— сказал он, слегка поклонившись,— я и так пользуюсь полною свободой и становлюсь во фронт только тогда, когда это необходимо, как например, сегодня.

— Что вы не просите об увольнении вас по болезни из военной службы? Я готов поддержать ваше ходатайство.

— Очень вам благодарен, но теперь еще немного рано об этом думать; я недавно возвращен из каторжных работ,— и при этом воспоминании судорожная дрожь пробежала по его исхудалому лицу.

— Впрочем, виноват, забыл, скоро коронация⁶, и вы, вероятно, без всяких хлопот будете возвращены восвояси.

— Да, если Господь поможет,— сказал он тихо.

— Ваше благородие,— громко проговорил вошедший ординарец,— генерал требует.

Я попросил Достоевского подождать и, взяв стихи, отправился в кабинет своего начальника. Александр Карлович Дометти был генерал николаевского закала, службист до мозга костей, человек с хорошим образованием и мягким сочувствующим сердцем. Подчиненные называли его «отцом-командиром», и, действительно, это был отец в самом широком смысле этого слова. Он любил своих подчиненных и входил в их семейные нужды. Доложив генералу просьбу рядового Достоевского, я прочел стихи, которые произвели на него глубокое впечатление, и в добрых глазах старика, под маской напускной суровости,

* Как жаль, что я не списал их и не сохранил в памяти. (Примеч. А. Иванова) ⁴.

блеснули слезы. Как питомец Павловского корпуса, как старый гвардейский офицер, он искренно любил покойного Государя и не мог без душевного волнения вспомнить о его преждевременной кончине. Дав время успокоиться его расхолодившимся нервам, я спросил:

— Ваше превосходительство, что прикажете сказать Достоевскому?

— Скажите ему,— отвечал он, повернувшись в сторону, чтобы я не заметил его слез,— что стихи его прекрасны, и я буду лично просить корпусного командира представить их вдовствующей Императрице.

Я направился к дверям, чтобы исполнить его приказание, но он остановил меня словами:

— Мы сегодня обедаем у губернатора, возьмите с собою стихи Достоевского, я хочу познакомиться его с этим прекрасным произведением. Да, кстати, пошлите приказ батальонному командиру, что завтра в 7 часов утра я буду смотреть стрельбу батальона по мишени, а после обеда местную и безоружную команды.

Безоружная команда была в своем роде Голгофа, куда поступали старики-скопцы, ссылаемые за сектанство в Сибирь в солдаты без срока. Многим из них было 70, 80 и более лет от роду. Форменная одежда их состояла из одной серой солдатской шинели с суконными пуговицами и такой же фуражки без кантов. В строю они стояли с палочками, без помощи которых, по дряхлости, не могли обходиться. Служебные обязанности их ограничивались собиранием лекарственных трав для военных лазаретов и в уходе за огородом. Генерал отнесся к ним ласково, добродушно спрашивал, много ли они в лето собрали ромашки?

— Много, ваше превосходительство,— шамкали их старческие губы.

— Всем ли вы довольны, старички?

— Всем довольны, ваше превосходительство, всем довольны,— повторяли они разбитым голосом.

Какая ирония сквозила в этих немногих словах! Без боли в сердце нельзя было слушать, как нельзя и в настоящую минуту в двух мимолетных словах рассказать всю скорбную историю их печальной жизни, а потому, оставляя это до другого раза, возвращаясь к прерванному разговору.

— Ну, г. Достоевский,— сказал я, входя в свою комнату,— ваше дело я наполовину сделал. Генерал дал слово просить корпусного командира представить ваши стихи вдовствующей Государыне Императрице.

Лицо его оживилось, румянец показался на щеках, он пожал мне руку, сказал «спасибо», и мы расстались.

Через час мы были у губернатора; гостей собралось много, и мне пришлось три раза прочесть стихи Достоевского, кото-

рые всем понравились. На другой день был праздник, и мы с генералом после обедни и парада были приглашены к корпусному командиру на завтрак. Пользуясь случаем, генерал передал ему стихи Достоевского, похвалив их, и просил представить вдовствующей императрице Александре Федоровне. Но Гасфорт, к сожалению, был немножко ретроград и вместе энциклопедист, только не в смысле последователя Гольбаха, а просто в смысле архивного склада отрывочных научных знаний. Считая себя таким образом ученым, он смотрел на все своими глазами, и стихи Достоевского не находил заслуживающими представления Императрице. Он говорил, как бы в укор Дометти, что стихотворство не солдатское дело, что не следует поощрять этого пустомельства и, увлекаясь полетом своей мысли, договорился до того, что назвал литературу злом, а литераторов злодеями. Такая пристрастная оценка трудов Достоевского задела, как говорится, за живое моего благородного патрона; он с увлечением юноши оппонировал против подобного заключения, и Гасфорт уступил, обещая представить стихи военному министру. Но представил ли он их — вот вопрос, который и теперь, по прошествии 37 лет, не выходит у меня из головы⁷.

Меня волнует и теперь
Вопрос: что сделалось с стихами,
Куда девались они
С своими чудными словами?

* * *

Неужто властная рука
Коснулась их из тайной злобы,
Чтобы подольше не снимать
С творца железные оковы.

* * *

Но нет ответа, все молчит,
Все глухо в сумрачной пучине
Давно минувших скорбных лет
И отголоска нет поныне.

Воспоминания томского художника Павла Михайловича Кошарова (? — после 1891) о встречах с Достоевским в Семипалатинске в 1857 г. дополняют известные воспоминания путешественника П. П. Семенова-Тян-Шанского «Путешествие в Тянь-Шань» (М., 1947). (П. М. Кошаров выпустил в 1889—1891 гг. в двух томах в Томске альбом «Художественно-этнографические рисунки Сибири»).

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОСТОЕВСКОМ

В 1857 г. я был прикомандирован в качестве художника к учено-военной экспедиции, отправлявшейся под руководством П. П. Семенова в Тянь-Шань (Небесный хребет) для ученых целей, которая должна была собраться в г. Семипалатинске¹. Ввиду этого я выехал из Томска 9, а в Семипалатинск приехал 20 апреля, где, ожидая остальных членов экспедиции, между прочим, осматривал этот степной город с его преобладающим киргизским населением. Однажды, гуляя по городу с бригадным адъютантом В. П. Демчинским², мы встретили офицера низенького роста, а с ним рядом солдата высокого роста. Меня это крайне удивило, и я спросил Демчинского, кто это такие. Адъютант ответил: «Да ведь этот офицер Ф. М. Достоевский, а солдат князь Мещерский, сосланный с Кавказа в солдаты». На следующий день я был приглашен на обед к бригадному генералу М. М. Химянтовскому³, где опять встретился с Достоевским. Заинтересовавшись тогда уже значительным писателем, я, разумеется, счел нужным с ним познакомиться. После обеда мы с ним разговорились о прошедшем, о литературе и живописи. Ф. М., оживившись, передал мне, что он очень любит живопись и что в бытность в Петербурге он часто посещал Академию художеств и особенно любовался картиною «Последний день Помпеи» проф. К. П. Брюллова; что он знаком со многими художниками и проч. Затем, разговаривая о прошлом, я рассказал Достоевскому, как был взволнован Петербург делом Петрушевского⁴ и о том грустном впечатлении, которое я вынес в 1849 г. в качестве очевидца от всех внешних приготовлений к смертной казни участников дела Петрушевского. Помню, сказал я Федору Михайловичу, как глубокой осенью на Семеновском плацу виселось 25 виселиц⁵, у которых были прислонены в белых саванах приговоренные к смертной казни, которая не приводилась в исполнение вследствие ожидания приказа Его Величества Николая Павловича. Помню, как спустя некоторое время, вдруг сделался страшный шум и волнение в народе, которого собралось на казнь несколько тысяч, и среди толпы мы увидели скачущего флигель-адъютанта от Государя. Затем раздались голоса о помиловании Государя, после чего

палачи стали снимать с осужденных саваны, сводить их с виселиц на приготовленные уже тройки с конвоем для немедленной отправки в Сибирь⁶. Когда я кончил рассказывать, то чрез несколько минут Ф. М., не смотря на меня, с поникшей головой, сказал: «Да, я ничего этого не помню и что до этого с нами делали в этот день, я тоже не могу вспомнить, очнулся уже вечером в дороге. Затем привезли сюда, а потом в Бухтарминскую крепость и приковали меня к тачке...» Закончив эту тираду, Ф. М. сказал взволнованным голосом: «Извините, больше говорить не могу, а вот что я вас попрошу: когда вы возвратитесь обратно из путешествия, то съездите в Бухтарминскую крепость и нарисуйте ее для меня со всех сторон, а также и окружающую ее местность». На это я, конечно, охотно согласился. Возвратившись из экспедиции в Семипалатинск в конце августа и повидавшись еще с Ф. М., я на другой же день отправился в Бухтарму и все для него исполнил. Вот мои скромные воспоминания о Ф. М. Достоевском. Я думаю, что некоторые мои знакомые того времени помнят, когда мы были в Семипалатинске с П. П. Семеновым и, наверное, восполнят пробелы моих воспоминаний.

Работа исследователя семипалатинского периода жизни Достоевского А. В. Скандина является первой попыткой собрать воедино любые упоминания семипалатинцев о службе в их городе великого русского писателя.

ДОСТОЕВСКИЙ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

По прибытии в Семипалатинск Достоевский был назначен в 1-ю роту, которая занимала половину* деревянной казармы, сгоревшей в 1881 году. По плану и внешнему виду сгоревшая казарма совершенно одинакова с казармой, находящейся в настоящее время против здания мужской прогимназии. Место же, где стояла она,—против Знаменского собора, вправо и на одной линии с каменными крепостными воротами. Тут-то и жил первое время и нес нелегкую солдатскую службу Федор Михайлович.

Старожил Семипалатинска, Н. Кац, современник и сослуживец Достоевского по роте, до сих пор отчетливо помнит личность Федора Михайловича и охотно делится своими воспоминаниями. С его слов, заслуживающих, по моему убеждению и по мнению многих, хорошо его знающих лиц, полного доверия, помещаю здесь некоторые сведения.

Достоевский в роте спал на нарах рядом и на одной кошке с Кацем, назначенным в том же году на действительную службу из пермского полубатальона кантонистов. У Каца, тогда еще 17-летнего мальчика**, положительно ничего не было: мундир и брюки заменяли подушку, а шинель — одеяло. Достоевский в это время тоже ужасно нуждался в деньгах. Спустя немного времени Кац портняжной работой (научился этому ремеслу, будучи кантонистом) начал зарабатывать деньжонки и мало-помалу обзаводиться всем необходимым для своего житья-бытья. В числе первых приобретений был самовар, доставивший Кацу вместе с его соседом по месту Достоевским, в полном смысле, «приятное с полезным». Пища для солдат в то время была отвратительная, а поэтому чай служил незаменимым дополнением и улучшением казенного стола... Принесут, бывало, большую деревянную чашку, наполненную «варевом без названия», вооружатся солдаты, в том числе и Достоевский, огромными деревянными ложками с неимоверно толстыми черешками — и начнется скудный, далеко не сытный

* Другую половину занимала 2-я рота 7-го батальона. (Здесь и далее примеч. А. В. Скандина).

** Чтобы избавиться от тяжелой жизни в полубатальоне кантонистов, Кац скопленные им три рубля подарил одному из писарей, который устроил каким-то образом, что его, далеко еще не достигшего установленного возраста, назначили на действительную службу... Должно быть, хороша была жизнь кантониста, если он променял ее на службу солдатскую!..

обед... Федор Михайлович ел приготовление ротной кухни, но ел... мало. По этому поводу он частенько с досадой говорил:

— Вот уже четыре с лишком года не могу как следует есть, по-человечески... Завидую аппетиту товарищей.

Чай пить любил помногу.

— Как теперь, вижу перед собой Федора Михайловича,— передаю подлинные слова Каца,— среднего роста, с плоской грудью; лицо с бритыми, впалыми щеками казалось болезненным и очень старило его. Глаза серые. Взгляд серьезный, угрюмый. В казарме никто из нас, солдат, никогда не видел на его лице полной улыбки. Случалось, что какой-нибудь ротный весельчак для потехи товарищей выкинет забавную штуку, от которой положительно все покатываются от смеха, а у Федора Михайловича только слегка, едва заметно, искривятся углы губ. Голос у него был мягкий, тихий, приятный. Говорил не торопясь, отчетливо. О своем прошлом никому в казарме не рассказывал. Вообще он был мало разговорчив. Из книг у него было только одно Евангелие*, которое он берег и, видимо, им очень дорожил. В казарме никогда и ничего не писал; да, впрочем, и свободного времени у солдата тогда было очень мало. Достоевский из казармы редко куда уходил, больше сидел задумавшись и особняком.

Это подтверждается и его письмом** к брату Михаилу, которому он, между прочим, сообщал:

«...Живу я здесь уединенно; от людей по обыкновению прячусь. К тому же я пять лет был под конвоем, и потому мне величайшее наслаждение очутиться иногда одному. Вообще каторга много вывела из меня и много привила ко мне. Я, например, уже писал тебе о моей болезни. Странные припадки, похожие на падучую...»

К солдатской службе Достоевский относился старательно. Это подтверждает и его ротный командир, подполковник в отставке, Андрей Иванович Бахирев***, который аттестует Достоевского так: «отличался молодецкатым видом и ловкостью приемов, при вызове караулов*⁴ в ружье. По службе был постоянно исправен и никаким замечаниям не подвергался».

* Евангелие было подарено Достоевскому в Тобольске женами декабристов (Муравьевой, Анненковой) с дочерью и Фонвизиной) при посещении острога, где помещены были до особых распоряжений ссыльно-каторжные петрашевцы.

** Письмо от 30-го июля 1854 г.

*** А. И. Бахирев живет и в настоящее время в Семипалатинске, ему 83 года, но Достоевского помнит.

*⁴ В роте А. И. Бахирев не обращал внимания на Достоевского («нам не до Достоевского было: с этой собачьей службой — целые дни с площади не сходили»). — правдиво и добродушно говорил этот почтенный николаевский служака). В карауле же Бахирев, будучи дежурным по караулам, всегда ревностно проверял знание обязанностей каждого нижнего чина, в том числе и Достоевского. Кроме того, Бахирев был долгое время в командировке в г. Сергиополе (Аягуз). Когда возвратился, то Достоевский был уже офицером и нес службу в роте, кажется, А. И. Гейбовича¹.

В карауле аккуратность его доходила до того, что он не позволял себе отстегивать чешуйчатую застежку у кивера и крючки от воротника мундира или шинели даже и тогда, когда это разрешалось уставом (например, в ночное время при отдыхе нижних чинов караула перед заступлением на часы).

Его и в рядовом звании освободили от нарядов на хозяйственные работы, а в караул приказано было назначать только по недостатку людей в роте. Но так как в то время шла большая заготовка дров для потребности батальона и для продажи, а также строевого леса* для инженерного ведомства, для чего, конечно, требовалось много рабочих рук из нижних чинов, то для обыкновенных служебных нарядов долгое время не доставало людей, следовательно и Ф. М.-чу приходилось частенько бывать в карауле.

Часовым Достоевскому пришлось стоять почти на всех постах того времени:

1) У окна арестантской камеры местного лазарета.

2) У денежной кладовой казначейства (ныне склад шанцевого инструмента инженерного ведомства) и порохового погреба (это старое крепостное здание ныне находится в городском саду).

3) У продовольственного магазина (на месте, где был этот магазин, в данное время стоит деревянный сарай, в котором хранится обоз семипалатинского резервного батальона по штату военного времени). Изба, где помещался тогда караул и где, следовательно, часто коротал утомительно длинные часы Достоевский, сохранилась. Она — недалеко от сарая с обозом, и в ней теперь, кажется, хранится батальонная известь...

4) На фронте гауптвахты и тюрьмы, т. е. у каменной казармы. В то время у этого здания окна были маленькие и с решетками, да и план здания (внутри) был несколько не такой, как теперь. Тут помещались, кроме гауптвахты, тюрьма, музыкантская команда и артиллерия (кажется, нижние чины 21-й батареи). Помещение для караула (кордегардия) было вправо от входа с площади, где теперь класс учебной команды резервного батальона, а во время семейно-танцевальных вечеров — столовая военного собрания. В этом карауле (на гауптвахте) Достоевский бывал чаще, чем в других.

По отношению к своим сослуживцам-солдатам Федор Михайлович был внимательный, отзывчивый. Помогал им, чем только мог. К начальствующим нижним чинам был почтите-

* Лес рубился солдатами в 26—30 верстах от города Семипалатинска в Тин-Каши, где был батальонный хутор. Оттуда лес сплавлялся солдатами же по Иртышу в Семипалатинск и в Омск для инженерного ведомства. В то время 7-й батальон занимался и дровами и лесом. Все денежные расчеты по этим коммерческим операциям велись командиром батальона, который являлся каким-то неограниченным, бесконтрольным хозяином.

лен *. Приказания исполнял беспрекословно и точно. На грубые выходки их не отвечал, отмалчивался. Казарменные неприятности переносил терпеливо.

Состав нижних чинов батальона в то время был очень плохой: много было сдаточных от помещиков (народ недовольный, озлобленный), много было и наемщиков... А кто не знает, что за люди были эти наемщики? Это люди, прошедшие огонь, воду и медные трубы, люди, которым было решительно все равно — куда ни идти, что бы ни сделать, хотя бы и преступление: терять им было нечего, стремиться домой (на родину) не к кому и незачем... Грубость и безграмотность были поголовные. Со стороны же капралов (унтер-офицеров) подзатыльники и зуботычины щедро раздавались направо и налево, сопровождаемая каждый солдатский шаг... А от начальства из офицеров, кроме того, перепали (и тоже нескучно) и розги...

Стоны от розог и палок, невыносимая трехэтажная ругань начальства, угрозы и проклятия потерпевших и обиженных несмолкаемо раздавались в казарменном воздухе... Жизнь при такой обстановке человеку слабому, физически и нравственно надломленному, возможно было перенести только разве... после каторги...

Федор Михайлович к Кацу относился всегда тепло, участливо, входил в его положение, жалел его молодость **, как старший собрат по солдатчине. Кац, разумеется, не знал, что это был писатель-мыслитель; ему и в голову никогда не приходило, что этот его сосед по месту, так хорошо к нему относящийся, — будущая знаменитость, европейская известность... Он только сознавал, чувствовал своим юным сердцем, что этот молчаливый и чрезвычайно угрюмый рядовой Достоевский — беспредельно добрый, сердечный человек, а потому совершенно не похож на окружающую его среду, где Кац, кроме обидных насмешек, грубых понуканий вроде «Эй, школьник, кантонист, собачий сын, иди сюда!» ничего не слышал. Естественно, что он привязался к Достоевскому и глубоко уважал его. Заветным желанием всегда у него было как можно больше услужить

* Отставной штаб-трубач 7 батальона, А. С. Сидоров (ему теперь далеко за 70 лет), проживающий в настоящее время в Семипалатинске, рассказывал: «Ах, какой смиренный был он человек, старался всегда себя ставить ниже всех; идешь, бывало, а он тебе тянется, честь отдает, и уважение должное оказывает, а заговоришь с ним — отвечал учтиво, почтительно. Хороший был человек... Вот книжечки-то его (причем показал сочинения Достоевского) и по сие время читаю с наслаждением... Великого ума был человек... Но тогда не знали мы этого, не понимали... Да и гг. офицеры-то не лучше нас, солдат простых, были, только мундир иной...»

** Кацу, как самому молодому и несравненно выше других солдат по развитию, доставалось огорчения немало. Особенно вспоминает он с тяжелым вздохом, как ему приходилось осенью на Иртыше в нестерпимо холодной воде стоять по пояс и выполнять непосильный для него труд по выгрузке леса и дров (из плотов на берег). Не всякий охотно заходил в воду, а его посылали силой, угрозами...

своему милому соседу. На деле же, к досаде Каца, частенько выходило наоборот... Что было причиной — трудно сказать теперь, но только рядовой мальчик из кантонистов невольно пользовался услугами рядового Достоевского: то Федор Михайлович приготовит самовар, то сходит за молоком, то вычистит амуницию свою и его...

— Спустя много лет, — привожу подлинные слова Каца, — я уже вышел в отставку и жил на свободе, занимаясь своим ремеслом, вдруг далеко прогремело имя Федора Михайловича... Тогда только я узнал, кто был Достоевский. Как досадовал, как злился я на себя за то, что, живя бок о бок с таким гениальным человеком, я не только не умел оказывать ему самых пустяшных услуг в солдатском обиходе, но даже, стыдно вспомнить, сам пользовался его услугами нередко...

Глубоко запечатлелась в памяти Н. Ф. Каца одна экзекуция, а именно — наказание шпицрутенами*, когда Достоевский находился в строю и, конечно, принужден был нанести и свой очередной удар по обнаженной спине несчастного осужденного... Сзади строя в это время зловеще шагала фигура грозного фронтовика-офицера Веденяева, больше известного семи-палатинцам-старожилам под прозвищем Буран. Веденяев наблюдал за экзекуцией и зорко следил, «не облегчает ли кто удара»... Если же кто, по мнению его, как большого специалиста этого дела, нанес удар «с облегчением», т. е. слабо, тому на спине тотчас же ставил мелом крест... Это значило, что жалостливого и подневольного палача-солдата ожидает основательная порка розгами под благосклонным руководством Веденяева... Розги в то время были употребительным наказанием, весьма любимым такими ревностными служаками, как незабвенный Буран, имевший свою историю и оставивший неуязвимую славу в этом направлении...

Почти через два года службы в рядовом звании Достоевского произвели в унтер-офицеры**. Кажется, что с этого времени отношения к нему военного начальства резко изменились к лучшему. Он получил разрешение жить на частной квартире. От служебных нарядов был окончательно освобожден,

* Шпицрутены — сырые тальниковые палки в 1 1/2 аршина длиной и в палец мужчины толщиной. Наказание (редко за раз доводили до указанного числа ударов) продолжалось до тех пор, пока несчастный не сунется с ног, с исполосованной спиной и потерей сознания... Тогда уносили его в лазарет «подлечить»; едва оправится изуродованный, как его снова ведут «сквозь строй», пока не выполнят назначенного судом числа ударов... Нечего и говорить, что бывали случаи, когда осужденные умирали во время экзекуции между двумя шеренгами... Нелегко было выдержать такое варварство.

** В унтер-офицеры Достоевский произведен 15-го января 1856 года, что видно из его прошения, поданного из Твери на высочайшее имя о разрешении ему жить в Москве и Петербурге. В этом прошении он перечисляет, когда и какие были оказаны ему монаршими милости.

в роту же ходил только на учения, парады и смотры. Если же был необходим в казарме по какому-нибудь особому случаю, то за ним посылали солдата. Крикнет фельдфебель: «Кто желает сходить к Достоевскому с приказанием?» Желала чуть не вся рота. Оказалось, что Федор Михайлович этим посланным давал деньги: по 15 и по 20 коп. *.

С этого же времени Достоевский начал бывать у командира батальона, полковника Белихова **. Белихов был простой, добродушный, холостой человек, любивший пожить ***. Сначала командир батальона требовал к себе Федора Михайловича для чтения ему вслух газет и журналов, а затем стал оставлять его у себя обедать и даже при гостях *4. Тут Достоевский познакомился с многими лицами, часто бывавшими у Белихова.

Первая частная квартира Достоевского была в доме Пальшиных, у которых он снимал две комнаты с обедом *5. К своим домохозяйевам он относился просто. Любил иногда с ними и поговорить. На службу (в роту) ходил редко. Много читал и что-то писал. В гостях у него почти никто не бывал; сам же он частенько ходил к командиру казачьей бригады Мих. Мих. Хоментовскому, командиру батальона Белихову, горному ревизору Ковригину и смотрителю провиантского магазина, интендантскому чиновнику Ордынскому *6. Особенно близкие отношения в это время у него были с последним: на квартире у Ордынского Достоевский иногда проводил целые дни за своей работой. О жизни Федора Михайловича от Пальшиных ни полиция, ни военное начальство никогда не спрашивали и никаких сведений не требовали *7. Припадки падучей болезни у Достоевского бывали часто и почти всегда по ночам, но продолжались недолго. К П. Л. Пальшину (сын хозяина дома), которому тогда было 14—15 лет, Достоевский был ласков. Заметил как-то Федор Михайлович, что мальчик недурно рисует, и предложил устроить его при помощи своего брата *8, в Петербург, но отец П. Л. Пальшина от этого уклонился.

* В это время у Д-ского очень часто бывали деньги: присылал ему их, по словам Пальшина, брат Михаил Михайлович.

** Белихов жил тогда в здании, где теперь помещается музыкантская команда семипалатинского резервного батальона.

*** При сдаче батальона майору Денисову полковник Белихов, по словам Каца, застрелился... Говорили, что причина — материальная недостача в батальоне, которую он не в состоянии был пополнить.

*4 В то время расстояние между офицером и солдатом было еще более непроходимое, чем ныне, поэтому при гостях иметь у себя офицера в гостях нижнего чина было знаком особого внимания и участия...

*5 Эти сведения почерпнуты из рассказа П. Л. Пальшина (живет в настоящее время в Семипалатинске), помещенного в заметке о Достоевском Н. Яковлева (газета «Сибирь», № 80, 1887 г.).

*6 Ордынский — довольно образованный старичок из ссыльных поляков-повстанцев, пожелавших остаться в Сибири.

*7 Это доказывает, что надзора ни тайного, ни открытого за Достоевским не было.

*8 Вероятно, через Мих. Мих. Достоевского.

У себя на квартире Достоевский не был так сдержан, осто-рожен, как в казарме. Случалось, что говорил и о своей преж-ней жизни и даже раз рассказал о том, как его с товарищами везли из крепости на казнь... Это был тяжелый, ужасный рас-сказ... В конце этого рассказа он подчеркнул, что никому и никогда не поверит, чтобы на казнь было возможно идти со спокойным духом...*

Тогда же, кажется, Федор Михайлович показал Пальшину хранившийся у него в сундуке... белый саван**, в котором стоял на эшафоте в день казни и переживал страшные минуты перед смертью... пока не последовало помилование...

На свою тяжелую судьбу Достоевский никогда не жало-вался, но был у него из казарменной жизни такой случай, про который он долго не мог забыть... Рассказал же про этот печальный случай гневно, причем нервная дрожь пробежала по его худому телу... Вот этот случай. Рядовой Достоевский как-то замешкался и не тотчас же исполнил полученное им приказание от фельдфебеля, за что от последнего получил силь-ный удар по голове («подзатыльник»).

А. С. Сидоров (отставной штаб-горнист 7-го батал.) рас-сказывал следующее. Офицер Веденяев (уже известный чита-телю) состоял субалтерн-офицером во 2-й роте, которая поме-щалась в одной казарме с 1-й, часто заглядывал по соседству в 1-ю роту и, как человек неугомонный, нередко «подтягивал» и «разносил» унтер-офицеров за «непорядок»... Когда Досто-евский явился в 1-ю роту, как из земли вырос и Веденяев, ко-торый внушительно сказал фельдфебелю, указывая пальцем на Федора Михайловича, стоявшего в стороне:

— С каторги сей человек... Смотри в оба и поблажки не давай!..

Не после ли такого строгого наказа грозы Веденяева рабски исполнительный фельдфебель, придравшись к мелочи, чтобы «не давать поблажки», по-своему вразумил Достоевского тя-желым подзатыльником?..

В заметке Н. Яковлева (газ. «Сибирь», № 80, 1897 г.) при-веден еще такой случай. Федор Михайлович был на «вечере» у кого-то из знакомых и вышел зачем-то в переднюю, в кото-рую в то же время вошел только что приехавший в гости офи-

* Некоторые лица в своих печатных воспоминаниях (например, Пальм, Загуляев)² уверяют, что Достоевский на эшафоте был бодр, спокоен и даже рассказывал шепотом Пальму план одной повести. Другие же (Спешнев) утверждают, что Достоевского объял «мистический ужас», он был бледен и, казалось, не отдавал отчета во всем происходившем... Нелегко разобраться в этом.

** Саван был на Достоевском, когда он стоял на эшафоте (видно из письма его из крепости к брату, это письмо написано в день казни); как он попал с ним в Сибирь — остается неизвестно. Может быть, эти саваны, с разрешения, многие петрашевцы (в том числе и он) взяли на память об этих «черных минутах своей жизни».

цер. Увидевши в передней солдата, офицер молча подставил ему свою спину — и... Достоевский снял с него шинель, поместил ее на вешалку и одновременно с тем же офицером вошел в гостиную.

Почтенная семипалатинская обывательница, вдова Е. А. Мамонтова (в девицах Мельчакова), охотно сообщила мне все, что знала о Достоевском, причем заметно оживилась и, видимо, с удовольствием в своих воспоминаниях переживала те молодые годы (переполненные, нужно заметить, интереснейшими фактами и событиями из истории нашей пограничной полосы, которые совершались почти на ее глазах)*, которые промелькнули давно и теперь находятся далеко, далеко позади...

Передаю слышанное ее же словами.

— Мне было лет 12, когда дядя, у которого я тогда жила, пригласил в качестве учителя для меня Достоевского. Федор Михайлович в общей сложности занимался со мною несколько более года. Для учения — не скрываю — я была малоспособная. Особенно мне не давалась головоломная арифметика. Теперь я положительно удивляюсь терпению своего учителя. Оно у него, вероятно, было неистощимое. Достоевский ходил к нам на занятия в разное время — очевидно, когда он был свободен. Урок продолжался час, иногда два, но не больше. Во время уроков Федор Михайлович почему-то часто сидел в шинели**. Растегнет воротник и только. Эта шинель отчетливо зарисовалась в памяти, точно вот она сейчас передо мной... Спина из мелких бориков... Не знаю, форма ли тогда такая была, или это его личный вкус, но только покрой с спиной из бориков был довольно красивый... Теперь таких шинелей у военных я не вижу. Во время уроков Федор Михайлович часто и продолжительно кашлял. Дядя говаривал, что у него грудь не в порядке. При занятиях со мной был мягкий, ласковый, но в требованиях своих настойчив. Пришлось раз подвергнуться и наказанию своего учителя. Это было так. Федор Михайлович задал мне арифметическую задачу и просил решить ее к следующему уроку. Я задачу не решила. Достоевский заставил решать ее при себе. Задача, на беду мою, упорно не давалась. Достоевский ждал. Наконец я, глупая девчонка, потеряла самообладание, озлилась и сказала своему милому и доброму учителю дерзость: «Решить я не могу: задача очень трудная... Сидите и решайте сами, а я больше не буду...» Федор Михайлович

* Многие интересные рассказы я, конечно, здесь не помещаю, так как они не входят в программу очерка.

** Впоследствии г-жа Мамонтова мне конфузливо сообщила, что она догадывалась, почему Федор Михайлович сидел в шинели: брюки тогда были белые, мундирчик короткий, «куцый»... Брюки за неимением запаса других слишком скоро грязнились... Вот он и стеснялся снимать шинель, чтобы скрыть невольную неисправность своего туалета.

сказал об этом моим родным, сидевшим в другой комнате, а меня поставил за это в угол, около печки и дверей. Долго-долго я простояла в углу. Достоевский остался у нас обедать. После обеда прошло немало времени. Только в сумерки, к вечернему чаю позволили мне оставить неприятное место. Мне шепнули, чтобы я просила извинения, но я заупрямилась. Достоевский ушел. На другой день утром злополучная задача была все-таки решена мною. Федор Михайлович, просмотревши решение, подарил мне, строптивой ученице, коробку (корзиночка с высокой ручкой) конфет.

Достоевский в Семипалатинске бывал во многих домах, в том числе и у судьи Пешехонова, жившего открыто и широко. На вечерах у него бывала всегда масса гостей, для которых угощение было на славу. Танцы и карты процветали. В этом доме танцевал и Достоевский, особенно он был в ударе перед отъездом из Семипалатинска, и кажется мне, что он был тогда во фраке, а не в офицерском мундире...*

Про обильную выпивку в доме Пешехонова Достоевский говаривал:

— Э, друг, если хочешь напиться, иди к Пешехонову — будешь готов.

Сам же он почти не пил и всегда возмущался разнузданностью людей, частенько проявлявшуюся под влиянием обилия хмельного в доме, где все лилось через край, причем выражался, кажется, так:

— Кто пьет до безобразия, тот не уважает человеческого достоинства ни в себе, ни в других.

Хорошо запомнилось мне одно обстоятельство, да как-то боюсь, не решаюсь его вам передать... Очень уж факт-то на первый взгляд невероятный... Как бы не упрекнули меня в лганье. Достоевский одно время как будто бы пристрастился к азартной игре**. Играли же здесь тогда сильно. Однажды Федор Михайлович утром зашел к дяде*** и сообщил ему, что вчера он видел небывалую игру. Эта игра произвела на него сильное впечатление: он, рассказывая про нее, быстро ходил по комнате и с волнением закончил:

— Ух, как играли... жарко! Скверно, что денег нет... Такая чертовская игра — это омут... Вижу и сознаю всю гнус-

* Очевидно, что был в отставке.

** Это возможно. Фед. Мих. до ареста и ссылки одно время увлекался игрой на бильярде. Впоследствии за границей, в Бадене, начинал было играть, но игра кончилась, разумеется, горькой неудачей... Достоевский сам про этот временный азарт говорил в письме к поэту А. Майкову (16 августа 1867 г.), что «натура его подлая, страстная — везде-то и во всем он до последнего предела доходил, всю жизнь за черту переходил».

*** Соборный дьякон Синкин, бывший секретарь консистории, но по прихоти архиерея попал в это звание. У Синкина бывали многие из офицеров, бывал и Достоевский, как старый знакомый, запросто.

ность этой чудовищной страсти... а ведь тянет, так и всасывает!

Приближалась коронация императора Александра II. У Достоевского мелькнула надежда на царскую милость. Он даже делает попытку в такой удобный момент напомнить о себе. Так, например, 23 марта 1856 года к барону А. Е. Врангелю *, знакомому по Семипалатинску, где тот некоторое время служил, Федор Михайлович пишет горячее письмо, в котором убедительно просит Врангеля побывать у Эд. Ив. Тотлебена **, передать ему другое письмо и добиваться ходатайства его перед государем о смягчении его участи при коронации. Особенно желал Достоевский перейти в гражданскую службу с 14-м классом и возвращения в Европейскую Россию, а главное разрешения печатать свои произведения.

Попытки Федора Михайловича увенчались успехом, надежды его не обманули... Генерал Тотлебен откликнулся и стал настойчиво хлопотать об улучшении участи Достоевского. В этом принял горячее участие и принц Ольденбургский. Результатом всего была монаршая милость: 1-го октября 1856 года унтер-офицер Достоевский за отличие по службе произведен в прапорщики, с оставлением в том же батальоне.

С этого времени Федор Михайлович несет уже службу офицерскую и вливается, так сказать, в эту среду... Среда же эта была крайне убогая... Офицеры были (за весьма немногими исключениями) скудно образованные, мало развитые; встречались даже и совсем малограмотные ***: это из солдат, севастопольских героев, произведенных за боевые отличия в прапорщики... Некоторые из более энергичных таких прапорщиков держали, впрочем, особый «фицерский экзамен» на право производства на службе в следующий чин. Но какой же для них был экзамен?.. Конечно, баловали героев-стариков и... пропускали по доброте сердечной...

Для характеристики таких горе-офицеров привожу здесь факт, очень похожий на анекдот, записанный со слов Н. Ф. Каца.

Из героев-севастопольцев в № 7-м батальоне служил Зубарев. Он, как сдавший экзамен, был произведен в подпоручики. Вскоре же после производства в этот чин ему пришлось

* О бароне Врангеле Достоевский 13 января 1856 г. писал поэту А. Н. Майкову: «Письмо это доставит А. Е. Врангель, человек очень молодой, с прекрасными качествами души и сердца, приехавший в Сибирь прямо из лица с великодушной мечтой узнать край, быть полезным и т. д. Он служил в Семипалатинске; мы с ним сошлись, и я полюбил его очень».

Г-жа Мамонтова говорит, что Врангель состоял одно время по дипломатической части для сношений с Китаем, но настойчиво не утверждает...

** Генерал-адъютант, известный военный инженер и герой Севастополя, учившийся в том же инженерном училище, где кончил курс и Достоевский.

*** То есть читать-то умели, а писали только при помощи других.

заступить в караул на гауптвахту. В составе чинов караула был и рассказчик Кац. Все формальности приема были окончены, оставалась последняя официальная сторона дела — это расписаться в книге или постовой ведомости (Кац точно не помнит). Зубарев (караульный начальник) сел за стол, взял перо и... задумался. Старый начальник караула (какой-то прапорщик из молодых), расписавшись еще заранее*, уже давно увел сменный караул... А Зубарев все сидит, погруженный в размышления... Наконец бросил на стол перо и громко, раздраженно воскликнул:

— Ах, ты, черт возьми, как я было наловчился писать «прапорщик»... Произвели вот — и опять новое слово «подпоручик»... А как его написать?... Вот она, служба-то!..

Вздыхнул и подозвал к себе Каца, как хорошо грамотного нижнего чина, и приказал ему подсказывать по порядку все буквы мудреного «нового слова», а сам толстыми заскорузлыми пальцами усердно царапал пером... Когда «подпоручик» был изображен на бумаге, то герой Севастополя, покрасневший от напряжения, с подъемом духа начальнически милостиво сказал:

— Иди, братец, на место — теперь больше не нужен... — И тут же добавил уже совершенно добродушно: — Фамилию-то свою я, и закрывши глаза, напишу...

Конечно, такие офицеры редкое исключение составляли и тогда, но образованные, в полном смысле этого слова, офицеры в батальоне были еще большим исключением.

К такому приятному исключению нельзя не отнести молодого в то время Алексея Ив. Бахирева (брата командира 1-й роты Андрея Ив. Бахирева). Он, окончивши кадетский корпус, много поработал над саморазвитием и любил литературу: имел много дельных книг, выписывал «Современник», а Некрасова знал наизусть. Словом, считался тогда не только в батальонной офицерской семье, но и во всем семипалатинском обществе в числе передовых людей. Достоевский и Бахирев близко познакомились и даже одно время жили вместе, на одной квартире**. Федор Михайлович пользовался у Бахирева книгами и журналом. Когда же Ал. И. Бахирев поехал в отпуск, Достоевский снабдил его рекомендательными письмами к брату Михаилу Михайловичу, но Бахирев в Москву, где был брат Достоевского, не попал: пробыл долгое время в Варшаве и, должно быть, для Москвы отпуска и не хватило... Письма, по приезду его в Семипалатинск, им были возвращены Федору Михайловичу.

* Обыкновенно практиковалось так: старый караульный начальник заготовит заблаговременно все необходимые для смены шаблонно-уставные надписи; новому же караульному начальнику остается только фактически принять все, а в книге (или ведомости) черкнуть чин и фамилию.

** Дома этого, кажется, не существует.

В Варшаве Ал. И. Бахирев случайно купил портрет Достоевского. Этот портрет, насколько я знаю, нигде не появлялся в печати и относится, судя по молодости лица и спокойному выражению глаз, к периоду до ареста и ссылки в каторгу*.

Ал. Ив. Бахирева давно уже нет в живых... А немало, вероятно, он имел сведений о Достоевском. Может быть, в числе этих сведений были и весьма ценные биографические материалы.

В доме командира батальона Белихова Достоевский познакомился с чиновником особых поручений Александр. Ив. Исаевым, злоупотреблявшим тогда спиртными напитками до горячки... Бывал частенько Федор Михайлович и у Исаева**. Вскоре Исаев был переведен из Семипалатинска в Кузнецк, где и умер в страшных мучениях, оставив после себя вдову Марию Дмитриевну и детей без всяких средств и с долгами.

Достоевский жалел Исаева. Его безобразную жизнь, нелепые поступки оправдывал тем, что покойного черная злая судьба обильно наделила в жизни лишь одними неудачами.

О материальной поддержке вдовы Исаевой Федор Михайлович очень много хлопотал, доставая для нее деньги, что видно из целого ряда писем к барону Врангелю***. Долго добивался и определения старшего сына Исаевой — Павла в кадетский корпус. Этого мальчика удалось устроить лишь впоследствии, когда Достоевский был уже женат. Прошение, писанное рукой Фед. Мих. на имя командира батальона (с пометкою 27-го июля 1857 г.), об исходатайствовании у военного губернатора подорожной для доставления девятилетнего пасынка Павла Исаева в Сибирский кадетский корпус сохранилось до сих пор в делах областного правления.

Привожу здесь прошение это, напечатанное в № 8 «Семипалатинских Областных Ведомостей» 1898 г.*4

* Портрет этот (литография) после смерти Ал. И. Бахирева был в числе прочих мелочей (писем, фотографий, орденов) выслан из Катон-Карагая, где служил Бахирев, в Семипалатинск к брату Андр. Ив. Бахиреву, сын которого Ник. Андр. Бахирев любезно снабдил меня этим портретом и сообщил сведения о своем дяде, который был близко знаком с Достоевским.

** Исаев квартировал в доме дьячка Хлынова (после дом врача Гизлера), что недалеко от казарм. До этого времени, когда Достоевский жил в казарме, в этом доме у Хлыновой (жены дьячка), умершей 86 лет и хорошо помнившей Достоевского, Федор Мих. покупал часто молоко.

— Достоевский? А, как же, как же, помню этого солдатишку, — говорила эта старушка на расспросы интересовавшихся лиц, — чудной он был: то просит продать подешевле, а то сам заплатит за кринку вдвое дороже... Да еще и скажет, бывало: «Спасибо, что молочком кормишь»... Обходительный был... недаром ведь и до офицера дослужился.

*** Не имея денег, Достоевский просил у Врангеля. Вдова Исаева терпела нужду ужасную. В одном из своих писем: «Нужда руку толкала принимать, — пишет она, — и приняла... подаяние».

*4 Прошение, написанное рукою Достоевского, с пометкою 27-го июля 1857 года, сохранилось до сих пор в делах областного правления.

Вчерашнего числа, возвратясь из двухмесячного отпуска, данного мне для излечения застарелой падучей болезни, в форпосте Озерном я получил от семипалатинской городской полиции извещение, что пасынок мой, девятилетний Исаев, принят в Сибирский кадетский корпус. Дежурство корпусного штаба известило семипалатинскую городскую полицию от 17-го июля 1857 г. за № 5207, что его высокопревосходительство, господин корпусный командир, изволил сделать распоряжение об отпуске из тобольского окружного казначейства под расписку г-жи Исаевой (ныне жены моей Достоевской) прогонных денег и подорожной на доставление в Сибирский кадетский корпус, к 1-му августа сего года, сына ее, Исаева. Но так как жена моя, вступая со мной в брак, переехала на жительство из г. Кузнецка Томской губернии в г. Семипалатинск, то г. начальник корпусного штаба, уведомленный о сем обстоятельстве, уже просил Тобольскую казенную палату о выдаче прогонных денег и подорожной на доставление Павла Исаева в г. Омск из Семипалатинского окружного казначейства, по требованию матери его, г-жи Достоевской, бывшей в первом браке Исаевой.

Имея честь почтительнейше уведомить о сем обстоятельстве ваше высокоблагородие, нахожусь вынужденным присовокупить, что Семипалатинское окружное казначейство, без указа Тобольской казенной палаты, не может выдать следуемые Павлу Исаеву деньги. И потому почтительнейше прошу известить о сем обстоятельстве его превосходительство, господина семипалатинского военного губернатора. Как вотчим Павла Исаева, я обязан распорядиться о доставлении его в Сибирский кадетский корпус непременно к 1-му числу августа с. г., или, по крайней мере, в первых числах того же месяца. Имея доверенного человека для препровождения Павла Исаева, именно почтальона семипалатинского почтамта Лепухина*, я, если уж не могу получить тотчас же прогонных денег, непременно должен снабдить моего пасынка подорожной, чтоб не было задержек в дороге. Имея честь почтительнейше изложить вашему высокоблагородию все сии обстоятельства, я осмеливаюсь покорнейше просить ваше высокоблагородие донести о сем деле его превосходительству, г. семипалатинскому военному губернатору, и исходатайствовать у его превосходительства подорожную по казенной надобности для доставления в Сибирский кадетский корпус Павла Исаева. Без нее я не могу распорядиться

* В доме Лепухина, тогда только что отстроенном, Достоевские и занимали квартиру.

доставлением его в Омск в первых числах августа, и он, не явившись к сроку, может потерять право на поступление в корпус».*

К вдове Марии Дмитриевне Федор Михайлович был неравнодушен... Дело клонилось к браку, но, прежде чем пожениться, они оба достаточно измучились от ревности (он в Семипалатинске, она в Кузнецке). Любовь эта для Достоевского была источником и нового для него счастья и... сильнейших страданий... Федор Михайлович почему-то долгое время считал действительным женихом Марии Дмитриевны другое лицо... Мучился, но все-таки жалел ее и искренно заботился о ней. В письме к неизменному А. Е. Врангелю, 21-го июля 1856 г., он говорил:

«...Подумайте: в ее положении такая сумма целый капитал**, а в теперешнем положении ее — спасенье, единственный выход. Я трепещу, чтоб она, не дождавшись этих денег, не вышла замуж. Тогда, пожалуй (как я полагаю), ей еще откажут в нем. У него ничего нет, у ней тоже. Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся! И вот опять для нее бедность, опять страдание...»

Вскоре после этого все выясняется и улаживается окончательно, о чем Достоевский восторженно пишет (21-го декабря 1856 г.) Врангелю:

«...Я до масленицы женюсь — вы знаете, на ком. Она же любит меня до сих пор... Она сказала мне: да. То, что я писал вам об ней летом, слишком мало имело влияния на ее привязанность ко мне. Она меня любит. Это я знаю наверное. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Еще летом, по письмам ее, я знал это. Мне было все открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б вы знали, что такое эта женщина! Я вам пишу „наверно“, что я женюсь...»

Спустя некоторое время после этого письма Достоевский взял 15-дневный отпуск и поехал в Кузнецк, где и женился 6-го февраля 1857 года***.

На возвратном пути в город Барнаул с Федором Михайловичем случился тяжелый припадок (эпилепсия), что серьезно озаботило его жену.

В Семипалатинске Достоевские заняли квартиру в доме почтальона Лепухина. Дом существует и теперь (недалеко от женской прогимназии), но хозяева его уже умерли.

Квартира состояла из четырех комнат: первая маленькая комната была столовой, рядом спальня, налево из первой комнаты гостиная — большая угловая комната, а из гостиной

* Это — точная копия с прошения. Прощение представляет собою типичнейший вид служебной бумаги офицера к своему начальству.

** Говорится о пособии (от казны в 285 р.) Исаевой как вдове чиновника, умершего на службе.

*** Письмо к Врангелю от 9 марта 1857 года.

налево дверь в кабинет. Меблированы комнаты были просто, но очень удобно: в гостиной диван, кресла и стулья были обиты тисненым дорогим ситцем, с красивыми букетами, перед диваном стоял стол, а возле кабинетной двери налево диванчик в виде французской буквы S и несколько маленьких столиков. У углового окна стояло кресло, на котором любил сидеть Федор Михайлович, и близ окна куст волкомерии в деревянной кадочке. На окнах и дверях висели занавески; в остальных комнатах также было убрано мило, просто и уютно*.

Прислугой у Достоевских был один денщик, по имени Василий, которого они отдавали учить кулинарному искусству; в продолжение всей военной службы Достоевского он был у них поваром, лакеем и кучером. Достоевские отзывались о нем как о человеке незаменимом. Во время болезни Федора Михайловича, когда с ним случались припадки эпилепсии, Василий ходил за ним, как за ребенком. После отъезда из Семипалатинска Достоевских Василий поступил к А. И. Гейбовичу, у которого прожил до 1865 года, почти ежедневно вспоминая о своих добрых господах Достоевских. Василий даже писал письма Достоевским в Тверь.

Федор Михайлович, несмотря на то, что жил очень скромно, часто нуждался в деньгах. Да и понятно: жалованье было незначительное, а литературным трудом стал зарабатывать гораздо позднее: долго не разрешали печатать, хотя давно уже было кое-что готово у него к печати. Жить же было надо, а обзаводиться пришлось, по словам самого Достоевского, начиная с рубашек...** Пришлось еще выкупать некоторые вещи (даже образа) жены, бывшие в закладе у дьячка Петра Вас. Хлынова, в доме которого Исаевы жили и были ему должны.

Чтобы поддерживать свое существование, Достоевский взял вперед под свой роман у Каткова 500 р.³, часто тормозил брата Михаила, который, нужно сказать, никогда не отказывал ему в деньгах, хотя и у самого с папиросной фабрикой были дела шаткие, перехватил у родственника Куманина — 600 рублей, и все это в счет будущих благ... На эти-то средства, совершенно ему не принадлежащие, Федор Михайлович перебивался, пока не получил (по разрешении печатать) за повесть для «Русского слова» от Кушелева 1000 р.⁴

Деньги Достоевский расходовал, кроме своих домашних нужд, очень умеренных, и на бедных. Содержал долгое время

* Это подлинные слова Зинаиды Артемьевны Сытиной (дочери Артемия Ивановича Гейбовича — офицера и, кажется, командира роты, где служил офицером Достоевский). С Гейбовичем и всей семьей его Достоевские были в дружеских отношениях, на что указывает письмо Достоевского Гейбовичу из Твери (23 октября 1859 г.), напечатанное в «Ист. вестн.» 1885 г., январь; в этой же книжке помещено несколько страниц о Достоевском З. А. Сытиной.

** Письмо Ф. М. Достоевского из Семипалатинска от 25 января 1857 г.

слепого старика-татарина с семейством. По словам З. А. Сытиной («Историч. вестник», 1885 г., январь), Мария Дмитриевна несколько раз ездила с ней отвозить месячную провизию и деньги этому несчастному старику-слепцу. Не отказывал и другим совершенно несчастным беднякам.

«У Федора Михайловича,— пишет З. А. Сытина в своих воспоминаниях о Достоевском,— было немало знакомых из разных слоев общества, и ко всем он был одинаково внимателен и ласков. Самый бедный человек, не имеющий никакого общественного положения, приходил к Достоевскому как к другу, высказывал ему свою нужду, свою печаль и уходил от него обласканный. Вообще для нас, сибиряков, Достоевский личность в высшей степени честная, светлая; таким я его помню, так я о нем слышала от моих отца и матери, и, наверно, таким же его помнят все знавшие его в Сибири»⁵.

У Федора Михайловича часто бывал вместе со своей женой солдат-поляк Нововойский, тихий, скромный, болезненный человек. Жена его была из простых. Достоевские были очень любезны с ними: угощали чаем, оставляли обедать. Федор Михайлович любил поговорить с Нововойским и всегда помогал им в материальном отношении.

Достоевский бывал у своих друзей и хороших знакомых, но большею частью проводил время дома за литературным трудом. Писал он много, просиживал ночи напролет.

Кстати могу привести один факт. Лет десять тому назад я слышал от кого-то из бывших квартирантов дома Лепухиных следующее. Стены дома были покрыты обоями. Всякий раз при оклейке новыми обоями старые обои не удалялись... А так и наклеивались новые на старые. С годами образовался толстый слой (бумажная кора), который, наконец, совершенно отстал от стены. Пришлось всю эту гадость оборвать... что и было сделано. Квартиранты заметили, что под первыми обоями были листы писчей бумаги, исписанные почерком, очень похожим на почерк Достоевского... Обратились к хозяйке Лепухиной. Эта довольно пожилая и разговорчивая женщина рассеяла всякие сомнения, сообщив квартирантам, что у нее от Федора Михайловича (которого нередко вспоминала с удовольствием, как хорошего господина квартиранта) было много разной писаной бумаги... Бумага эта ей пригодилась для домашнего обихода: то кринки с молоком обвертывали, вместо покрышек, то вот стены оклеивали...

Сами собой напрашиваются вопросы: что это за рукописи? И как они попали в руки простодушной хозяйки? Может быть, их дал ей сам Достоевский, как ненужные ему; но, может быть, что случайно оставил их при отъезде из Семипалатинска... Трудно правильно предположить. Во всяком случае эти рукописи могли бы иметь и другое применение... Но прошлого не воротишь.

Основываясь на письмах Достоевского к разным лицам и по некоторым другим точным данным, можно смело и безошибочно установить, что в Семипалатинске Федор Михайловичем были написаны: «Село Степанчиково» для «Русского вестника» и «Дядюшкин сон» для «Русского слова». Здесь же обдумывались, вероятно, и «Записки из Мертвого дома».

О времени разрешения печатать произведения Достоевского точного указания мне нигде найти не удалось. Из двух же писем к брату Михаилу видно следующее. Из первого (от 1 апреля 1858 г.), что Ф. М. недоволен появлением в печати своей «Детской сказки»*, помещенной в августовской книжке «Отечественных записок», так как он предполагал ее капитально переделать. Из второго письма (11 апреля 1858 г.), что Ф. М. получил от издателя «Русского слова» Кушелева 1000 рублей с «похвалами» и ожидает книжку «Русского слова», где помещена повесть «Дядюшкин сон». В этом же письме Ф. М. сообщает: 1) об отсылке Каткову для «Русского вестн.» романа, несравненно лучшего, чем «Дядюшкин сон», и 2) о надежде видеть этот роман в августовской или сентябрьской книжке. Несомненно говорится о «Селе Степанчикове».

Вывод такой — Достоевский, после своей беды: ареста, крепости, каторги и солдатчины, начал вновь печатать свои произведения в 1858 году, т. е., когда жил и служил в Семипалатинске.

В том же 1858 году, государем Александром II Достоевскому было возвращено потомственное дворянское достоинство.

18 марта 1859 года, благодаря ходатайству генерал-адъютанта Э. И. Тотлебена, состоялся высочайший приказ об увольнении в отставку по болезни прапорщика Достоевского с награждением следующим чином**.

19 мая того же года командиром 2-й бригады было получено от начальника 24-й пехотной дивизии (из г. Тобольска) предписание от 8 мая за № 2251. Это предписание сохранилось в архиве штаба. Вот содержание этой бумаги.

«Дежурный генерал главного штаба его императорского величества 27 марта за № 318 уведомил, что высочайшим приказом, в 18 день минувшего марта состоявшимся, прапорщик Сибирского линейного № 7-го батальона, из политических преступников, Достоевский уволен за болезнь от службы с награждением следующим чином.

* «Детская сказка» была написана или до ареста или, вернее, в крепости, до ссылки⁶. Не о ней ли Ф. М. говорил Пальму, в день казни, на эшафоте?

** Из приказов в Семипалатинске удалось найти только приказ по отделному сибирскому корпусу от 29 апреля 1859 г., № 46, где говорится: «Высочайшим его императорского величества приказом, последовавшим в 18 день марта, увольняется от службы сибирского линейного батальона № 7-го прапорщик Достоевский, за болезнь, подпоручиком».

К сему свиты его величества генерал-майор Герштенцвейг присовокупил, что об учреждении за подпоручиком Достоевским секретного надзора, по избранному им месту жительства в городе Твери, и о воспреещении ему въезда в губернии С.-Петербургскую и Московскую, вместе с сим сообщено министру внутренних дел и управляющему III Отделением собственной его императорского величества канцелярии.

Вследствие отзыва господина начальника штаба отдельного Сибирского корпуса, от 28 минувшего апреля, № 2586, имею честь уведомить ваше превосходительство для сведения. Подписано: начальник дивизии генерал-лейтенант Домете⁷ и начальник дивизионного штаба, подполковник Бабков».

В этой официальной бумаге говорится: «по избранному им месту жительства в городе Твери...» В действительности же Достоевский в своем прошении об отставке изъявил желание жить в Москве*, но ему указали (без всякого со стороны его желания) место жительства в Твери.

30 июля 1859 года Достоевскому был выдан временный билет на проезд до г. Твери.

Вскоре после этого он и уехал из Семипалатинска.

* Изъявлять желание жить в столицах Достоевский, конечно, не имел права: ему с грехом пополам разрешено было с выходом в отставку жить в Европейской России.

Эта и последующие две работы, публикуемые в настоящем издании, принадлежат перу священника, одного из крупных исследователей семипалатинского периода жизни Достоевского и пропагандиста его творчества в Казахстане Бориса Георгиевича Герасимова (1872—1934), награжденного за научные исследования в 1925 г. золотой медалью Центрального совета Географического общества (см. о нем: М. К. Жунусова. Исследователь семипалатинского периода жизни Ф. М. Достоевского Б. Г. Герасимов//Достоевский и современность (Материалы Достоевских чтений). Семипалатинск, 1989. С. 91—94).

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

28 января исполнилось 38 лет со дня смерти величайшего русского писателя Достоевского, глубокого провидца распада психологии русского интеллигентства, нарисовавшего в «Бесах» образ разложения нашей государственности и общественности.

Гений Достоевского преломил, как в зеркале, переживания нашей русской мысли до воплощения ее в уродливых формах крайних течений.

Большевизм, как болезнь политического организма России, был предсказан Достоевским и охарактеризован с беспощадной последовательностью.

Для семипалатинцев Достоевский интересен еще и как обитатель нашего города, и увлечение о. Бориса Герасимова мощной личностью Достоевского, в связи с пребыванием писателя в нашем крае, весьма понятно. О. Герасимову нужно отдать должную справедливость.

В прочитанной им 28 января ст. ст. в думском зале лекции не только была нарисована живая личность великого психолога-писателя, но и сообщены были новые данные о его жизни и обстановке его деятельности.

Достоевский прибыл в Семипалатинск 2 марта 1854 г., непосредственно после отбытия каторги в Омске.

Он был зачислен в Сибирский батальон, № 7-й, солдатом. В январе 1856 г. его произвели в унтер-офицеры и позволили ему жить на частной квартире. Писатель поселился в доме Пальшина. 15 октября 1856 г. Достоевского произвели в прапорщики.

Еще будучи солдатом, Достоевский посещал квартиру своего батальонного командира Белихова, из кантонистов, человека прямодушного и простого. Достоевский читал своему начальнику газеты и журналы и, видимо, пользовался уважением. Тут же он познакомился с интендантским полковником Хамендовским¹ и горным инженером Ковригиным.

Это были весьма просвещенные, передовые люди своего времени.

В числе близко знакомых людей у Достоевского был и ссыльный поляк Ордынский. Он отбыл в Усть-Каменогорске 4 года каторги и служил солдатом в Копале. По отбытии же наказания Ордынский поселился в Семипалатинске, где заведовал провиантскими магазинами.

Достоевский был репетитором в семье Мельчаковых. Он репетировал девочку по арифметике².

О. Герасимов беседовал с ученицей Достоевского. По ее словам, ее учитель был терпелив, но и настойчив. Занятия имели успех, несмотря на неспособности ученицы к математике. Особенно часто Достоевский бывал у чиновника особых поручений Исаева, безнадёжного алкоголика, к жене которого, Марии Дмитриевне, он страстно привязался.

Это была большая любовь. Роман Достоевского шел не на убыль, а все более и более осложнялся, причиняя мучение и той и другой стороне.

Когда же Исаевы переехали на жительство в Кузнецк, Достоевский сильно затосковал. Положение приняло такой оборот, что друг Достоевского, барон Врангель, порешил устроить для влюбленных свидание. Для этого к Марии Дмитриевне было написано письмо, чтобы она в определенное время приехала в Змеиногорск, куда надлежало приехать и Достоевскому.

Однако ж на пути к свиданию оказалось много непреодолимых препятствий.

Начать с того, что Достоевского из Семипалатинска не выпускали. Для того чтобы обойти это препятствие, друзья Достоевского (Врангель и врач Ламотт, ссыльный поляк, студент Виленского университета) устроили мистификацию³.

Известно, что Достоевский страдал падучей. И вот друзья его объявили, что у него сильный припадок. Квартиру от непрошенных посетителей заперли, окошко занавесили и т. д.

Пользуясь таким обманом официального мира, Достоевский выехал в Змеиногорск.

Увы! Марии Дмитриевны там не было. Она прислала письмо, в котором известила, что выехать не могла по двум причинам: денег не было и муж был смертельно болен.

В таком угрюмом настроении воротился Достоевский в Семипалатинск.

По смерти Исаева Достоевский женился на Марии Дмитриевне, для чего брал двухнедельный отпуск, во время которого и ездил в Кузнецк для венчания. Таким образом, Достоевский сделался семейным человеком. У него был пасынок, которого он отдал учиться в сибирский кадетский корпус в Омске.

К моменту вступления в брак Достоевскому было 34 года, а его жене 29 лет⁴. Молодые, по приезде из Кузнецка, посели-

лись в д. почтальона Ляпухина⁵ (ныне д. Несговора, по Достоевской улице, называвшейся прежде Крепостной). На доме Ляпухина теперь прибита доска с надписью, что тут жил Достоевский.

Особенно близок был Достоевский с бароном Врангелем. Этот впоследствии известный путешественник по окончании образования определился в Семипалатинск стряпчим по уголовным делам (прокурором) при губернаторе.

Достоевский и Врангель, между прочим, жили на одной даче у казака Казакова (построившего казачью церковь).

Дача находилась за теперешним сумасшедшим домом, ближе к Иртышу, и была довольно примитивна. Крыша протекала, на полу были дыры, из которых появлялись ужи.

Хозяева дачи не обращали на них внимания и даже попиивали иногда молоком, и ужи делались смелее и смелее.

Однажды несколько барынь пришли навестить двух знаменитых отшельников. С криком и смехом ворвались они в дачную квартиру Достоевского и Врангеля.

Случилось, что в это время ужи пили молоко. Заслышав необычный шум и топот, ужи бросились врассыпную... и запутались в длинных модных шлейфах барынь, к великому испугу последних и смеху хозяев квартиры.

Вообще дачное место Достоевского и Врангеля, видимо, привлекло к себе внимание семипалатинского общества. Между прочим, представительницы прекрасного пола приходили туда для того, чтобы нарвать букеты садовых цветов. Оба знаменитых друга выписали из столиц цветочных семян и развели диковинный для семипалатинцев цветник (георгины, левкой и т. д.).

Достоевский особенно не любил пьяных.

Материальное положение его было не блестяще, но он все-таки занимался благотворительностью, и вместе со своими друзьями содержал на свои средства целую татарскую семью, отец которой был слеп.

Ученица Достоевского, по мужу Мамонтова (Мельчакова), видела, как Достоевский весело танцевал в д. городского судьи Пешехонова.

Вообще, несмотря на поднадзорность, Достоевский в Семипалатинске был везде принят и пользовался всеобщим вниманием.

Известно, что Достоевский в Семипалатинске написал «Село Степанчиково» и «Дядюшкин сон».

Кроме того, Врангель определенно говорит, что часть «Записок из Мертвого дома» тоже была написана здесь же.

В гостях, на вечеринках Достоевский особенно любил читать Пушкина, которого хорошо знал наизусть и от которого был всегда в восторге.

В особо хороших отношениях Достоевский был и с семьей Бахаревых⁶.

ДОСТОЕВСКИЙ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ *

[Статья первая]

В числе 23-х, приговоренных по делу петрашевцев, был Ф. М. Достоевский, получивший 8 лет каторги. Николай I сократил срок каторжного заключения Достоевскому до 4 лет с отдачей его потом в бессрочную солдатчину.

Знакомство Достоевского с Сибирью началось с Тобольска. Это был первый крупный этап подневольного сибирского путешествия писателя. В декабре 1849 года Достоевский выехал в ссылку. Перед отъездом Федор Михайлович получил свидание со старшим братом Михаилом Михайловичем и некоторыми друзьями. Сохранилось описание последнего прощания Достоевских, сделанное А. П. Милюковым.

«Смотря на прощание братьев Достоевских,— говорит Милюков,— всякий заметил бы, что из них страдает более тот, который остается. В глазах старшего брата стояли слезы, губы его дрожали, а Ф. М. был спокоен и утешал его: „И в каторге не звери, а люди, и может еще и лучше меня, может достойнее меня. Да мы еще увидимся, я надеюсь на это, я даже не сомневаюсь, что увидимся. А вы пишите, да, когда обживусь,— книгу присылайте; я напишу каких: ведь читать можно будет. А выйду из каторги — писать начну“¹.

Достоевский был отправлен в Сибирь в одном поезде с поэтом Дуровым и Ястржембским (помощник инспектора технологического института). Все были закованы в кандалы. В дороге Ф. М. явился настоящим «гением-утешителем» для Ястржембского, физически и морально измученного и восьмимесячным заключением в Алексеевском равелине и тяжелым путешествием в лютые сибирские морозы.

Сурово встретила Сибирь политических изгнанников. Иззябшие на сорокаградусном морозе, они мечтали согреться и отдохнуть в Тобольске. Действительность разрушила их иллюзии. Когда их, с холода, ввели в огромный зал Тобольской пересыльной тюрьмы, они увидели большую партию арестантов, которых готовили к отправке по разным острогам. Мужчины, женщины, дети были перемешаны вместе. Одним брили головы, других пригоняли к железному пруту, около которого должны были идти арестанты, заковывали в кандалы.

В канцелярии острога служили, в качестве писцов, арестанты в острожных халатах, с клеймами на лицах «К. А. Т.»,

* Настоящая статья написана одним из старожилов г. Семипалатинска.

с вырезанными ноздрями, с выжженными на лбу буквами «В. О. Р.».

Достоевский и его спутники обратились к зрителю с просьбой дать им самовар.

— А как же вы будете путешествовать по сибирским этапам? Нет у нас самовара! — отрезал зритель.

После обыска их поместили в грязной темной комнате с нарами, на которых валялись грязные, набитые сеном, тюфяки. Мечты о тепле рассеялись. Скорчившись от холода на полу, друзья обменивались полученными впечатлениями. Обстановка Тобольской каторги привела Ястржембского в отчаяние. К тому же путешественники поморозились и получили повреждения от кандалов. У Достоевского открылись золотушные раны.

Соседями петрашевцев за тонкой перегородкой оказались подследственные арестанты, среди которых в то время шла азартная карточная игра, сопровождавшаяся пьянством и угарной бранью. В уме Ястржембского созрело крайнее решение — покончить с собой, но Достоевский сумел успокоить друга, внушить ему какую-то надежду. Впрочем, самочувствие петрашевцев поднялось, когда они неожиданно получили сальную свечу, спички и горячий чай по распоряжению жандармского офицера, оказавшегося одним из знакомых Ястржембского и узнавшего о прибытии ссыльных в Тобольскую тюрьму.

Таково было первое знакомство Достоевского с Сибирью.

В Тобольском остроге петрашевцев посетили жены декабристов — Муравьева, Анненкова с дочерью и Фонвизина, доставившие Ф. М. и его друзьям хороший обед и вина. Об этом посещении Достоевский рассказывает в «Дневнике писателя» за 1873 год.

«Когда мы в Тобольске, в ожидании дальнейшей участи, сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили зрителя острога и устроили в квартире его свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалец, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь... Ни в чем неповинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час...»

Наступил день, когда Достоевского с Дуровым назначили для отправки в Омскую каторжную тюрьму. Ястржембский простился с ними. «Мы расстались, — говорит он, — с Достоевским и Дуровым в Тобольском остроге, поплакали, обнялись и больше уж не видались».

Тобольск сменился Омском. Это второй, более продолжительный этап сибирской жизни Достоевского. Четыре кошмарных года провел Ф. М. в «Омском Мертвом Доме». В периодической печати приходилось встречать разные указания о месте, где Достоевский отбывал каторжные работы: одни называли

Красноярск, другие — Усть-Каменогорск. Среди старожилов Усть-Каменогорска и до сих пор держится убеждение, что Достоевский нес наказание в Усть-Каменогорском военном отделении каторжной тюрьмы. Даже указывают камеру, где будто бы сидел Ф. М. На чем основано это предположение усть-каменогорцев, трудно сказать. Но достоверно известно, что ни в Красноярске, ни в каком-либо другом месте Сибири Достоевский не был, а отбывал свой срок наказания в Омской каторжной тюрьме.

Семипалатинск — третий и последний этап сибирской жизни Достоевского. Здесь каторга Достоевского должна была закончиться бессрочной солдатчиной. Как ни страшна была солдатская ляпка дореформенного, николаевского, казарменного режима, при котором считалось за правило: *девять забей, десятого выучи*, — переход к новому режиму Ф. М. встретил чуть не с восторгом. «Новая жизнь, воскресение из мертвых» (*Записки из Мертвого дома*) — вот как определил Достоевский по выходе из Омской каторги предстоявшую ему жизнь в Семипалатинске.

Его определили 2 марта 1854 года рядовым в 7-й Сибирский линейный батальон.

Достоевского больше всего обрадовала после каторги возможность уединения.

Жизнь Достоевского в Семипалатинске почти не освещена в литературе. Заслуживают внимания воспоминания Врангеля*. Есть несколько мелких заметок в разных периодических изданиях и — почти все.

Тем не менее на основании этих данных и того материала, который нам удалось собрать в Семипалатинске о Достоевском, мы попытаемся дать очерк жизни Ф. М. в этом городе.

Первые два года солдатской жизни в Семипалатинске явились для Ф. М. очень тяжелыми. Палочный режим заставлял быть бдительным. Приходилось напрягать все силы, чтобы выполнять суровые требования субординации. Надо было тянуться за другими, чтобы не отстать в службе. Все это отражалось на здоровье, которое было очень расшатано каторгой, обострившей эпилепсию Достоевского. Тем не менее через четыре месяца военщины Достоевский знал солдатское дело не хуже других, о чем он не без удовольствия сообщал в письме к старшему брату Михаилу Михайловичу.

Пребывание в казарме дало возможность Достоевскому сравнить солдатскую ляпку с каторгой, и это сравнение было не в пользу тюрьмы. Там Ф. М. считал себя заживо погребен-

* С.-Петербург, 1912 г. (Примеч. Б. Г. Герасимова).

ным. Отклики на кошмарную жизнь в Омске мы видим в письме Достоевского из Семипалатинска к младшему брату Андрею Михайловичу. «Что за ужасное это было время, друг мой, я не в состоянии тебе передать. Это было страдание невыразимое, бесконечное. Если б я написал тебе сто листов, то и тогда ты не имел бы представления о моей тогдашней жизни» (от 6 ноября 1854 г.).

Служба поглощала все время Достоевского. Ф. М. старался быть точным в исполнении своих обязанностей. Он выполнял все требования дисциплины, как бы ни были они суровы, нес караульную службу, почтительно относился к начальству, хотя бы это начальство было старше его всего на одну белую лычку на погоне (ефрейтор). Старые служаки батальона № 7 хорошо отзывались о Ф. М., вспоминая, как он предупредительно аккуратно при встречах с ними отдавал им положенную честь. «Ты иногда и не замечаешь Достоевского, а он между тем тянется с рукой»,— говорили сослуживцы Ф. М. по батальону.

Живя в казарме, Достоевский являлся невольным свидетелем того, какими суровыми мерами внедрялась дисциплина в солдатскую жизнь. Это положение Достоевского тягчалось тем обстоятельством, что батальон № 7 являлся беспокойным. В нем было много сосланных помещиками дворовых людей и так называемых наемщиков, нанявшихся за других отбывать солдатскую службу,— бесшабашный элемент, не особенно склонный к исполнению правил воинского устава. Все это поднимало настроение казармы. Налицо всегда были элементы брожения, недовольства, которое подавлялось беспощадно. Рост репрессии зависел от степени озлобленности солдат.

Возраст солдат был самый разнообразный: были старики, была и молодежь, немало из кантонистов. Один из последних, пермяк Кац, сданный в солдаты семнадцатилетним мальчиком, оказался соседом Достоевского по нарам. Ф. М. жалел Каца и всячески оберегал его от оскорблений казармы. Кац по окончании военной службы остался на постоянное жительство в Семипалатинске, занимался портняжничеством, имел дом и скончался лет 12 назад. Кац говорил нам, что его очень влекло к Достоевскому. «Всей душой я чувствовал, что вечно угрюмый и хмурый рядовой Достоевский бесконечно добрый человек, которого нельзя было не любить». Будучи портным, Кац заработал немного денег и завел самовар, за которым они и сидели с Достоевским в свободное время. Ф. М. отдыхал за самоваром. Чай являлся заметным дополнением к скромному солдатскому столу. Самовар наставлял и за молоком к чаю нередко ходил сам Ф. М. Проснется бывало Кац рано утром с твердым желанием поставить самовар и приготовить молоко—смотрит, самовар уже на столе, здесь же стоит кринка с молоком, амуниция вычищена.

Жена дьякона Хлынова, у которой Ф. М. брал молоко, говорила: «Помню, помню этого солдатишку; только какой-то чудной он был: то рядится и просит отпустить молоко подешевле, то вдвое дает дороже. Помню его, чудной он был, но хороший человек; недаром произвели его в офицеры; дрянь-то ведь не пустили бы в офицеры».

Ф. М. неоднократно видел палочную расправу над солдатами, но однажды ему и самому пришлось принять участие в наказании шпицрутенами одного провинившегося. Достоевский попал в «зеленую улицу», дожидаясь подхода преступника. По словам Каца, Ф. М. с невероятными усилиями заставил себя поднять палку и опустить очередной удар на спину преступника. В тот же день с Достоевским был тяжелый припадок падучей. Вообще первые два года солдатской службы потребовали от Достоевского большого напряжения сил и много унесли здоровья.

Что касается литературных работ Достоевского в этот период его жизни, то трудно допустить, чтобы Достоевский писал что-нибудь. Обстановка казармы слишком была неблагоприятна для каких-либо литературных занятий. Достоевский только поддерживал переписку с родными. Первое письмо Ф. М. из Семипалатинска помечено 30 июля 1854 г.

В январе 1856 г. Достоевский получает звание унтер-офицера. Достоевскому позволили переселиться из казармы на частную квартиру.

Первая частная квартира Ф. М. была в доме семипалатинского старожилы Пальшина. С хозяевами Достоевский был в дружеском общении. Квартира давала уединение и возможность литературных занятий. Надо полагать, что с этого момента Достоевский возобновил свои литературные работы, прерванные каторгой. Пальшины свидетельствовали, что Достоевский очень много времени отдавал чтению и письму, даже по ночам. В казарму Ф. М. должен был являться только на занятия и в экстренных случаях, когда за ним посылали. Посланных Достоевский оделял деньгами, табаком и угощал чаем, если они приходили к готовому самовару. Поэтому вестовые охотно ходили к Достоевскому с поручением от фельдфебеля или другого начальства.

В моменты хорошего настроения Ф. М. вспоминал в разговорах обстоятельства случившейся с ним в Петербурге катастрофы, показывал даже саван, в котором он стоял на эшафоте.

Достоевский давал уроки математики Мамонтовой (Мельчаковой). Мы застали еще в живых эту старушку. Она сообщила нам интересные сведения о занятиях с ней Ф. М. Мамонтова признавалась, что она была ученица ленивая, капризная и малоспособная, не всегда аккуратно выполняла требования своего учителя. Но Ф. М. был настойчив и всегда добивался желательных результатов. Нередко свою строптивую ученицу он оделял

конфетами. Занимался Достоевский с ученицей в шинели. Позднее выяснилось, что Ф. М. прикрывал шинелью недостатки своего костюма. Мамонтова вспоминала, что на уроках у нее Ф. М. сильно и долго кашлял,—видимо, каторга и казарма весьма повлияли на состояние здоровья писателя. Кроме квартиры Пальшина, Достоевскому приходилось жить и в других домах. Друг Достоевского, Врангель, дает следующее описание одной из таких квартир Ф. М.

«Хата Достоевского находилась в самом безотрадном месте. Кругом пустырь, сыпучий песок, ни куста, ни деревца. Изба была бревенчатая, древняя, скривившаяся на один бок, без фундамента, вросшая в землю, без единого окна наружу. У Достоевского была одна комната, довольно большая, но чрезвычайно низкая; в ней царствовал всегда полумрак. Бревенчатые стены были смазаны глиной и когда-то выбелены. Вдоль двух стен шла скамья. На стенах там и сям лубочные картины, засаленные и засиженные мухами. От входа у дверей стояла большая русская печь. За ней помещалась постель Ф. М-ча, столик и, вместо комода, простой дощатый ящик. Все это спальное помещение отделялось от прочего ситцевой перегородкой. За перегородкой в главном помещении стоял стол, маленькое в раме зеркальце. На окнах красовались горшки с геранью и были занавески, вероятно, когда-то красные. Вся комната была закопчена и так темна, что вечером с сальной свечой я еле мог читать (стеариновые свечи были тогда роскошью, а керосина не существовало). Как при таком освещении Ф. М. мог писать ночи напролет,—решительно не понимаю. Была еще приятная особенность его жилья: тараканы сотнями бегали по столу, стенам и кровати, а летом блохи не давали покою».

В октябре 1856 г. Ф. М. был произведен в офицеры — он получил чин прапорщика. С этого момента Достоевский уже официально входит в офицерскую среду. Командир седьмого батальона, подполковник Белихов, был большой оригинал. Будучи кантонистом, он дослужился до чина подполковника. Любил выпить и в обнимку с солдатами ходил по гостям. Был большой хлебосол и любил принимать гостей. Кончил Белихов плохо. Растратив казенные деньги, застрелился. Белихов выписывал газеты и журналы, но сам не любил читать их. Узнав, что ссыльный рядовой Достоевский образованный человек, он пригласил его к себе на квартиру, для чтения вслух почты. Нередко Белихов оставлял Достоевского обедать у себя. Здесь же Ф. М. познакомился с представителями местной интеллигенции, посещавшими батальонного командира.

Производство в офицеры расширило круг знакомства Достоевского. В это время он знакомится с Марией Дмитриевной Исаевой. Муж ее, Александр Иванович, был неисправимый алкоголик, допивавшийся до белой горячки. Жизнь с вечно пьяным мужем тяготила ее. Встретив в лице Достоевского обра-

зованного человека, к тому же явно интересовавшегося ею, Исаева постепенно сблизилась с Ф. М.

Близким другом Достоевского был «стряпчий по уголовным и гражданским делам», как тогда назывался прокурор, Александр Егорович Врангель. Родители Врангеля были знакомы с родителями Достоевского по Петербургу². Когда молодой Врангель получил назначение в Сибирь, родные Ф. М. послали с ним в Семипалатинск письма, деньги, посылку.

Встреча Врангеля с Ф. М. была теплая, хотя Врангель до этого времени не был лично знаком с Достоевским; знакомство перешло в дружбу. Врангель глубоко ценил высокие дарования своего друга и всячески ему протектировал. Между прочим, он ввел Ф. М. в дом губернатора Спиридонова, когда Достоевский был еще рядовым. Спиридонов, впрочем, высказал пожелание, чтобы Достоевский не приходил к нему в дом в солдатской шинели. Врангель, как аристократ, с большими связями в столице, держался независимо, совершенно не обращая внимания на семипалатинских чиновников, которых шокировала дружба прокурора со ссыльным солдатом. Дорожа дружбой с Ф. М., Врангель предложил ему переехать к нему на жительство. Он снял в аренду так называемый Казаковский сад, полуразвалившийся и с прогнившими полами домик, с садом и огородом, принадлежавший богатому семипалатинскому обывателю Казакову.

Особняк находился недалеко от Иртыша. В саду, при доме, протекал холодный ключ. Друзья занялись устройством своей дачи: развели цветник, огород, водоемы в саду наполнили живыми стерлядями (был даже осетрик), развели кур, достали диких поросят и ручного волчонка. Под полом дачи оказались ужи, которых друзья приручили, наливая им в комнате молоко. Эти ужи однажды не на шутку перепугали семипалатинских дам, и с тех пор дача была объявлена «заколдованной».

В тихие летние ночи друзья ложились на траву около дачи и вели бесконечные разговоры. Достоевский любил декламировать Пушкина. Любимыми стихами его были «Пир Клеопатры» (*Египетские ночи*). Декламация Ф. М., по словам Врангеля, была великолепна. Иногда Ф. М., шагая по комнате, с большим воодушевлением читал отрывки из задуманной им повести «Дядюшкин сон».

Вместе с Врангелем Достоевский часто бывал у Исаевых. Но вот Исаев получил служебный перевод в г. Кузнецк, Томской губ. С большой грустью проводил Достоевский Марию Дмитриевну. Самого Исаева, замертво пьяного, положили в экипаж. С отъездом Исаевой Ф. М. затосковал. Он заметно худел, перестал даже писать «Записки из Мертвого дома». Ухудшение в состоянии здоровья Ф. М. не на шутку встревожило Врангеля. Тогда он решил устроить свидание Достоевского с Исаевой в Змеиногорском руднике, находящемся между

Семипалатинском и Кузнецком. Врангель сообщил свой план Ф. М., который ухватился за него с радостью. План состоял в следующем: объявить Достоевского больным и в это время тайно съездить в Змеиногорск на свидание с Исаевой, которой предварительно послать письмо.

Чтобы обеспечить успех, решено было посвятить в заговор врача Лямотта. В архиве бывшего областного правления мы встретили некоторые сведения о Лямотте: он студент Виленского университета. За принадлежность к какой-то тайной политической организации Лямотт был послан в семипалатинский линейный батальон, где исполнял обязанности врача. Врангель называл Лямотта «человеком добрейшей души». Лямотт с восторгом принял участие в заговоре друзей. По городу распустили слух, что Достоевский, в припадке падучей, сильно расшибся и нуждается в полном покое. Для большей иллюзии ставни окон квартиры Ф. М. были наглухо закрыты. А в это время тройка несла друзей прямой дорогой через Бель-Ягач мимо Локтя, к Змеиногорску. Но здесь Достоевского ждало горькое разочарование. Вместо Исаевой друзья получили только письмо Марии Дмитриевны, извещавшей о том, что муж сильно болен и она не может оставить его одного; кроме того, она сидит без денег и ей не на что было бы выехать в Змеиногорск.

Через три года жизни в Семипалатинске Врангель выехал в Петербург. Отъезд его глубоко огорчил Достоевского. Ф. М. искренно любил своего друга, о котором дал, в письме к Аполлону Майкову, восторженный отзыв. Некоторым утешением для Достоевского явилась поездка его с П. П. Семеновым-Тянь-Шаньским, исследователем Туркестана, в рудники Локтевский, Змеиногорский и г. Барнаул, который являлся центром Алтайского Горного Округа.

Посетил Ф. М. в Семипалатинске, проездом в Кашгарию, Чокан Валиханов, блестящий представитель киргизской степи, впоследствии вывезший из Центральной Азии богатейший материал о таинственной тогда Кашгарии, составивший большой том «Записок Центрального Русского Географического Общества». К сожалению, Чокан умер от чахотки. Могила его находится в Лепсинском уезде, Джетысуйской (Семиреченской) губ. Достоевский был знаком с Чоканом еще в Петербурге³.

В числе знакомых Достоевского считался городской судья Пешехонов. Это был замечательный хлебосол, двери дома которого были открыты для всех желающих.

Вечера в доме Пешехонова проходили очень весело. Ф. М. довольно часто посещал их, принимая участие в играх и танцах молодежи. На вечерах в доме Пешехонова было настоящее «разливное море». «Э, друг! Если хочешь быть готовым, иди к Пешехонову»,— говорил Ф. М. кому-нибудь из своих знакомых. Но пьяных Достоевский не выносил. «Кто пьет до потери

в себе человеческого образа, тот не уважает ни в себе, ни в других человеческого достоинства»,— говорил он. Достоевский, по-видимому, не прочь был принять участие и в карточной игре.

Довольно часто Достоевский бывал в доме ссыльного поляка Карла Ордынского, отбывшего 4-летнюю каторгу в Усть-Каме-ногорской военно-каторжной тюрьме и солдатчину в Семи-речье и обосновавшегося потом в Семипалатинске, где Ордынский, к моменту прибытия Достоевского в Семипалатинск, уже состоял на государственной службе в звании смотрителя провиантских магазинов. В доме Ордынского Достоевский много писал, даже по ночам.

Между тем переведенный в Кузнецк Исаев окончательно спился, заболел и умер. Глубокое сердечное влечение, которое Ф. М. чувствовал к Исаевой, закончилось браком Достоевского на Марии Дмитриевне.

Достоевский взял отпуск, отправился в Кузнецк и повенчался на вдове Исаевой 6 февраля 1857 г. Предварительно от батальонного командира, подполковника Белихова, на имя причта Кузнецкой церкви поступило следующее отношение от 1 февраля 1857 г.

«Прапорщик вверенного мне батальона Достоевский сговорил за себя в законное супружество проживающую в г. Кузнецке жену умершего заседателя по корчемной части, коллежского секретаря Александра Исаева, Марию Дмитриевну, имеющую от роду 29 лет, почему покорнейше прошу Священно-Церковно-Служителей, ежели со стороны невесты не будет предстоять законных препятствий, то г. Достоевского свенчать, от роду он имеет 34 года, холост, как он, так и невеста вероисповедания православного, г. Достоевский у исповеди и св. причастия ежегодно бывал, при чем прилагаю подписку невесты и свидетельство о смерти мужа ее,— по свенчании же не оставить меня уведомить».

По возвращении из Кузнецка Достоевские поселились в доме Лепухина, по Крепостной улице. Обстановка квартиры была скромная, но уютная, способствовавшая литературным занятиям Ф. М. В материальном отношении Достоевский постоянно чувствовал затруднение. Оно увеличилось с женитьбой Ф. М. Приходилось всем обзаводиться, начиная с белья. Маленького офицерского жалованья не хватало, и Достоевский принужден был пополнять свой бюджет займами. Временами Ф. М. помогал его брат, Михаил Михайлович, имевший папир-сую фабрику. Но фабрика сгорела, и помощь прекратилась, так как брат сам оказался в положении нуждающегося.

В счет будущих литературных работ Достоевский получил от Каткова аванс в 500 рублей. Семейные заботы осложнились заботами об определении Павла Исаева, сына Исаевых, в учебное заведение. В архиве бывшего Семипалатинского областного

правления найдено написанное «бисерным» * почерком Достоевского прошение, на имя командира батальона Белихова, об исходатайствовании перед властью подорожной для Павла Исаева, которого Достоевский предполагал определить в Омский кадетский корпус. Простение извлечено из архива и помещено в музей Семипалатинского отдела Русск. Географического Общества.

Семипалатинская глушь удручающе действовала на писателя. Семипалатинск времен Достоевского походил скорее на большое село с населением в 5—6 тысяч человек. На весь город только 10—15 человек выписывали газеты, да и те плохо читались. Среди чиновников процветало взяточничество. Сплетни были любимым занятием семипалатинских обывателей. Не мудрено, что Достоевскому хотелось поскорее выбраться из Семипалатинска. Как о счастье, он мечтал выйти в отставку и поступить на гражданскую службу в Барнаул, хотя бы чиновником XIV класса, чтобы получить возможность беспрепятственно печатать свои произведения. Имя Достоевского было в то время нецензурно в печати. Желая возможно скорее видеть в печати свои литературные работы, Ф. М. даже предложил Врангелю подписываться под своими произведениями, на что Врангель, естественно, не согласился.

В судьбе Достоевского приняли участие его товарищи по инженерному училищу: известный генерал Тотлебен, принц Ольденбургский и позднее Врангель.

В 1858 г. Достоевский подал в отставку и с нетерпением ожидал результатов своего ходатайства, указав местом своего жительства Москву. О тогдашнем его настроении свидетельствует следующее его письмо к некоему Е. от 12 декабря 1858 г.: «Каждый день и час жду решения судьбы моей и не дождусь. Вы не поверите, как это тошно. Я подал в отставку, упомянув в моей просьбе, что жительство буду иметь в Москве. Моя отставка пошла, но до сих пор о ней ни слуху, ни духу. Просился я в отставку по болезни (падучей). Живу в Семипалатинске, который надоел мне досмерти; жизнь в нем болезненно мучит меня. Даже самые занятия литературой сделались для меня не отдыхом, не облегчением, а мукой. Во всем виновата моя обстановка и болезненное положение мое». Еще раньше, желая несколько поправить свое расстроенное здоровье, Достоевский взял в мае 1857 г. двухмесячный отпуск и выехал в казачий поселок Озерки, в 16 верстах от города.

Старания друзей Достоевского увенчались успехом. 18 марта 1859 г. состоялся приказ об увольнении Достоевского по болезни в отставку в чине подпоручика. Ф. М-чу указано было жить в Твери, с учреждением за ним секретного надзора. За время

* «Бисерным» почерк Достоевского назвал Григорович. (Примеч. Б. Г. Герасимова).

жизни Достоевского в Семипалатинске он находился под надзором. В архивном бюро областного правления нам удалось найти любопытный документ, касающийся писателя. Когда Достоевский, находившийся под надзором полиции, получил офицерский чин, полицейская власть обратилась к губернатору с просьбой о разъяснении, следует ли продолжать надзор за Достоевским ввиду производства его в офицеры? Последовало разъяснение о продолжении наблюдения. Таким образом, офицерское звание не спасло Достоевского от надзора, который велся за ним по двум ведомствам: военному и гражданскому. Впредь до получения паспорта Достоевскому был выдан временный билет 30 июня 1859 года, с которым Ф. М. вскоре и выехал в Тверь, прожив в Семипалатинске с 1854—1859 г., более пяти лет.

Что же написал Достоевский, находясь в Семипалатинске? Можно установить следующее. Достоевским написаны повести: «Село Степанчиково» и «Дядюшкин сон», первая — для «Русского Вестника» и вторая — для «Русского Слова». Издатель «Русского Слова» Кушелев с восторгом принял повесть «Дядюшкин сон» и прислал Достоевскому в Семипалатинск 1000 руб.

Печатание произведений Достоевского началось в 1858 г. Затем, не может быть никакого сомнения в том, что под живым впечатлением пройденной каторги, оставившей в душе Достоевского неизгладимые образы, Ф. М. писал в Семипалатинске знаменитые «Записки из Мертвого дома». По крайней мере, Врангель говорит, что, тоскуя по случаю отъезда Исаевой в Кузнецк, Ф. М. «даже бросил свои „Записки из Мертвого дома“, над которыми работал так недавно с таким увлечением». Правда, в письме Ф. М-ча к брату Михаилу Михайловичу из Твери, от 15 октября 1859 г., Ф. М. сообщает, что приступить к писанию «Мертвого дома» он намерен после 15 октября, «теперь же,— добавляет Ф. М.,— болят глаза и нельзя при свечах заниматься». Очевидно, в этом отрывке письма Достоевского нет противоречия с замечанием Врангеля. Достоевский приступил к описанию Омской каторги в Семипалатинске, а закончил, или обработал этот труд, уже в Европейской России.

К сибирским же произведениям Достоевского относятся: статья о России, письма об искусстве, сибирские стихи на европейские события в 1854 г. и десятки писем к родным и друзьям. Обе эти статьи, как самостоятельные, не значатся в произведениях Достоевского, предполагают, что они или затерялись или рассыпались в разных произведениях Ф. М-ча. В Семипалатинске же Достоевский обдумывал «Идиота». По отъезде Достоевских из Семипалатинска в Тверь, в квартире их, в доме Лепухина, стены квартиры оказались оклеенными рукописями Достоевского; часть рукописей пошла на крышку крынок

Лепухиной. Что это за рукописи? Не попали ли в их число потерявшиеся статьи писателя?

Остается еще один запутанный и в то же время чрезвычайно важный для выяснения влияния Сибири на творчество Достоевского вопрос: подвергался ли Достоевский физическому насилию в Омской каторге и Семипалатинской казарме? Мнения по этому вопросу расходятся. Одни утверждают, что Ф. М. был жертвой грубого насилия и в Омске и в Семипалатинске. Так, бывший каторжанин Рожновский в газете «Кавказ» говорит о двух наказаниях, которым подвергли Ф. М. в Омске: 1) за жалобу на то, что в арестантских щах был найден кусок грязной кошмы (войлока) и 2) за спасение Достоевским одного тонувшего в Иртыше, вопреки приказанию начальника *. В Семипалатинске пришлось слышать о следующем: среди офицерства был некто Веденяев, известный семипалатинским старожилам под именем Бурана. При экзекуциях солдат он строго следил за тем, чтобы преступникам не делалось никаких поблажек. Когда Достоевский в первый раз появился в казарме, Буран, указывая фельдфебелю на Достоевского, обронил:

— С каторги сей человек. Глядеть в оба и поблажки не давать.

Совет начальства был принят фельдфебелем к сведению. Однажды фельдфебель отдал какое-то приказание Ф. М.-чу. Фельдфебелю показалось, что рядовой Достоевский недостаточно быстро исполнил приказание. Тогда фельдфебель подошел к Ф. М.-чу и сильно ударил его по голове. Об этом случае Ф. М. будто бы вспоминал с величайшим негодованием (Скандин). Но с другой стороны, у нас есть категорическое заявление Врангеля о том, что все рассказы о физическом насилии над Достоевским чистейший вымысел. От самого Достоевского не осталось непосредственного сообщения о насилии над ним. Трудно допустить, чтобы Ф. М. умолчал об этом из-за какого-то ложного чувства — стыда. «Записки из Мертвого дома» обнажают такие язвы человеческой души, что вряд ли бы Ф. М. стал умалчивать о расправе над ним, если бы таковая была.

Итак, почти после десятилетнего пребывания в Сибири, Достоевский вернулся в Европейскую Россию. Какая же у него осталась память о Сибири? Какие воспоминания о ней вывез Ф. М.? Ответом могут служить следующие строки из письма Ф. М.-ча к Врангелю от 22 сентября 1859 г., когда он ожидал приезда Врангеля в Тверь: «Поговорим о старом, когда было так хорошо, о Сибири, которая мне теперь стала мила».

* К. Кеннян. «Сибирь и ссылка», Т. I, 1906 г., стр. 113—114. (Примеч. Б. Г. Герасимова) ⁴.

В романе «Униженные и оскорбленные» мы также видим отражение сочувственного отношения Достоевского к Сибири в словах одного из действующих лиц — Ивана Петровича, обращенных к Анне Андреевне: «Полно-те, Анна Андреевна, в Сибири совсем не так дурно, как кажется». Один из друзей Достоевского, Милюков, говорит, что «Достоевский никогда не жаловался на свою судьбу. Достоевский как будто бы был даже благодарен судьбе, которая дала ему возможность в ссылке не только хорошо узнать русского человека, но вместе с тем и лучше понять самого себя». В «Идиоте», устами своего героя, князя Мышкина, в котором заметны многие черты самого Достоевского, Ф. М. говорит: «Мне показалось, что и в тюрьме можно огромную жизнь найти». Находясь в каторге, в обществе товарищей, покрытых отвратительной корой преступлений, Достоевский иногда встречал в них «черты самого утонченного развития душевного: думаешь, что это зверь,— продолжает Достоевский,— а не человек... и вдруг приходит случайная минута, в которую душа его невольным порывом открывается наружу, и вы видите в ней такое богатство, чувство, сердце, такое яркое понимание и собственного и чужого страдания, что у вас как бы глаза открываются, и в первую минуту даже не верится тому, что вы сами увидели и услышали» (*Записки из Мертвого дома*).

В 1911 г. исполнилось 30-летие со дня смерти Ф. М. Достоевского. Вспомнили о нем и в Семипалатинске. Семипалатинский Отдел Российск. Географического Общества обратился в Городскую Думу с ходатайством о наименовании одной из улиц в честь Достоевского и о прибитии к дому Лепухина, бывшей квартиры Ф. М.-ча, мраморной доски с надписью о том, что в этом доме жил Достоевский. Дума удовлетворила ходатайство общества, переименовав Крепостную улицу в улицу имени Достоевского (по этой именно улице стоит домик Достоевского), к дому Лепухина была прибита мраморная доска. Географический Отдел, кроме того, взял на себя инициативу сбора материалов о пребывании Достоевского в Семипалатинске, устраивал о нем лекции и т. д. В 1921 г. состоялось торжественное заседание Географического Отдела, продолжавшееся два вечера (12 и 13 ноября) по случаю столетия со дня рождения писателя. Достоевскому посвящено было 10 докладов. Отделом изготовлены фотографии как самого Ф. М.-ча, относящиеся к его пребыванию в Семипалатинске (1858 г.), так и тех зданий (казарма, квартира его и др.), которые имели то или иное отношение к личности Достоевского. Театр при Семипалатинском доме заключения назван театром имени Ф. М. Достоевского.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ *

[Статья вторая]

М. Д. Исаева

Ф. М. Достоевский, как известно, по окончании четырехгодичных каторжных работ в Омской тюрьме, был сдан в солдаты в Семипалатинский № 7 сибирский линейный батальон, в котором и пробыл с 2 марта 1854 г. по 30 июля 1859 г., сначала рядовым, потом унтер-офицером и, наконец, прапорщиком. Проживая в Семипалатинске, Достоевский завел связи и знакомства. Более всего судьба связала его с семейством Исаевых. Мария Дмитриевна Исаева оказалась в центре внимания Федора Михайловича и сыграла в его жизни большую роль. Судьба ее оказалась тесно связанной с судьбой великого писателя: она стала женой Федора Михайловича. В настоящей статье мы намерены дать картину взаимных отношений этих двух лиц.

По сообщению барона Врангеля, Мария Дмитриевна Исаева была дочь директора Астраханской мужской гимназии **1. Она вышла замуж за учителя той же гимназии — Александра Ивановича Исаева, очутившегося потом на службе в Семипалатинске в звании чиновника по особым делам при военном губернаторе по корчемной части. Исаев был добрый, скромный и хороший человек, но страдал ужасным запоем, который, вероятно, и привел его из Астрахани в Семипалатинск. Жена Исаева — Мария Дмитриевна была образованная женщина, знала даже иностранные языки. Блондинка, среднего роста, довольно красивая, страстная и экзальтированная, но с подозрительным румянцем на лице, она сразу же привлекла внимание Достоевского.

Несмотря на то, что Семипалатинск времен Достоевского был страшным захолустьем, имя Федора Михайловича, как талантливого писателя, уже было знакомо некоторым представителям городского интеллигентного общества, в том числе и М. Д. Исаевой. Кроме того, некоторые интеллигентные дамы приняли участие в судьбе Достоевского, как потерпевшего политического, и старались, чем только можно, облегчить жизнь Федора Михайловича. Ближе других дам к Достоевскому стали Степанова, жена ротного командира, поэтесса, дававшая Достоевскому для прочтения и поправок свои стихи, и Исаева.

* См. «Сиб. Огни» № 4 за 1924 г.

** Врангель. «Воспоминания о Ф. М. Достоевском в Сибири». СПб. 1912 г. (Здесь и далее *примеч. Б. Г. Герасимова*).

Последняя относилась к Достоевскому ласково и жалела его. Но привязанности к нему она, по крайней мере в первую пору знакомства с Федором Михайловичем, не чувствовала. Несмотря на всю экспансивность своей натуры, Исаева не закрывала глаза на то, что Достоевский — эпилептик, человек «без будущности». Это чувство сострадания к себе со стороны Исаевой Достоевский принял за любовь и, со своей стороны, влюбился в Марию Дмитриевну горячо и страстно.

В разговорах со своим другом, стряпчим по уголовным и гражданским делам в Семипалатинске, бароном А. Е. Врангелем, Ф. М. отзывался об Исаевой восторженно. Он часто бывал в квартире Исаевых и всегда возвращался домой в экстазе, очарованный Марией Дмитриевной. Каждую лишнюю минуту от службы он старался провести в доме Исаевых.

Знакомство Исаевой с Достоевским, конечно, не могло укрыться от взоров семипалатинских дам из чиновного мира, и Мария Дмитриевна явилась предметом злословия со стороны местных обывательниц. Они не могли понять, для чего нужно было Исаевой возиться с большим и ссыльным солдатом. Мария Дмитриевна по своему умственному развитию стояла неизмеримо выше прочих городских дам, с которыми у ней мало было общего, а экспансивность Исаевой шокировала дам; все это, конечно, не создавало почвы для сближения обеих сторон. Дружба же Исаевой с Достоевским еще больше дала дамам материала для пересуд и сплетен по адресу Марии Дмитриевны. Последняя знала об этих сплетнях и, не обращая на них внимания, держалась с достоинством.

Исаева умела поддерживать в обществе занимательный разговор, была интересной собеседницей и не давала скучать публике.

Глубокая любовь, которую чувствовал Федор Михайлович к Исаевой, по-видимому, не могла не отразиться и на Марии Дмитриевне, и ее дружба к Федору Михайловичу постепенно стала переходить в чувство теплой привязанности к писателю... К моменту отъезда Исаевых из Семипалатинска уже и сама Мария Дмитриевна была захвачена своим чувством к Федору Михайловичу.

Ревность и любовь почти всегда неразлучные спутницы. Это чувство испытал и Федор Михайлович. Когда Исаевых летом 1855 г. перевели в Кузнецк, и Мария Дмитриевна не протестовала против этого перевода, Федор Михайлович горько жаловался своему другу Врангелю:

— И ведь она согласна, не противоречит, вот что возмутительно! — вырвалось у Достоевского.

Исаева жалела своего больного мужа и не могла его бросить одного — вот причина согласия ее поездки в Кузнецк. Как бы то ни было, но отъезд Исаевой сильно поразил Федора

Михайловича. Он положительно пришел в отчаяние. Ему казалось, что с отъездом Исаевой у него все потеряно...

К довершению всего оказалось, что Исаевы в долгах и не в состоянии двинуться. Пришлось им распродать почти все свое имущество, чтобы расплатиться с долгами. На дорогу денег Исаевым дал Врангель. Федор Михайлович с ужасом ожидал момента расставанья с Марией Дмитриевной. Сцену их разлуки Врангель долго потом не мог забыть. Федор Михайлович при расставаньи с Исаевой рыдал, как ребенок. Врангель с Достоевским провожали Исаевых за город. Желая дать последнюю возможность Ф. М. побеседовать наедине и без лишних свидетелей проститься с Исаевой, Врангель напоил шампанским самого Исаева, и он был замертво положен в дорожный экипаж. В последний раз простились влюбленные: обнялись, поплакали, и дорожная пыль скоро скрыла из глаз Достоевского дорогой экипаж... Потрясенный разлукой, Достоевский, склонив голову, долго плакал... Друзья вернулись в город. Достоевский не спал всю ночь, метался по своей комнате и утром больной от страданий и бессоницы отправился на учење в лагерь. В течение целого дня он даже не прикоснулся к пище и только курил трубку за трубкой. Сильная тоска охватила Достоевского с отъездом Исаевой. Он похудел, здоровье его заметно стало расстраиваться, что немало беспокоило его друга Врангеля. Письма остались единственной связью Федора Михайловича с Исаевой, и в них он изливал свою душу. Достоевский забросил даже свои «Записки из Мертвого дома», над составлением которых работал перед этим с увлечением.

С дороги Исаева прислала Федору Михайловичу письмо, в котором сообщала, что она расстроена и больна и не знает, как Достоевский проводит без нее время и как располагаются его часы. Встревоженный известием о болезни Марии Дмитриевны, Достоевский отвечает ей горячим письмом, в котором тревога за ее здоровье мешается с восторгом перед любимой женщиной и тоской по ней:

«Благодарю вас беспредельно за ваше милое письмо с дороги, дорогой и незабвенный друг мой, Мария Дмитриевна! Судя по тому, как мне тяжело без вас, я сужу и о силе моей привязанности. Как-то вы приехали в Кузнецк и, чего боже сохрани, не случилось ли с вами чего дорогой? Вы писали, что вы расстроены и даже больны. Я до сих пор за вас в ужаснейшем страхе. Сколько хлопот, сколько неизбежных неприятностей, а тут еще и болезнь, да как это вынести! Только об вас и думаю. К тому же вы знаете, я мнителен; можете судить о моем беспокойстве. Боже мой! да достойна ли вас эта участь, эти хлопоты, эти дразги, вас, которая может служить украшением всякого общества? Распроклятая судьба! Жду с нетерпением вашего письма. Ах, кабы было с этою почтою! Вот уже

две недели, как я не знаю, куда деться от грусти. Если бы вы знали, до какой степени осиротел я здесь один! Право, это время похоже на то, как меня в первый раз арестовали в сорок девятом году и схоронили в тюрьме, оторвав от всего родного и милого. Я так к вам привык. На наше знакомство я никогда не смотрел, как на обыкновенное, а теперь, лишившись вас, о многом догадался по опыту. Я припоминаю, что я у вас был, как у себя дома. Вы — удивительная женщина, сердце удивительной, младенческой доброты. Если и были вспышки между нами, то, во-первых, я был неблагодарная , а во-вторых, вы сами больны, раздражены, обижены уже тем, что не ценило вас поганое общество, не понимало. Мне все напоминает разлуку. По вечерам, в сумерки, в те часы, когда, бывало, отправляюсь к вам, находит такая тоска, что будь я слезлив, я бы плакал, а вы верно бы, надо мной не посмеялись за это. Сердце мое всегда было такого свойства, что прирастает к тому, что мило, так что надо потом отрывать и кровянить его. Живу я теперь совсем один, деваться мне совершенно некуда: мне здесь все надоело. Такая пустота! Помните, как один раз нам удалось побывать в Казаковом саду*. Как свежо я все припомнил, придя теперь в сад! Там ничего не изменилось, и скамейка, на которой мы сидели, та же. . . И так стало грустно! Проводив вас за леса и расставшись с вами у той сосны (которую я заметил), мы возвратились с Врангелем рука в руку. Тут-то я почувствовал, что осиротел совершенно. Сев на дрожки, мы говорили — об вас в особенности. Дома я еще долго не спал, ходил по комнате, смотрел на занимающуюся зарю и припоминал весь этот год, прошедший для меня так незаметно, припомнил все, все, и грустно мне стало, когда раздумался о судьбе своей. Иногда хвораю. Заходил на вашу квартиру, взял плющ (он теперь со мной). С каким нетерпением я ждал татар извозчиков!** Наконец, извозчики вернулись. Ваше письмо, за которое благодарю вас несчетно, было для меня радостью. Я и татар расспрашивал. Они мне много рассказали. Как хвалили вас (все-то вас хвалят, Мария Дмитриевна!) Я до сих пор не придумаю, как вы доехали! Как мило вы написали письмо, Мария Дмитриевна! Именно такого письма я желал. Как мне было жаль, что вы хворали дорогой! Когда-то дождусь вашего письма! Я так беспокоюсь! Как-то вы доехали? Прощайте, незабвенная Мария Дмитриевна! Прощайте! Ведь увидимся, не правда ли? Пишите мне чаще и больше, пишите об Кузнецке, об новых людях, об себе как можно больше. Прощайте, прощайте, неужели не увидимся?» (письмо в Кузнецк, от 4 июня 1855 г.).

* Загородная дача Врангеля, с которым Достоевский жил одно время.

** Семипалатинские татары-возчики возили кладь в Кузнецк и оттуда должны были доставить Достоевскому письмо Исаевой.

Переписка с Кузнецком продолжалась. В ней Федор Михайлович находил отдых и утешение. Но этого для Достоевского было мало. Он чувствовал глубокую потребность видеть Марию Дмитриевну, беседовать с ней непосредственно...

Достоевский продолжал переписываться с Исаевой. Но вот переписка приняла тревожный характер. В письмах Исаевой к Достоевскому стала попадаться фамилия учителя Вергунова². Это был товарищ А. И. Исаева по училищу. Он занимался с сыном Исаевой, а Мария Дмитриевна давала ему уроки французского языка. Исаева тепло отзывалась о Вергунове, хотя это был совершенно бесцветный человек. Письма Исаевой внесли в жизнь Достоевского большую тревогу; по-видимому, Федор Михайлович испытывал чувство ревности. Потерять Марию Дмитриевну для Достоевского было страшно. Его мнительность рисовала ему всякие страхи. К этому прибавилась смерть Исаева, скончавшегося 4 августа 1855 г. от запоя. Мария Дмитриевна не отходила от постели мужа при его последних днях. Несколько дней подряд провела без сна, потеряв и аппетит. А. И. Исаев, чувствуя смерть, терзался от мысли, что оставляет семью свою без всяких средств к существованию. Перед смертью он все повторял жене: «Что будет с тобой, что будет с тобой!». Сын Марии Дмитриевны, Паша, обезумел от слез и горя. Смерть отца потрясла его ужасно. Мария Дмитриевна жестоко страдала и за мужа и за сына. Терзания покойного были основательны: Мария Дмитриевна осталась буквально без копейки денег. Правда, ей помогали знакомые, но это была временная помощь и небольшая.

Зная тяжелое положение вдовы Исаевой, кто-то из кузнецких обывателей прислал ей три рубля. «Нужда руку толкала принять и приняла... подаяние», — писала она потом Достоевскому.

На Федора Михайловича выпала большая забота — спасти Исаеву от нужды. Он в горячем письме к другу своему Врангелю просит его выслать Исаевой некоторую сумму. Сам посылает ей 25 руб., за что и получает от нее выговор, так как Исаева хорошо знала материальную необеспеченность Достоевского. Вместе с тем Федор Михайлович принял горячее участие в хлопотах о назначении вдове казенного пособия в 250 руб. серебром как жене чиновника, умершего на службе. К этому делу он привлек и влиятельного Врангеля. Но пока что Исаева осталась без средств и надеялась только на распродажу своего скромного имущества.

«Я вам покажу письмо (Исаевой), когда вы приедете, — пишет Федор Михайлович Врангелю. — Боже мой! Что это за женщина! Жаль, что вы ее так мало знаете. Желал бы от души, чтобы вам было в 10.000 раз веселее моего» (письмо от 23 августа 1855 г.).

На беду, деньги, посланные Исаевой Врангелем, не выдавались на кузнецком почтамте по формальным основаниям. Опять для Федора Михайловича тревога и хлопоты. Достоевский вообще попечение о вдове Исаевой и ее сыне Паше считал неотложной обязанностью, прямо целью жизни. Удрученный тяжелым положением Исаевой и занятый мыслью возможно лучше устроить Марию Дмитриевну, Достоевский даже прервал свою переписку с друзьями. Так, в письме к А. Майкову от 18 января 1856 г. Достоевский сообщает:

«Я не мог писать. Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и, наконец, посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив, я не мог работать. Потом грусть и горе посетили меня».

Кроме бедности Исаевой, Достоевского еще мучила мысль об отношениях между Исаевой и Вергуновым. Достоевский допускал трагический конец: возможность выхода Исаевой замуж за Вергунова. Он рвался в Кузнецк, искал необходимых для этой поездки 100 рублей и терзался ужасно. С другой стороны, если бы брак Исаевой с Вергуновым и состоялся, он не избавил бы Марию Дмитриевну от бедности, так как Вергунов ничего не имел. В отчаянии Федор Михайлович опять умоляет Врангеля о скорейшем исходатайствовании Исаевой казенного пособия, что дало бы ей возможность несколько передохнуть.

«Друг мой, добрый мой ангел! Если вы все еще продолжаете любить меня, то помогите, если можно, и в этом деле. Ради Бога справьтесь об участии **представления** (о выдаче казенного пособия.— Б. Г.); верно, у вас найдутся знакомые, которые вам помогут в этом, и люди с влиянием и весом. Нельзя ли так пошевелить это дело, чтобы оно не залежалось и разрешилось в пользу Марии Дмитриевны. Ангел мой! Не поленитесь, сделайте это ради Христа! Подумайте: в ее положении такая сумма — целый капитал, а в **теперешнем** положении ее — спасение, единственный выход. Я трепещу, чтоб она, не дождавшись этих денег, не вышла замуж. У него (Вергунова?) ничего нет, у ней тоже. Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся! И вот опять для нее бедность, опять страданье. За что же она, бедная, будет страдать и вечно страдать?» (письмо от 21 июля 1856 г.).

Но страхи Федора Михайловича потерять любимую женщину оказались преувеличенными. Исаева скоро разочаровалась в своей новой привязанности; Вергунов оказался не опасным соперником.

Переписка между Достоевским и Исаевой закончилась предложением, сделанным Федором Михайловичем Марии Дмитриевне и принятым последней. В радостях Достоевский пишет Врангелю:

«Теперь, друг мой, хочу объявить вам об одном важном для меня деле. Коротко и ясно: если не помешает одно обстоятельство, то я, до масляницы, женюсь — вы знаете, на ком. Она же любит меня до сих пор... Она сама сказала мне: да. Она меня любит. Это я знаю наверно. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Мне было все открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б вы знали, что такое эта женщина! Я вам пишу **наверно**, что я женюсь» (письмо от 21 декабря 1856 года).

Через месяц после этого письма Достоевский отправляет Врангелю другое, где сообщает:

«Да, друг мой незабвенный, судьба моя приходит к концу. Я вам писал последний раз, что Мария Дмитриевна согласилась быть моей женой. Отношения с Марией Дмитриевной занимали всего меня в последние два года. По крайней мере, **жил**, хоть страдал, да жил!» (письмо от 25 января 1857 г.).

Приготовления к свадьбе доставили Достоевскому много хлопот. Прежде всего — не было денег. С большим трудом удалось Достоевскому занять 600 рублей. Получив отпуск на 15 дней, Федор Михайлович выехал 27 января 1857 года в город Кузнецк и там повенчался с вдовой Исаевой в Богородской церкви 6 февраля. При возвращении в Семипалатинск с Федором Михайловичем случился в Барнауле сильнейший припадок эпилепсии, весьма напугавший Исаеву. Призванные врачи рекомендовали Федору Михайловичу немедленное и правильное лечение при полной свободе, иначе во время падучей больной может умереть от горловой спазмы.

По приезде в Семипалатинск заболела Мария Дмитриевна. Как на грех, на этот раз приехал бригадный командир делать смотр войскам, и Достоевскому приходилось проводить время на парадах, так что он даже не имел возможности ухаживать за больной женой. Немало времени отнимали хлопоты по устройству квартиры и необходимого хозяйства. Приходилось заводить все, начиная с белья. Мария Дмитриевна сумела устроить в семье полный уют. Обстановка была скромная, но вполне располагающая к работе, и Достоевский в это время много писал.

Говорят, что Вергунов, по выходе Исаевой замуж за Достоевского, приезжал в Семипалатинск, но Федор Михайлович сурово встретил Вергунова и предложил ему больше не показываться на глаза Достоевским...³

Волнения последних двух лет и настойчивые советы врачей не откладывать лечение падучей побудили Достоевского взять в конце мая 1857 г. двухмесячный отпуск и отправиться на отдых в поселок Озерки, в 16 верст. от Семипалатинска. Мария Дмитриевна настаивала на этом отдыхе самым решительным образом. Эпилепсия мужа и пугала и мучила ее.

Много пришлось понести Федору Михайловичу забот и о пасынке своем, Паше Исаевом, об определении которого в учебное заведение на казенный счет Достоевский много хлопотал.

Ухудшение в состоянии здоровья Федора Михайловича крайне беспокоило Марию Дмитриевну, на руках у которой оставался непристроенный в школу сын Павел. Вторичное вдовство пугало ее. Федор Михайлович видел ее тревогу и в свою очередь сам беспокоился. Военная служба тяготила Достоевского, и он подал прошение об увольнении его по болезни в отставку, что и состоялось 18 марта 1859 г. Достоевский хотел поселиться в Москве, но ему указали на Тверь, куда он и выехал с семьей в августе 1859 года. В письмах из Твери к Врангелю Достоевский сообщает о болезни Марии Дмитриевны — видимо, злой недуг (болезнь легких) давал себя чувствовать, Мария Дмитриевна постоянно хворала, нервничала и ревновала...

Тверь Достоевский находил хуже Семипалатинска в тысячу раз. Федор Михайлович стремился в центр. Только в январе 1860 г. Достоевскому разрешили поселиться в Петербурге, куда он и приехал один; Марию Дмитриевну, ввиду слабости ее легких, пришлось направить на жительство в более мягкий климат — в Москву. Здесь она продолжала таять и, наконец, 16 апреля 1864 г. скончалась от чахотки.

Был ли Федор Михайлович счастлив с Марией Дмитриевной? Ответом на этот вопрос может служить письмо Достоевского к Врангелю от 31 марта 1865 г. с посмертной характеристикой Марии Дмитриевны:

«О друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо. Все расскажу вам при свидании — теперь же скажу только то, что несмотря на то, что мы с ней были положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру), мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушная женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла, я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хорошо с нею, но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землей. И вот уже год, а чувство все то же, не уменьшается...»

Позднее Достоевский встретился с Врангелем в Копенгагене. Разговор, естественно, коснулся и Сибири. Поделились сибирскими воспоминаниями, вспомнили сибирских знакомых. Во время этого разговора Федор Михайлович произнес слова, которые, пожалуй, можно считать ответом на прожитую Достоевским с Исаевой жизнь.

— Будем всегда глубоко благодарны за те дни и часы счастья и ласки, которые дала нам любимая нами женщина. Не следует требовать от нее вечно жить и только думать о вас, это недостойный эгоизм, который надо уметь побороть.

Военная служба

Тяжесть каторги состояла не в цепях (кандалах), бритой голове или бубновом тузе на спине, а в постоянном вынужденном, насильственном, а потому и мучительном сожительстве с посторонними людьми, согнанными в тюрьму с разных концов России. Этот обязательный, неприятно тяжелый груз теперь для Достоевского отпадал, казарма снимала его с Федора Михайловича. Он мог уединяться, сколько ему было угодно, мог углубиться в себя, заглянуть в свою душу с большей уверенностью, чем на каторге, что его не потревожат. И очевидцы жизни Достоевского в семипалатинской казарме свидетельствуют, что Достоевский держался в казарме уединенно. Он чувствовал всю прелесть такой добровольной изолированности, о чем с восторгом писал своим родным. Но возможность уединения, конечно, не выкупала всей тяжести солдатской службы, которая давалась нелегко.

Прекрасной характеристикой его состояния служит другое письмо Федора Михайловича от 30 июля 1854 г. к старшему брату Михаилу Михайловичу:

«Приехал я сюда в марте месяце. Фрунтовой службы почти не знал ничего и между тем в июле месяце стоял на смотре наряду с другими и знал свое дело не хуже других. Как я уставал, и чего это мне стоило — другой вопрос; но мною доволен и слава Богу!.. Как ни чуждо все это тебе, но я думаю, ты поймешь, что солдатство не шутка, что солдатская жизнь со всеми обязанностями солдата не совсем-то легка для человека с таким здоровьем и с такой привычкой, или, лучше сказать, с таким полным ничегонезнанием в подобных занятиях. Чтоб приобрести этот навык, надо много трудов».

Достоевский был зачислен в 1 роту батальона, помещавшуюся в деревянной казарме, которая сгорела в 1881 г. Спали солдаты вповалку на нарах; далеко не всякий имел необходимый кусок кошмы. Питались отвратительной бурдой, изготавлявшейся солдатской кухней. Федор Михайлович не мог есть тошнотворную похлебку и сидел больше на чае. Испытывая большие материальные нехватки и весьма нуждаясь в деньгах, Достоевский не в состоянии был иметь дополнительное питание, недостаток которого Федор Михайлович восполнял усиленным чаепитием. К счастью, товарищ у Достоевского по солдатским нарам оказался обладателем самовара, и Федор Михайлович беспрепятственно отводил душу за стаканом чая.

Очевидцы его жизни в казарме говорят, что Достоевский сидел за самоваром подолгу и чаю пил много.

Ругань и взаимные оскорбления постоянно висели в казарме... Солдаты, прикрепленные к казарме, как арестанты к каторге, не имевшие между собой никакой связи, с проклятием тянули солдатскую ляжку. Батальон кипел, как в котле, доставляя начальству много хлопот и беспокойства. Дисциплина поддерживалась в казарме суровыми мерами. Зуботычины, толчки, кулачная расправа были обычными явлениями в казарме, создавая арестантскую обстановку. И все это происходило на глазах Федора Михайловича, доставляя ему большое страдание. В своей злобе солдаты не щадили никого, оскорбляя и мальчиков в солдатских мундирах, которые часто сдавались в службу из кантонистов. На каждом шагу в казарме звериный лик давал себя чувствовать. Федор Михайлович жалел мальчиков-солдат и нередко помогал им чем только можно, стараясь уберечь их от оскорблений казармы. При таких условиях жизни настроение Достоевского не могло быть высоким. И действительно, на лице Федора Михайловича редко можно было видеть улыбку. Сидел он в казарме обыкновенно молча, занятый своими думами. Может быть, первое время он не мог еще прийти в себя от пережитого в Омске. Может быть, образы каторги неотступно преследовали его, заставляя в воспоминаниях переживать ужасный пройденный путь. Даже в моменты, когда казарма веселилась и когда какой-нибудь солдат-весельчак откалывал уморительную штуку на потеху публике, даже в такие моменты Достоевский слабо реагировал на бесшабашное удайство товарищей по службе и иногда слегка улыбался тому, что видел. На лице его всегда лежала печать грусти. Вместе с прочими солдатами Достоевский выполнял караульную службу по всем государственным учреждениям, где требовался военный караул: у денежного ящика в казначействе, у тюрьмы, гауптвахты, амбара с казенной известкой и т. д.

Достоевскому как будто самому нравилось тянуться перед начальством, хотя последнее, в лице унтер-офицеров, не всегда замечало воинскую честь, отдаваемую им рядовым Достоевским. Федор Михайлович тщательно следил за тем, чтобы амуниция его была исправна. В тех случаях, когда мундир или брюки его страдали дефектами, он надевал сверху шинель, хотя бы и было тридцать градусов тепла, чтобы скрыть от постороннего взгляда недостатки своего костюма.

В звании рядового Достоевский пробыл около двух лет. Это было, несомненно, самое тяжелое время для Федора Михайловича в Семипалатинске. Новые условия жизни, необходимость изучать военную службу, потерянное на каторге здоровье — все это отзывалось на Достоевском и требовало от него большого физического и нервного напряжения.

Наконец он был произведен в унтер-офицеры.

С солдатами Федор Михайлович обращался мягко, не давая чувствовать разницы между ними и им. Если со стороны некоторых солдат случались грубости по отношению к Федору Михайловичу, последний сносил их терпеливо и в ссору не ввязывался.

Будучи солдатом, Достоевский посещал иногда дома некоторых своих знакомых. Но он всегда чувствовал, что он солдат и всегда помнил о воинской дисциплине.

С Достоевским был следующий интересный случай: Федор Михайлович как-то был в гостях у одних из своих знакомых. Зачем-то ему понадобилось выйти в переднюю. В это время в переднюю вошел офицер в шинели. Увидя солдата, офицер подставил ему свои плечи — Достоевский быстро снял с них шинель, повесил на вешалку и за офицером потом вошел в гостиную.

1-го октября 1856 г. Достоевский был произведен в прапорщики. Начинается новый период в жизни Федора Михайловича. Он уже вливается в офицерскую среду на правах равного члена ее. Но это общение с офицерством не могло дать ему большого удовлетворения. Правда, он уже не был солдатом, отношение к нему со стороны офицеров стало другое, но все же новая среда не удовлетворяла его. Состав офицерства был разнообразный. Тут было несколько образованных офицеров, ценивших личность Достоевского, но большинство офицеров было с низким культурным уровнем, который мало чем разнился от уровня солдат. Только офицерская форма этой категории военных чинов и выделяла их из общей солдатской массы. В числе офицеров значились старые севастопольские героин-солдаты, выслужившиеся в офицерский чин за боевые отличия. Им давали для вида экзамен на офицеры и без задержки пропускали в командный состав. Сам командир батальона, подполковник Белихов, выслужился в офицеры из кантонистов за какие-то боевые отличия, поднялся по служебной лестнице и даже получил в управление батальон. Некоторые из офицеров были настолько малограмотны, что с трудом могли подписывать свою фамилию. Для них было сущим наказанием получение следующего чина, пропись которого надо было изучать: напр., подпоручик, вместо прапорщика. Уже хорошо научился человек подписывать: прапорщик, как вдруг выплывает новое слово: подпоручик или поручик; было над чем попотеть г.г. офицерам.

Как офицер, Достоевский аккуратно появлялся в офицерском собрании, когда его официальное положение требовало его присутствия там, но особенно в такую компанию не стремился. Бывали моменты, когда, удрученный эпилепсией и с подавленным настроением духа, он уединялся от людей, не хотел знакомиться с новыми лицами и на всякого нового человека,

с которым в этот момент сталкивала его судьба, готов был смотреть, как на врага. Офицерский чин, хотя и улучшил положение Достоевского, но в общем он своим званием тяготился. Прежде всего офицерский чин ввел его в долги. Кое-как удалось ему частично обмундироваться, в остальном ему помог его близкий друг Врангель, от которого Достоевский получил из Петербурга каску, полусаблю и офицерский шарф (этих вещей невозможно было достать в Семипалатинске). Производство в офицеры Достоевский получил благодаря хлопотам своих влиятельных друзей: адмирала Тотлебена⁴, барона Врангеля и др. В судьбе Федора Михайловича принял большое участие и принц Ольденбургский. Но затаенным желанием Достоевского было уйти в отставку. Здесь он опять обращается к своим столичным друзьям, прося их похлопотать за себя. В письме к Врангелю от 23 марта 1856 г. Федор Михайлович говорит:

«Напирайте на то, чтобы мне оставить военную службу (но главное, если можно чего-нибудь более, т. е. даже полного прощения, то не упускайте этого из виду). Нельзя ли, например, уволить меня с правом поступления в статскую 14-м классом и с возможностью возвратиться в Россию?»

В другом письме к тому же Врангелю от 9-го ноября 1856 г. Достоевский говорит:

«Друг мой, вы спрашиваете меня, чего я желаю, о чем просить? И говорите тоже, что меня могут перевести в Россию? Но, друг мой, я знаю, что я даже и не служа, через год, через два и без того буду возвращен окончательно. Перевод же в армию еще тем худ, что я, во всяком случае, плохой офицер, хотя бы по здоровью. А надо будет служить. Если бы я желал возвратиться в Россию, так это единственно для того, чтоб обнять родных и повидаться с докторами знающими и узнать, что у меня за болезнь (эпилепсия), что за припадки, которые все еще повторяются и от которых каждый раз тупеет моя память и все мои способности, и от которых боюсь впоследствии сойти с ума. Какой я офицер? Если б меня выпустили в отставку, хоть бы оставя здесь **на время** — вот все мое желание. Я бы добыл себе денег на существование. Здесь я бы не пропал... и потому напишите мне **положительно** (по возможности): во-1-х, могу ли я в очень скором времени, по слабости здоровья, подать в отставку (прося на всякий случай возвращения в Россию, **для совета с докторами**) и во-2-х, могу ли я печатать».

Итак, Достоевский мечтал об уходе в отставку отчасти по слабости здоровья, отчасти из-за желания скорее начать печатание своих произведений.

Женитьба на Исаевой наложила на Достоевского обязанность пристроить пасынка своего, Павла Исаева, в школу; хотелось поместить его в Сибирский кадетский корпус. Ввиду этого Достоевский подал на имя своего батальонного командира

Белихова следующее собственноручно написанное прошение от 27 июля 1857 г.

«Господину Командиру Сибирского линейного № 7 батальона, подполковнику Белихову.

Вчерашнего числа, возвратясь из двухмесячного отпуска, данного мне для излечения застарелой падучей болезни, в форпосте Озерном, я получил от Семипалатинской Городской полиции извещение, что пасынок мой, девятилетний Исаев, принят в Сибирский кадетский корпус. Дежурство Корпусного штаба известило Семипалатинскую Городскую полицию от 17 июля 1857 г. за № 5207, что его высокопревосходительство, господин корпусный командир, изволил сделать распоряжение об отпуске из Тобольского окружного казначейства под расписку г-жи Исаевой (ныне жены моей, Достоевской) прогонных денег и подорожной на доставление в Сибирский кадетский корпус к 1-му августа сего года сына ее Исаева. Но так как жена моя, вступая со мной в брак, переехала на жительство из города Кузнецка, Томской губернии, в г. Семипалатинск, то г. начальник корпусного штаба, уведомленный о сем обстоятельстве, уже просил Тобольскую казенную палату о выдаче прогонных денег и подорожной на доставление Павла Исаева в г. Омск из Семипалатинского окружного казначейства, по требованию матери его, г-жи Достоевской, бывшей в первом браке Исаевой. Имея честь почтительнейше уведомить о сем обстоятельстве ваше высокоблагородие, нахожусь вынужденным присовокупить, что Семипалатинское окружное казначейство без указа Тобольской казенной палаты не может выдать следуемые Павлу Исаеву деньги. И потому потчительнейше прошу известить о сем обстоятельстве его превосходительство господина Семипалатинского военного губернатора. Как вотчим Павла Исаева, я обязан распорядиться о доставлении его в Сибирский кадетский корпус непременно к первому августа с. г. или, по крайней мере, в первых числах того же месяца. Имея доверенного человека для препровождения Павла Исаева, именно почтальона Семипалатинского почтамта Лепухина, я, если уже не могу получить тотчас же прогонных денег, непременно должен снабдить своего пасынка подорожной, чтоб не было задержек в дороге. Имея честь почтительнейше изложить вашему высокоблагородию все сии обстоятельства, я осмеливаюсь покорнейше просить ваше высокоблагородие донести о сем деле его превосходительству, г. Семипалатинскому военному губернатору и исходатайствовать у его превосходительства подорожную по казенной надобности для доставления в Сибирский кадетский корпус Павла Исаева. Без нее я не могу распорядиться доставлением его в Омск в первых числах августа, и он, не явившись к сроку, может потерять право на поступление в корпус» (это прошение Достоевского извлечено из архивных

дел бывшего Областного правления и помещено в Семипалатинском музее).

Прошение Достоевского насквозь пропитано духом субординации; в этом документе чувствуется дисциплина человека, который просит лицо старше себя; здесь все почтительно, строго официально, канцелярски точно. Иного прошения и трудно было бы ожидать от Достоевского, неуклонно во всех своих сношениях с начальством соблюдавшего служебную дисциплину.

Как офицер, Достоевский имел денщика, искусного кулнара, исполнявшего в то же время по дому все обязанности. Отношение Федора Михайловича к денщику было чисто человеческое. Последний чувствовал это и относился в свою очередь к Достоевскому с уважением, был к нему привязан. Когда Федор Михайлович хворал после припадков падучей, солдат трогательно ухаживал за своим барином, всячески оберегая его покой. По отъезде Достоевских в Тверь денщик поддерживал с ним переписку. Вообще Достоевский не кичился своим офицерским званием и не давал знать себя нижним воинским чинам. Его не прельщал блеск офицерского мундира, который он охотно готов был сменить на гражданский сюртук. В Семипалатинске сохранился фотографический снимок Достоевского в офицерском мундире 1858 г. На фотографии Федор Мих. снят сидящим на стуле, с фуражкой в правой руке. Существует еще другой снимок с Федора Михайловича, совместно с известным потомком Хана средней орды Вали Чоканом Валихановым, также офицером, проезжавшим через Семипалатинск в научно-военную командировку в Кашгарию. Достоевский был знаком с Валихановым еще по Петербургу, где Чокан слушал лекции в университете. Недюжинная личность Валиханова привлекла внимание Достоевского, и между ними установились дружеские отношения, закрепившиеся даже общим фотографическим снимком. Оба на фотографии — в офицерских мундирах, причем Чокан сидит, Достоевский стоит. Желание Федора Михайловича получить чистую отставку, наконец, осуществилось. Высочайшим приказом от 18 марта 1859 г. Достоевский был уволен в отставку по болезни, с возведением в следующий офицерский чин — подпоручика. В том ему много помог его товарищ по Инженерному училищу, известный генерал Тотлебен. Его ходатайство об увольнении Достоевского из военной службы имело решающее значение. В архиве бывшего семипалатинского военного штаба было найдено следующее предписание начальника 24-й пехотной дивизии из Тобольска от 8 мая 1859 г. за № 2251 об увольнении Достоевского в отставку:

«Дежурный генерал главного штаба его императорского величества 27 марта за № 318 уведомил, что высочайшим приказом, в 18 день минувшего марта состоявшимся, прапорщик Сибирского линейного № 7-го батальона, из политических пре-

ступников, Достоевский уволен за болезнью от службы с награждением следующим чином. К сему свиты его величества генерал-майор Герштенцвейг присовокупил, что об учреждении за подпоручиком Достоевским секретного надзора по избранному им месту жительства в г. Твери и о воспреещении ему въезда в губернии С.-Петербургскую и Московскую, вместе с сим сообщено министру внутренних дел и управляющему III Отделением собственной его императорского величества канцелярии.

Вследствие отзыва господина начальника штаба отдельного Сибирского корпуса от 28 минувшего апреля, № 2586, имею честь уведомить ваше превосходительство для сведения» (следуют подписи).

Так закончилась военная служба Ф. М. Достоевского в Семипалатинске. В приведенном выше документе интересны слова: «по избранному им месту жительства в г. Твери». Как избирал Достоевский место жительства, видно из его прошения об отставке, в котором Федор Михайлович избрал Москву,— ему же была указана Тверь. В бывшем Семипалатинском военном штабе и. о. з. этого штаба Скандиным было найдено в 1903 г. немало разных документов политического и административного характера, относящихся к личности Достоевского. Часть этих документов, с надлежащего разрешения, была извлечена Скандиным из штабного архива. Самый архив вскоре после этого по закрытии Семипалатинского военного штаба был перевезен в г. Омск. Сослуживцы Ф. М. Достоевского по батальону в Семипалатинске давно уже скончались.

Умерли: бывший командир батальона полковник Бахирев, товарищ Федора Михайловича по нарам в казарме Кац, самоваром которого Достоевский пользовался, штаб-трубач Сидоров и др.

Все эти лица, конечно, и не подозревали, кто скрывался в лице Достоевского. Бахирев был типичный службист, целые дни проводивший на плацу с солдатами и требовавший от них точного знания своих обязанностей. Подвергался этому экзамену и Достоевский.

Сохранилась такая аттестация Федора Михайловича со стороны Бахирева: «Достоевский отличался молодцеватым видом и ловкостью приемов при вызове караулов в ружье. По службе был постоянно исправен и никаким замечаниям не подвергался» (Скандин). «Собачья служба», по словам Бахирева, «заедала людей, и нам было не до Достоевского»,— говорил этот служака. Кац был потом известным домовладельцем в Семипалатинске и только спустя много лет после службы, когда по России пронеслось имя Достоевского, у него открылись глаза на Федора Михайловича. Кац старался вспомнить все мелочи из жизни Достоевского, но не всегда память помогала ему в этом. Особенно тепло отзывался о Федоре Михайловиче Сидоров, по отношению к которому Достоевский являлся

подчиненным лицом. Из крепостных военных зданий, в которых Достоевскому приходилось бывать по делам службы, в настоящее время сохранился только деревянный дом командира батальона, за последнее время подвергшийся некоторой перестройке. Изба (бывшее караульное помещение), где Достоевский бывал на карауле, уничтожена; казарма — местожительство Федора Михайловича сгорела в 1881 г. Остался также дом Лепухиных по бывшей Крепостной улице, в котором Достоевский жил офицером после брака с вдовой Исаевой, до самого отъезда своего из Семипалатинска. Этот дом известен теперь под названием Домика Достоевского, на нем имеется мраморная доска с соответствующей надписью. Только этот домик и улица с именем Достоевского и говорят о том, что в Семипалатинске некогда жил великий русский писатель, отбывающий здесь воинскую службу в течение пяти с лишним лет.

Друзья и знакомые

С первого же момента по приезде Достоевского в Семипалатинск у него появились знакомые и друзья. Федор Михайлович в порядке дисциплины познакомился, кажется, раньше всего с командиром батальона, подполковником Белиховым, и вошел с ним даже потом в дружеское общение. Белихов принимал Достоевского, до производства его в офицеры, у себя на квартире, как доброго знакомого, ничем не обнаруживая перед ним своего начальственного положения. Призвав сначала Достоевского к себе для чтения ему, Белихову, газет, батальонный командир, по-видимому, оценил нравственное значение личности Достоевского, а, может быть, даже почувствовал на себе влияние личности Федора Михайловича, и скоро стал проявлять себя по отношению к Достоевскому как к гостю. Нередки были случаи, когда Белихов оставлял у себя обедать Федора Михайловича и очень любезно знакомил его с чиновниками, за просто приходившими к Белихову. В квартире Белихова Федор Михайлович, таким образом, завел свои первые знакомства с представителями служилой городской интеллигенции. Последние любезно приглашали Достоевского к себе. Надо думать, что Федор Михайлович пользовался этими приглашениями. Известно, что он охотно и часто посещал командира казачьей бригады, полковника Хоментовского, которого познакомил с ним Белихов.

Интересной личностью был Хоментовский. Он любил простоту в обращении, любил теплую компанию. Находясь под «парами», иногда со своими компаньонами в самом нестеснительном виде — в расстегнутом мундире и с бутылкой шампанского — отправлялся по своим знакомым, приносил с собой веселье.

В «добрые» старые времена такая гуляющая компания городских чиновников и офицерства не вызывала среди обыва-

телей какого-либо изумления; это считалось в порядке вещей.

Федор Михайлович понравился Хоментовскому, и последний был явно к нему расположен. Уже будучи бригадным генералом, Хоментовский приглашал к себе на квартиру рядового Достоевского, выпивал с ним и совершал свое обычное путешествие к знакомым. Однажды бригадный, в компании с Федором Михайловичем и двумя своими сестрицами (имея с собой три бутылки шампанского), посетил стряпчего по уголовным и гражданским делам, барона Врангеля, близкого друга Достоевского. Хоментовский был образованный человек, отличался остроумием и находчивостью. Попадая в опасное положение со своим отрядом во время военных столкновений с киргизами в степи, Хоментовский, благодаря своей находчивости, всегда уходил в целости. Достоевскому он нравился, и Федор Михайлович бывал у него часто.

Также часто Достоевский ходил к командиру линейного казачьего полка полковнику Мессарошу. В доме последнего процветала азартная картежная игра, но Достоевский в ней обычно не участвовал. Имя Мессароша на всей казачьей линии наводило страх.

Проезжая по казачьим поселкам, Мессарош всюду наводил порядки. От него доставалось не только казакам, но и казачкам. Достаточно ему было увидеть небеленую трубу на избе, чтобы тотчас же хозяйке этого дома всыпать за неряшливость по хозяйству «горячих». Строгий по службе, Мессарош, однако, проявлял себя дома как очень любезный и гостеприимный хозяин. Не менее любезна была и супруга его. Квартира Мессароша была для Достоевского также одной из приятных.

С удовольствием еще посещал Достоевский квартиру начальника округа Ковригина, где его встречали очень радушно. Жена Ковригина всегда бывала рада Федору Михайловичу. Семейная жизнь в доме Ковригина не клеилась. Сам Ковригин пил горькую и достаточно опустился, нередко ревновал жену к другим. Все это удручало Ковригину, и посещение Федором Михайловичем дома Ковригиных освежающим образом действовало на семейную атмосферу названных супругов.

Из офицеров Достоевский был дружен, кроме Белихова, еще с А. И. Бахиревым и Гейбовичем; последний одно время являлся ротным командиром Достоевского. Бахирева можно считать самым образованным офицером того времени в Семипалатинске. Он отличался широким кругозором, большой любознательностью и был очень способный человек; считался в городе начитанным человеком. Выписывал толстые передовые журналы, живо интересовался русской литературой и ее течениями и очень много читал. Достоевский не мог не отличить его в офицерской среде и с удовольствием беседовал с ним. Первоначальное знакомство этих двух людей перешло в дружбу, и некоторое время они жили даже на общей квартире.

Дружеские отношения связывали Достоевских — мужа и жену — и с Гейбовичем и его семьей. На это указывает и письмо Достоевского Гейбовичу из Твери от 23 октября 1859 г., т. е. вскоре же после отъезда Достоевского из Семипалатинска. В семье Гейбовича к Федору Михайловичу относились с глубоким уважением и видели в нем светлую личность. Сохранились воспоминания дочери Гейбовича, в замужестве Сытиной, о Достоевском с характеристикой личности Федора Михайловича и его отношений к другим. Интересны следующие строки из этих воспоминаний:

«У Федора Михайловича немало было знакомых из разных слоев общества, и ко всем он был одинаково внимателен и ласков. Самый бедный человек, не имеющий никакого общественного положения, приходил к Достоевскому, как к другу, высказывал ему свою нужду, свою печаль и уходил от него обласканный. Вообще для нас, сибиряков, Достоевский — личность в высшей степени честная, светлая; таким я его помню, так я о нем слышала от моего отца и матери, и, наверно, таким же его помнят все знавшие его в Сибири» («Истор. Вестн.», 1885 г., январь).

Выезжая из Семипалатинска, Достоевские сдали своего денщика Василия Гейбовичу, зная, что здесь с ним будут обращаться по-человечески. В семье Гейбовича Василий почти ежедневно с теплым чувством вспоминал о Федоре Михайловиче.

В Семипалатинске сейчас живет современница Достоевского: вдова, жена чиновника, Анна Ивановна Згерская. Ей уже около 90 лет. Достоевского она помнила и говорила, что неоднократно танцевала с ним на вечерах. К сожалению, дальше этого воспоминания Згерской о Достоевском не идут — старушке совершенно изменила память.

После производства в унтер-офицеры Достоевский перешел на частную квартиру. Некоторое время он жил у старожилов г. Семипалатинска Пальшиных. По-видимому, с ними Федор Михайлович был очень дружен. Пальшины видели в нем не только квартиранта, но и высокоинтересного человека, и считали его чуть не членом своей семьи; постоянно знали, когда и чем он занят. Пальшины говорили, что Достоевский много читал и писал, особенно по ночам.

Из воспоминаний Мамонтовой-Мельчаковой видно, что Достоевский был домашним учителем Мамонтовой и часто посещал их дом. Здесь его дружески принимали, ценя в нем образованного человека. Достоевский к тому же оказался и способным педагогом, сумевшим заставить учиться и понимать проходимое на уроках малоспособную и ленивую Мамонтову. В трудных случаях, когда Достоевскому приходилось прилагать немало усилий к тому, чтобы опытным педагогическим способом сломить капризы и своеволие своей ученицы; когда резуль-

таты этого опыта оказывались удачными, в таких случаях Федор Михайлович дарил своей ученице коробку конфет. О Достоевском у Мамонтовой остались теплые воспоминания.

В Семипалатинске проживала группа политических ссыльных поляков. Они жили замкнуто, особняком, но вполне солидарно между собой, оказывая взаимную материальную и моральную поддержку друг другу. Здесь были и венгерские поляки из армии Гергея, сдавшейся русским в 1848 г.⁵ Хотя они являлись по существу военнопленными, однако Николай I приказал разослать их по Сибири на поселение, как преступников своей страны. Часть венгерцев-поляков попала в Семипалатинск.

Поляки не нравились Достоевскому, и знакомства с ними он избегал. Но тем не менее в числе знакомых Достоевского значились поляки — бывший инженер Гиршфельд, Карл Ордынский и Нововейский. Гиршфельд изредка посещал Врангеля с Достоевским, когда они жили на общей квартире. Более сердечно Федор Михайлович относился к Ордынскому.

Из архивных данных бывшего Областного правления в Семипалатинске видно, что братья Карл и Феликс Ордынские, мелкие польские дворяне, в 1826 г. судились в Белостоке по политическому делу и были присуждены военным судом к четырехлетним каторжным работам каждый, каковые работы и отбыли в Усть-Каменогорской военной каторжной тюрьме. Затем были сданы в солдаты в Семиречье. Кончив военную службу, Карл Ордынский приехал в г. Семипалатинск и здесь сначала имел частное занятие у Попова (служил по виноторговле), затем поступил на государственную службу на должность смотрителя провиантских магазинов. Имел свой дом и пашню на Бель-агаче. По выходе в отставку получал небольшой полупенсион. Судьба Феликса Ордынского неизвестна. Дом Ордынского Достоевский посещал охотно. Иногда оставался у него для своих занятий и даже на ночь.

Из поляков Достоевский был также знаком с Нововейским. Последний с женой своей довольно часто ходил к Достоевским. Нововейский был скромный, болезненного вида человек. Достоевские угощали Нововейских чаем, оставляли у себя обедать и вообще относились к ним внимательно. Федор Михайлович иногда помогал Нововейскому и материально.

Вообще же Достоевский держался в стороне от поляков.

Семья Исаевых была тем домом, с которым Достоевский оказался связанным очень крепко. Как же относился Достоевский к самому Исаеву? Федор Михайлович очень жалел Александра Ивановича Исаева, страдавшего запоем и допивавшегося даже до белой горячки. Достоевский не судил Исаева, обвиняя во всем его судьбу. Оба Исаева были расположены к Достоевскому и считали его как бы своим. Федор Михайло-

вич ценил такое отношение к себе. В письме к Исаевой в Кузнецк Достоевский так говорит об А. И. Исаеве:

«Я припоминаю, что я у вас был, как у себя дома. Александр Иванович за родным братом не ходил бы так, как за мною. Сколько неприятностей доставлял я вам обоим моим тяжелым характером, а вы оба любили меня. Жму крепко руку Александру Ивановичу и целую его. Обнимаю его от всего сердца и, как друг, как брат, желаю ему лучшей компании. Неужели и в Кузнецке он будет так неразборчив в людях, как в Семипалатинске? Да стоит ли этот народ, чтобы водиться с ним, пить, есть с ним и от него же сносить гадости? Да это значит вредить себе сознательно. И как противны они, главное, как грязны! После иной компании так же грязно на душе, как будто в кабаке ходил. Надеюсь, Александр Иванович за мои пожелания на меня не рассердится» (из письма от 4 июня 1855 г.).

Во времена Достоевского Семипалатинск пил горькую. Захолустье засасывало людей, а слабовольных, как Исаев, и губило. Исаев был неразборчив в выборе приятелей по выпивке. Всегда находились охотники выпить на чужой счет. Местные запивалы из чинушей знали слабость Исаева к выпивке и пользовались ею. А в результате всего высмеивали Исаева и распускали про него всякие гадости. Достоевский возмущался таким поведением собутыльников Исаева, но был бессилен помочь ему. Известие о смерти Исаева в Кузнецке очень расстроило Федора Михайловича.

В письме к Врангелю от 14 августа 1855 г. Достоевский следующим образом делится по этому поводу своими впечатлениями:

«Сегодня утром получил из Кузнецка письмо. Бедный, несчастный Александр Иванович Исаев скончался. Вы не поверите, как мне жаль его, как я весь расстроен! Может быть, я только один из здешних и умел ценить его. Если были в нем недостатки, наполовину виновата в них его черная судьба. Желал бы я видеть, у кого хватило бы терпения при таких неудачах? Зато сколько доброты, сколько истинного благородства! Вы его мало знали. Он умер в нестерпимых страданиях, но прекрасно. И смерть красна на человеке. В мучениях о ней (жене) он забывал свои боли. Бедный!»

Несомненно, в этой оценке покойного Исаева Достоевский руководился отчасти известным правилом: *de mortuis ant bene, ant, nihil**, но, с другой стороны, несомненно также и то, что Федор Михайлович видел в этом спившемся и обиженном судьбой чиновнике высокие человеческие черты.

В числе близких друзей Достоевского был стряпчий по уголовным и гражданским делам, как тогда назывался областной

* О мертвых хорошо или ничего (лат.).

прокурор, барон Александр Егорович Врангель. В судьбе Достоевского он играл большую роль и явился настоящим светлым лучом в нелегкой семипалатинской жизни Достоевского.

Представитель высшего света, Врангель, по окончании курса в лицее, двадцатилетним юношей отправился в Сибирь водворять там законность. Образование и связи сразу дали ему место прокурора в Семипалатинске, куда он и приехал в 1854 г. Еще в Петербурге Врангель знаком был со старшим братом Достоевского, Михаилом Михайловичем, от которого и привез Федору Михайловичу письма, белье, книги и 50 руб. денег. Друг Федора Михайловича, известный поэт Аполлон Майков, также прислал с Врангелем в Семипалатинск Федору Михайловичу письмо. Достоевский очень рад был приезду Врангеля и тем письмам и известиям из столицы, которые привез Врангель. Тесная дружба связала этих двух лиц в Семипалатинске. Образованный, экспансивный, идеально настроенный Врангель приводил Федора Михайловича в восторг своим желанием сократить чиновных воров и казнокрадов, которым он объявил войну. Молодому Врангелю казалось, что он может перестроить мир на основе права; может уложить жизнь в прокрустово ложе законности. Над ним посмеивались, но тем не менее боялись разные господа с подмоченной репутацией: с прокурором шутки были плохие. В городе, конечно, заметили дружбу прокурора с солдатом из политических каторжан; одни недоумевали по этому поводу, другие злословили. Но Врангель не стеснялся этим и открыто демонстрировал свою дружбу с Федором Михайловичем.

Вскоре же по приезде Врангеля в Семипалатинск Достоевский уже был своим человеком в доме прокурора. Он часто бывал у Врангеля, обедал с ним и т. д. Друзья ездили на охоту (Достоевский не стрелял), ходили на Иртыш на рыбную ловлю и много времени проводили вместе.

Протежируя своему другу, Врангель ввел его даже в дом губернатора. Об этом сам Врангель говорит в своих воспоминаниях следующим образом:

«Военный губернатор области П. М. Спиридонов, добрейший человек, простяк, гуманный и в высшей степени хлебосол. Я очень скоро сделался у него своим человеком, обедал через день и приобрел его полное доверие. Он встречал Достоевского то там, то сям и, кажется, сам даже ходатайствовал за него у батальонного командира по просьбам из Омска *. Желая во что бы то ни стало дать ему возможность ближе узнать и оценить Достоевского, я попросил разрешения ввести Ф. М. к нему в дом. Он помолчал, подумал и сказал: «Ну, ну, приходи с ним, да запросто, в шинели, скажи ему».

* Влиятельные знакомые Федора Михайловича.

Вскоре Спиридонов искренне полюбил Достоевского, он сделался у него своим человеком; где только мог, Спиридонов ему помогал и вообще был ему полезен*. Пришлось и чиновному миру раскрыть двери перед Достоевским, хотя последний далеко не навязывался на знакомство с влиятельной публикой.

Врангель был свидетелем любви Достоевского к Исаевой и всех дальнейших перипетий этой страсти. По отъезде Исаевых в Кузнецк, когда Достоевский страшно затосковал, Врангель всячески старался облегчить для Федора Михайловича тяжесть разлуки с Марией Дмитриевной Исаевой.

Некоторое время друзья жили на одной квартире. Федор Михайлович глубоко ценил Врангеля и любил его. Отъезд Врангеля из Семипалатинска поразил Достоевского. Он остался одинок (Исаевы уже были в Кузнецке). В письмах к своему другу Федор Михайлович изливает всю свою душу. Достаточно ознакомиться с этими письмами, чтобы понять, чем Врангель являлся для Достоевского. «Добрейший, незаменимый друг, бесценный, единственный друг мой, чистое, честное сердце, незабвенный, дорогой» и т. п.— вот чем пестрят письма Достоевского к Врангелю.

Около двух лет прожил Врангель в Семипалатинске, и за это время друзья крепко сжились друг с другом. В грустном настроении покидал Врангель Семипалатинск — ему жаль было своего друга, Федора Михайловича.

«Воспоминания» рисуют следующую картину расставанья друзей:

«Мы оба в эти два года тесно сжились, полюбили друг друга, привязались, делили радости и горести сибирской жизни, выкладывали друг другу душу. А как это дорого в тяжелые минуты оторванности от всего дорогого, как облегчает это — поймет всякий, кому случалось быть в таких условиях! Жутко мне,— продолжает Врангель,— было покидать его! Я был молод, здоров, полон розовых надежд. А он?.. он, этот великий талант, волею судеб оставался здесь, в этих дебрях, бессрочным солдатом, заброшенный, больной, одинокий, без опоры, без слова сочувствия, лишаясь во мне последнего друга! От всей души было мне жаль его... Но... настал и час моего отъезда. Уже смеркалось. Мы обнялись крепко-крепко. Расцеловались и дали слово друг друга не забывать. Как умел, старался я его ободрить и обнадежить. Оба мы прослезились. Уселся я в кибитку, обнял в последний раз моего бедного друга. Ямщик дернул вожжи, рванулась вперед моя тройка... и поскакал я. Я оглянулся еще раз назад: в вечернем мраке еле виднелась понурая фигура Достоевского. Я мчался... куда?.. на что?.. Не раз думы мои возвращались в Семипалатинск, в унылую избушку покинутого друга»**.

* Врангель. С. 25.

** Врангель. С. 136, 137.

Одиночество тяжело отзывалось на Федоре Михайловиче. Он спешит излить свои чувства Врангелю: «Хочу говорить с вами по-прежнему, как в Семипалатинске, когда вы были для меня всем! и другом, и братом, когда мы оба делили друг с другом свои заботы сердечные» (письмо от 21 дек. 1856 г.).

Как ни тяжел был для Достоевского отъезд Врангеля, однако с этим отъездом у Федора Михайловича связывались некоторые надежды на улучшение своего положения. Достоевский направил с Врангелем письма к влиятельным лицам, да и на самого Врангеля возлагал некоторые надежды. Он с нетерпением ожидал от Врангеля извещения. «Если б вы только знали всю мою тоску, все мое уныние, почти отчаяние теперь, в настоящую минуту, то, право, поняли бы, почему я ожидаю вашего письма, как спасенья? Оно должно многое, многое разрешить в судьбе моей», — пишет Федор Михайлович Врангелю (письмо от 23 марта 1856 г.).

Надежды Достоевского не остались напрасны — его уволили в отставку и разрешили выехать в Европейскую Россию.

Федор Михайлович в разное время послал Врангелю 20 писем: из Семипалатинска — десять (два в 1855 г., шесть — в 1856 г., два — в 1857 г.), из Твери четыре (все в 1859 г.), из Висбадена — три (1865 г.) и Петербурга — три (также в 1865 г.). Первые письма из Семипалатинска полны глубокого чувства к Врангелю — Федор Михайлович тяжело переживает тоску и одиночество. В дальнейшем время изгладило остроту разлуки. Позднее друзья имели несколько встреч. Последний раз Врангель встретился с Достоевским в Петербурге в 1873 г. «Я очень рад был опять его увидеть», — сообщает Врангель в своих «Воспоминаниях», — встретились мы, казалось, сердечно по-прежнему, но... Это не был уже мой прежний, дорогой семипалатинский Федор Михайлович! Время и долгая разлука, конечно, наложили свою печать на наши отношения. О прошлом ни слова; он даже не сказал мне, что он вторично женился и как идут его дела» (с. 219). В 1879 г. Врангель выехал генеральным пограничным консулом в Данциг. Здесь из русских газет он узнал о смерти Достоевского в 1881 г. Кончина Федора Михайловича, естественно, потрясла Врангеля. Он живо вспомнил время семипалатинской жизни с Достоевским. «Все прошлое воскресло в моей памяти, мне мучительно жалко стало моего бывшего старого друга, — пишет Врангель в «Воспоминаниях» на смерть Достоевского. — Хотя последние годы и развели нас, но я не переставал хранить к нему глубокое чувство любви и уважения» (с. 219).

С грустью встретили известие о смерти Федора Михайловича и в Семипалатинске те из обывателей, которые знали Достоевского лично и имели с ним какое-либо общение. Слава великого писателя, которая шла за Достоевским, еще более уси-

лила значение смерти Федора Михайловича для семипалатинских его знакомых.

Семипалатинск времен Достоевского

Семипалатинск пятидесятих годов минувшего столетия, когда в нем жил Ф. М. Достоевский, представлял из себя большое село, затерявшееся в песках. Он только что был преобразован в областной административный центр открытой в 1854 г. (год прибытия Достоевского в Семипалатинск) Семипалатинской области. Город можно было разделить на четыре части: в западной части лежала Семипалатинская станица, населенная казаками. Небольшие деревянные домики станицы напоминали типичные казачьи поселки Иртышской казачьей линии. Восточная часть города была занята татарами и представляла из себя замкнутый мир. Высокие постройки шатрового характера с окнами, обращенными в ограду, ревниво охраняли татарскую семейную жизнь от посторонних взглядов: здесь резко чувствовался восточный уклад жизни, который регулировался своим особым кодексом. Середину между станицей и татарской частью города занимала бывшая Семипалатинская крепость, основанная в 1718 г. и упраздненная в 1838 г. Здесь находились военные постройки: казармы, квартиры военного начальства, гауптвахта, тюрьма и т. д. И, наконец, севернее крепости тянулась небольшая линия обывательских домов. Теперешний центр города был тогда загородной степью, куда ездили на охоту. На месте Никольского собора, занимающего центральную часть города, существовало озерко, где свободно располагались дикие утки, привлекавшие охотников. При постройке Никольской церкви пришлось озеро забутить камнем, сверху выстлать всю площадь под храм каменными плитами под цемент, на которых уже и был выстроен храм. На весь город было одно каменное здание — Знаменский собор, заложенный в 1777 г. В татарской части было семь деревянных мечетей. В городе существовал большой меновой двор, стягивавший торговлю степи. Сюда приходило много торговых караванов из Средней Азии. В торговле принимали деятельное участие татары, сарты — ташкентские и кашкарлыки (из Кашгарии) и отчасти русские. На весь город существовал один только галантерейный магазин с подбором всех товаров, в каких только нуждался обыватель. Одна казенная аптека удовлетворяла потребности населения в врачевании. Хозяйством города ведало городское общественное управление — городская ратуша, начавшая свои действия с 1783 г. под названием городского магистрата. Потребность в образовании удовлетворялась приходским мужским училищем, открытым в 1833 г., и мужским уездным трехклассным, появившимся в 1859 г. и преобразованным в 1881 г. в пяти-

классное городское училище. Спрос на первоначальное женское образование получил некоторое удовлетворение в ноябре 1860 г. открытием при мужском уездном училище элементарной женской школы, преобразованной в 1864 г. в женское училище второго разряда и в 1871 г. — в женскую прогимназию. Порядок в городе поддерживался представителем надзора, носившим громкий титул полициймейстера (полицейское управление открыто в 1755 г.). Освещения не существовало, гостиниц тоже. Умственные запросы были ничтожны. На 5—6 тысяч городского населения выписывалось 10—15 газет и журналов, да и с теми нередко знакомились из десятых рук. Город на тысячи верст отрезан был от культурных центров. Сношения с другими местами поддерживались только с помощью линейного казачьего тракта, расположенного по берегу Иртыша. О пароходстве не было и помину. Семипалатинск представлял из себя тогда отчаянную глушь. О приезде всякого нового человека в городе узнавали моментально. Сибиряки определенно отмежевывались от приезжавших из Европейской России, последних называли «российскими». В городе было только одно пианино. О слаях, кроме ташкентских сухеных фрутков, имели мало понятия. Врангель рассказывает, что когда он преподнес в подарок одной даме десяток засахаренных ананасов, так глядеть их сбежался чуть не весь город. Даже ржевская пастила, выписанная Врангелем из Казани, показалась необычайным лакомством. Интерес к совершавшемуся на белом свете был небольшой. Даже происходившая в то время крымская война не особенно-то будировала семипалатинцев. Они жили своей жизнью, ничем не реагируя на большие политические события. Материальные интересы доминировали над всем. В карты играли сильно. Устраивались грандиозные попойки. Про одного купца рассказывали, что он гостей своих держал у себя по неделе, приказывая прислуге запираить у себя ворота и никого не пускать из дому. Угощались на славу. Чиновники ходили на достархан к богатым татарам, которые в этом видели для себя особую честь. За отсутствием умственных интересов процветали сплетни. Дамы умирали со скуки. Даже фокусники и бродячие труппы не заглядывали в Семипалатинск. Иногда солдаты устраивали у себя в казарме «спектакли», на которые собирался местный бомонд — публика рада была всякому развлечению. Солдаты-артисты не особенно разборчивы были в выборе репертуара и, случалось, преподносили такие вещи, что дамы турманом вылетали со «спектакля», а мужчины хохотали до упаду. Даже цветов приличных тогда не было в городе; о сирени, жасмине и т. п. и не слыхивали. Жизнь была дешева. Врангель за свою квартиру в 3 комнаты, конюшню, сарай, помещение для трех лиц, стол и отопление платил 30 руб. в месяц. Квартира Достоевского со столом и стиркой белья обходилась Федору Михайловичу в 5 руб. в ме-

сяц. Правда, потребности Федора Михайловича были скромные, но на 4—5 рублей в месяц тогда все-таки можно было прожить и даже каждый день есть мясо. В большом употреблении был табак Бостанжогло и Жукова; его курили из длинных чубуков; среди солдат большим распространением пользовался махорка. Чиновники, помимо жалования, жили «безгрешными» доходами. Батальонный командир Достоевского, подполковник Белихов, получал большую экономию от солдатского котла, припека хлеба, всякого ремонта по батальону, разных заготовок для солдат и т. д. Со слов самого Белихова, Врангель определяет его доходы в 5—6 тыс. руб. в год. Немудрено, что Белихов очень широко жил, устраивая своим приятелям богатейшие угощения с обильными возлияниями. Командир казачьего линейного полка, полковник Мессарош также не был в накладе от своей службы. Поставка овса для кавалерийских лошадей давала большие барыши, которые целиком шли в карман Мессароша. Можно себе представить, какое хищение было в тюрьме!

Чиновники областного правления обильно стригли татар при призыве их на военную службу.

Все хорошо знали в городе друг друга и обращались друг с другом просто. «Ты» было в ходу. Даже губернатор Спиридонов говорил прокурору «ты». Правда, это можно объяснить установившимися между этими людьми близкими отношениями, тем не менее в обращении служащей интеллигенции существовала большая патриархальность, и «тыканье» вовсе не являлось признаком какой-либо особенной грубости или желанием оскорбить человека. «Жалкий был городишко, скудный впечатлениями, увязший в сплетнях и дрызгах», — характеризует Врангель Семипалатинск (с. 77). Высшим начальством края являлся генерал-губернатор Западной Сибири, проживавший в Омске. Город Омск мало чем отличался от Семипалатинска. Это был такой же маленький, затерявшийся в степи городишко, как и Семипалатинск. И состав администрации здесь был интересный. Врангель, направляясь в Семипалатинск, при проезде через Омск, представился своему высшему начальству — генерал-губернатору Гасфорту и военному губернатору области сибирских киргизов Фридрихсу. Впечатления от этого визита сохранились в письме Врангеля к своему отцу от 8 декабря 1854 г.:

«Он (Гасфорт) принял меня свысока, руки не дал, хотя и пригласил обедать. Он так пуст и глуп, что много говорить о нем не буду. Он, пожалуй, и желал бы добра краю, да взяться не умеет. Здесь слово его — закон, и ему оказывают чуть не божеское почитание. Военный губернатор Киргизской области, генерал-майор Фридрихс, добрый, отличный человек, но глуп, как пробка. Доклады выслушивает стоя, играя на флейте. Поднесенные ему для подписи бумаги весит на безмене и потом

хвастает, сколько пудов ему нужно было подписывать за неделю».

Разъезды генерал-губернатора по краю всюду производили переполох. Неограниченный владыка, настоящий самодержец, генерал-губернатор был волен в животе и смерти каждого. Чиновники приезда его ждали с трепетом; одних он миловал, других разносил. Встречи ему делались торжественные; весь город сбегался к приезду начальника края; являлись и представители киргиз в ярких халатах приветствовать высокого «тюре». Эту помпу генерал-губернатор принимал как должное и требовал себе царского почета. Все хорошо сознавали, что приезд генерал-губернатора — это гроза и потому всячески старались как-нибудь отвести удары ее, делали все возможное, чтобы чем-нибудь не разгневать его высокопревосходительство. Священнику семипалатинского Знаменского собора очень влетело от Гасфорта за то, что батюшка не встретил его колокольным звоном. На робкое замечание священника, что трезвоним встречают только лиц царской фамилии, Гасфорт грозно заявил: «Здесь я царь! Чтоб в следующий приезд, приказываю, трезвонить во все колокола» (Врангель, с. 77).

Гасфорт очень любил разыгрывать из себя высочайшую особу. Ревизуя судебные дела Семипалатинского округа, Гасфорт в некоторых из них не увидел подписи прокурора. Он набросился на Врангеля. Последний ответил генералу, что прокурор по закону не обязан пропускать журналы округа. «Я здесь приказываю, я — закон», — резко оборвал Гасфорт прокурора. — «Как угодно будет приказать министру юстиции», — ответил на это Врангель. — «Что?! Здесь я министр юстиции», — дико зарорал Гасфорт (Врангель, с. 73)⁶.

Наезды генерал-губернатора так встряхивали семипалатинцев, что, по отъезде начальства, чиновный мир долго обыкновенно не мог очухаться.

Память Гасфорта увековечена в Семипалатинске присвоением его имени площади, на которой разбит сквер и построена Никольская церковь. Можно себе представить, как себя чувствовали в Семипалатинске лица с умственными запросами и потребностями к культуре, заброшенные сюда, вроде Достоевского и Врангеля. Их положение было прямо трагическое. Пустота жизни давала себя чувствовать; одной службой трудно было довольствоваться, «во вся тяжкая» не хотелось пускаться. Приходилось изыскивать способы разумного времяпрепровождения. Врангель, например, завел хозяйство, в котором Достоевский принимал участие. Федор Михайлович с усердием занимался цветами, поливал их и всячески ухаживал за ними. Друзья развели в городе цветы, до того невиданные в Семипалатинске: левкои, георгины и т. п.

Семипалатинская глушь действовала на Достоевского удручающе. Невозможность для Достоевского печатать свои произ-

ведения еще более усиливала душевную тяжесть писателя. Творческие порывы Федора Михайловича не находили выхода.

Достоевский рвался поступить на гражданскую службу хотя бы маленьким чиновником, чтобы получить возможность открытого участия в литературе, куда ему пока был загражден доступ. Все это крайне расстраивало Федора Михайловича. «Семипалатинск надоел мне смертельно»,— пишет он своему другу. Об этом захолустье Достоевский вспоминает потом в Твери: «Теперь я заперт в Твери,— пишет он Врангелю,— и это хуже Семипалатинска. Хотя Семипалатинск в последнее время изменился совершенно (не осталось ни одной симпатичной личности, ни одного светлого воспоминания), но Тверь в тысячу раз гаже» (письмо от 22 сентября 1859 г.).

Итак, Семипалатинск времен Достоевского представлял из себя отчаянную глушь, страшное захолустье, и в этом-то захолустье Федору Михайловичу Достоевскому пришлось прожить более пяти лет⁷.

Автор этой статьи — кузнецанин Валентин Федорович Булгаков (1886—1966), последний секретарь Л. Н. Толстого. Во время учебы в Томской гимназии он часто наезжал в родной город и беседовал со старожилами — очевидцами кузнецких дней Достоевского и его венчания с М. Д. Исаевой. Подробнее об этом периоде в жизни писателя см.: П. В. Бекедин. Малоизвестные материалы о пребывании Достоевского в Кузнецке//Достоевский. Материалы и исследования, т. 7. Л., 1987. С. 227—238; М. М. Кушникова. Кузнецкие дни Федора Достоевского. Кемерово, 1990.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В КУЗНЕЦКЕ

В этом маленьком городке Томской губ. Федор Михайлович провел всего лишь несколько недель, но здесь совершилось важное событие в его жизни, именно женитьба на Марье Дмитриевне Исаевой.

Нынешним летом мне удалось собрать в Кузнецке кое-какие сведения о самом писателе, а также о его невесте. Я пользовался при этом воспоминаниями некоторых старожилов и, кроме того, в архиве церкви, где происходило венчание, нашел интересный документ — «выпись» из так называемого «брачного обыска»*. Полагая, что для всех, кому дорого имя покойного Фед. Мих., будет небезынтересно познакомиться с лишней страничкой из его жизни, я решил собранные материалы предать печати.

С М. Дм. Исаевой Федор Михайлович познакомился еще в Семипалатинске, когда, отбыв срок каторжных работ и прослужив четыре года солдатом в тамошнем сибирском линейном № 7 батальоне, он был, наконец, сделан прапорщиком. Муж Исаевой был чиновником особых поручений при каком-то важном лице. Он в то время вел безобразную жизнь, злоупотребляя спиртными напитками. Переведенный вскоре в Кузнецк корчемным заседателем**, Исаев скончался здесь в мучениях, оставив жену и двух малолетних детей без всяких средств к жизни***. Федор Михайлович, извещенный о смерти Исаева, немедленно выслал Марье Дмитриевне значительную сумму денег, которую, говорят, сам достал с трудом. Тогда же он начал хлопотать о приеме ее старшего сына¹ на казенный счет в учебное заведение. Много помогала Исаевой жена местного исправника, богача и хлебосола, Анна Николаевна Катанаева. Она ценила в Марье Дмитриевне ее воспитанность, ум и высокую образованность. Большой поддержкой являлись для семей-

* Самый «обыск», с автографами Достоевского, его жены и др., затерялся неизвестно где (здесь и далее прим. В. Ф. Булгакова).

** «Выпись» из «брачного обыска».

*** Свидетельство Т. М. Темезевой, дочери чиновника, и вдовы штабс-капитана М. В. Темновой.

ства Исаевых деньги, которые Марья Дмитриевна зарабатывала частными уроками. Между прочим, она преподавала французский язык учителю местного приходского училища Вергунову. Он, говорят, был неравнодушен к Марье Дмитриевне и, так же, как Достоевский, всеми средствами старался облегчить ее тяжелое положение*. Известно даже, что Федор Михайлович ревновал Марью Дмитриевну к Вергунову, но потом, вполне убедившись, что она его любит, взял отпуск и поехал из Семипалатинска в Кузнецк.

Здесь он остановился у Исаевых, которые в то время квартировали в небольшом домике портного Дмитриева. Домик этот помещался по Полицейской улице, три года тому назад переименованной, впрочем, в улицу Достоевского. Он состоит из двух маленьких комнат, коридорчика — передней и кухни. Недавно обшили его тесом.

Брак был решен. Но требовались издержки, а между тем средства как жениха, так и невесты были крайне ограничены. Начались соображения, откуда достать денег. Тут явилась на помощь опять А. Н. Катанаева: она упростила бракосочетавшихся все труды и хлопоты по устройству свадьбы предоставить ей. Весть о том, что на Исаевой женится какой-то приезжий офицер-писатель и что свадьбу эту устраивает Катанаева, быстро облетела весь город, так что 6 февраля 1857 г., в один день, назначенный для бракосочетания, Одигитриевская церковь оказалась наполненной народом. В самом деле, благодаря участию Катанаевой, свадьба вышла весьма пышная. Вот что рассказывает Т. М. Темезева, которая присутствовала в церкви.

— За народом едва можно было протолкаться вперед... Конечно, присутствовало в церкви и все лучшее кузнецкое общество — Анна Николаевна всех пригласила. Дамы были все разнаряжены... В церкви — полное освещение. Сначала, как водится, приехал жених. Конечно, внимание всех на него обратилось. И я смотрела с любопытством: хоть мне и было только лет 16, но я слышала, что он не простой человек — писатель... Он, помню, был уже не молодой, лет тридцати восьми**, довольно высокий, — выше, пожалуй, среднего роста... Лицо имел серьезное. Одет он был в военную форму, хорошо, и вообще, был мужчина видный. Жениха сопровождали два шафера: учитель Вергунов и чиновник таможенного ведомства Сапожников. Скоро прибыла и невеста, также с двумя шаферами; один из них был сам исправник Иван Миронович Катанаев. Худенькая, стройная и высокая, Марья Дмитриевна одета была очень нарядно и красиво, хотя и вдовушка... Венчал священник о. Евгений Тюменцев в сослужении с дьяконом (по

* Т. М. Темезева.

** Ф. М. было тогда 34 года, невесте — 29 лет (по «брачному обыску»)?

«брачному обыску» — о. Петром Углянским). Были и певчие... После совершения таинства молодые и гости отправились на вечер в дом, кажется, Катанаевых. Я не была там...

Почти то же сообщил мне о свадьбе другой очевидец Д. И. О कोरोков *. Он был лично знаком с Федором Михайловичем и часто встречался с ним на вечерах, которые устраивались еще до свадьбы у Катанаевых. Достоевский присутствовал на них вместе с невестой. По словам О कोरोкова, он всегда бывал в очень веселом расположении духа, шутил, смеялся. Это сообщение должно для нас быть особенно интересным. Как известно, вообще Федор Михайлович отличался характером необщительным, даже мрачным. Очевидно, здесь, в Кузнецке, под влиянием близости любимого существа, вдали от служебных обязанностей, от мест, неприятных тяжелыми воспоминаниями, Федор Михайлович чувствовал себя, если не вполне счастливым, то удовлетворенным более или менее. Этим и можно объяснить его хорошее расположение духа, о котором говорит и на котором, нужно прибавить, прямо настаивает О कोरोков. Когда устраивались карты, Федор Михайлович не отказывался принимать участие; случалось ему, как другим, выигрывать и проигрывать. Сам О कोरोков не раз играл с ним.

Нередко видели Федора Михайловича в его военном плаще гуляющим по улицам города вместе с Марьей Дмитриевной **.

Посещал он часто венчавшего его священника о. Евгения Тюменцева, которому прислал в подарок свою автобиографию ***.

В этих посещениях знакомых, прогулках, вечерах, картах проходило время. Срок отпуска, данного Достоевскому, истек. Скоро он, вместе с женою, действительно покинул Кузнецк. Перед самым отъездом была на могилу Исаева, где стоял лишь деревянный крест ⁴, положена чугунная плита, изготовленная по распоряжению Марьи Дмитриевны. Я был на местном кладбище, отыскал могилу ⁵ и прочел эпитафию. Мне кажется, едва ли Федор Михайлович и его жена предпринимали что-нибудь тогда, не посоветовавшись предварительно, а если так, то мы имеем основание предполагать, что Федор Михайлович участвовал в составлении этой эпитафии или, по крайней мере, видел и одобрил ее. Она не длинна, и я позволю себе ее привести:

«Азь есмь воскресеніе и живот, веруяй в Мя имать животь вѣчный». Здѣсь покинется тѣло Александра Ивановича Исаева. Он умер 4 августа 1855 года.

* О. проживает в с. Бачате, за 100 в. от Кузнецка. Я заезжал к нему на обратном пути в Томск.

** М. В. Темнова.

*** Е. Е. Васильева (дочь Тюменцева). Книга утеряна.

⁴ Д. В. Корчуганов.

⁵ Согласно указаниям Т. М. Темезевой.

ПЕРВАЯ ВЕРШИНА „ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ“

А. И. МАРКЕВИЧ

Это речь, произнесенная историком Алексеем Ивановичем Маркевичем (1847—1903) на торжественном заседании Славянского благотворительного общества 8 февраля 1881 г. См. в настоящем издании в гл. «Каторга» публикацию А. И. Маркевича «К воспоминаниям о Ф. М. Достоевском».

ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

... В 1859 г. Достоевскому позволено было выйти в отставку и поселиться в Твери, а еще через несколько месяцев с него была снята всякая опала.

В это время и мне довелось раз в жизни видеть Достоевского. Не помню, по какому поводу нас, нескольких учеников Межевого института пришли к своему училищному доктору. У него мы застали Достоевского, его близкого родственника¹. Мне успел кто-то шепнуть: «Это Достоевский!» И я не без любопытства стал его рассматривать. Признаюсь, что едва ли не больше всего нас заинтересовал в Достоевском человек, вернувшийся с каторги. Не знаю, как мои товарищи, но я хотя и знал, что Достоевский считается известным писателем, но не мог тогда как следует оценить «Бедных людей». Нравилась мне «Неточка Незванова», но нравилось и многое другое. Прежняя известность Достоевского потускнела — новая не наступила, так как «Мертвый дом», например, еще напечатан не был. Повести, привезенные им из Сибири, ничего не прибавили к его известности. Пробыли мы с Достоевским столько времени, сколько нужно, чтобы напиться чаю. Достоевский все время сидел в кресле в углу, в полумраке. Его спрашивали о Сибири, о каторге, но ответы его были очень кратки. Наружность его известна. Он был небольшого роста, худощавый и очень бледный; только глаза были очень нервные. Говорили, что с закрытыми глазами он похож на мертвеца. Что обращало внимание в Достоевском — это его нервные подергивания: конечно, мы не знали, что он эпилептик...

Воспоминания принадлежат перу писателя и публициста Николая Николаевича Фирсова (1839—?) (литературный псевдоним Л. Рускин).

В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «РУССКОЕ СЛОВО»

(Из воспоминаний шестидесятника)

Кстати, приведу имеющие некоторое отношение к статьям о Пушкине, появившимся в «Русском слове», слова, слышанные мною от Ф. М. Достоевского. Я Федора Михайловича нередко встречал у А. Н. Плещеева, с которым был знаком не профессионально, а с раннего детства, потому что младший брат моего отца был его университетским товарищем и приятелем. О близких же отношениях между Достоевским и Плещеевым всем известно.

Как-то вечером в конце 1858 или в начале 1859 г. (я тогда только что вышел из Михайловского артиллерийского училища и слушал лекции в военной академии) я зашел к Плещееву, жившему в Болотной (нынче Коломенской улице). Я застал у него Достоевского¹. Федор Михайлович по своему обыкновению ходил беззвучно (он любил мягкую обувь) взад и вперед по скромно обставленному зальцу. Сухонькая старушка, мать хозяина, сидела на диване. Плещеев говорил о направлении некоторых толстых журналов того времени «великих надежд и начинаний» и особенно о литературной критике в этих журналах. Он часто прерывал свою речь, словно вызывая Достоевского высказать свое мнение, но тот равнодушно отмалчивался, может быть, просто по своей привычке подговорок других обдумывать предстоящее изложение одного из своих романов. Я уже знал ранее, что это обдумывание совершалось у него всего успешнее на ходу и иногда поглощало всецело его мысль при самой неподходящей шумной обстановке. Несколько лет спустя, например, когда мы с ним одновременно жили летом на минеральных водах Старой Руссы², Федор Михайлович почти ежедневно под вечер приходил совершать свою прогулку в общественный сад, где гремела в это время музыка, и ходил, волоча ноги в мягких сапогах, кругом оркестра, заложив руки за спину, немного горбясь, одиноко и безмолвно. Он, по-видимому, не обращал внимания, может быть, не сознавал ни присутствия густо толпившейся, трескотно болтавшей публики, ни грохота военных труб.

Возвращаясь же домой, как мне рассказывали близкие ему лица, он почти неизменно сию же минуту диктовал, и тоже на ходу по комнате, несколько страниц романа, которым был занят в данное время.

У Плещеева во время упомянутого мною вечера Достоевский изредка останавливался, но только на несколько секунд, как будто собираясь что-то сказать. Но, должно быть, раздумывал, и снова волочил ноги по паркету... Плещеев между прочим упомянул о Пушкине и об отношении к его поэзии некоторых современных критиков. Тогда Достоевский восторженно, резко остановился и, обратясь почему-то прямо ко мне, сказал твердым, но тихим голосом:

— А вот, помяните мое слово, недалеко время, когда и Пушкина станут грязью обливать... Вот вы, молодежь, наверно, это увидите... А нам было бы лучше не дожить до этого.

Затем, повернувшись на своих беззвучных подошвах, Федор Михайлович опять засновал по диагонали зала. Плещеев, видимо, озадаченный и удивленный, ничего не нашелся сказать, а, помолчав немного, как-то неуверенно рассмеялся и стал доказывать, что «это уж совсем невозможно». Старушка даже всплеснула руками, выронив свое вязание, и почти взвизгнула:

— Ну, уж вы, Федор Михайлович, скажете тоже!

Достоевский только мельком оглянулся и строго утвердительно кивнул головой.

Я был скорее огорчен, чем поражен; мне вдруг стало чего-то очень жалко. Не Пушкина, а нас самих — молодежь, выросшую на его произведениях. Мне чужалось, что Достоевский не ошибается, как ни жестоко было его проречение. Хотя мне редко случалось беседовать с Федором Михайловичем, но проницательность его меня неоднократно поражала. Правда, в статьях журналов того времени никаких признаков подготовки вылазок на дорогого поэта мне еще не встречалось. Не случалось и слышать в тех немногих литературных кружках, с которыми я был знаком. Я бывал в редакции «Русского слова», беседовал с Писаревым. Я встречался с И. И. Панаевым, Гончаровым, Д. В. Григоровичем, Краевским в доме моего близкого родственника*, не писателя, но всесторонне образованного человека, интересовавшегося литературными течениями, знавшего лично, тогда уже давно покойных, Пушкина, Жуковского, Грибоедова, Глинку и других. Я бывал у Дружинина, а также в редакции журнала «Рассвет». Прислушивался обыкновенно к речам писателей; но никогда никто, ни юные, ни «древние» не пророчили того, что предрек Достоевский.

Однако тут, у Плещеева, мне внезапно вспомнилось несколько странных фраз, оброненных недавно при мне между Благосветловым³ и Писаревым по поводу значения для поэзии естественных наук, хотя при этом ничего о Пушкине собственно не упоминалось.

* Григория Павловича Неболсина, впоследствии сенатора и члена государственного совета. (Примеч. Н. Н. Фирсова).

Как бы то ни было, пророчество Федора Михайловича вскоре исполнилось, причем первый и самый острый камень в Пушкина бросил тоже дорогой мне писатель нашего поколения — Писарев. Мне становилось горько, что та юношеская рука, которую так искренне дружески жала моя, поднялась на автора «Онегина» и «Капитанской дочки». Гораздо позднее, когда в 80—90-х годах происходило нечто вроде ликвидации литературных веяний 60-х годов, и особенно во время юбилейного чествования памяти Пушкина, мне все-таки не менее горько было, что погибший уже тогда давно Писарев совершил такую ошибку⁴.

Автор этих воспоминаний — Николай Федорович Бунаков (1837—1904), педагог, беллетрист, этнограф, статистик, участник революционного молодежного кружка в Вологде, а с 1862 г. член «Земли и воли». В качестве сотрудника журналов братьев Достоевских «Время» и «Эпоха» был хорошо знаком с Достоевским. О сотрудничестве Бунакова во «Времени» и «Эпохе» см. в кн. В. С. Нечаевой «Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских „Время“. 1861—1863. М., 1972 и «Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских „Эпоха“ 1864—1865. М., 1975.

ЗАПИСКИ.

МОЯ ЖИЗНЬ В СВЯЗИ С ОБЩЕРУССКОЙ ЖИЗНЬЮ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ. 1837—1905

... Очень приветливо и сердечно приняли меня Достоевские, Михаил Михайлович, издатель и редактор журнала «Время», в котором был напечатан мой рассказ «Село на юру» и для которого я привез с собой новую большую повесть «Город и деревня» (напечатана в том же 1861 году), и брат его Федор Михайлович, только что возвратившийся из ссылки...

Федор Михайлович Достоевский пригласил меня на вечер, где я познакомился со всем кружком журнала¹... Кусков² горячился. Грузный Разин³ возражал отрывочно и с менторской важностью. Благодушный Н. Н. Страхов держался неопределенной середины. Нервный Федор Михайлович Достоевский, бегая по комнате мелкими шажками, некоторое время не вмешивался в разговор, потом вдруг заговорил, пришептывая, — и все примолкли: это, очевидно, был пророк кружка, перед которым все преклонялись.

А этот пророк говорил о смирении, об очищающей силе страдания, о всечеловечности русского народа, о невозможности с его стороны никаких самовольных движений ради собственного блага, об отвращении его ко всякому насилию, о неестественности какого бы то ни было общения между ним и самозванными радетелями его, набравшимися революционных идей или из книжек, или прямо из жизни Запада, которая противоположна русской жизни и не может служить ей примером...

Эти любопытные воспоминания о восприятии Достоевского радикально настроенной молодежью 1860-х гг. принадлежат перу филолога — академика Владимира Николаевича Перетца (1870—1935).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

К концу 1860-х гг. Ф. М. Достоевский уже имел большую популярность среди читающей публики. Каждое слово его ловилось жадно, комментировалось. Его выступления на литературных вечерах собирали массу слушателей. Много находилось уже и таких особ, которые обращались к Федору Михайловичу за разрешением тяготевших их вопросов, ища в нем руководителя совести и просто доброго советчика в трудных житейских делах. В начале 1860-х гг. обратилась за советом к Федору Михайловичу моя тетка, Елизавета Карловна Степанова (Цихонович), встречавшаяся с великим знатоком человеческой души у небезызвестной женщины-врача, одной из пионерок женского медицинского образования в России — Сусловой-Эрисман¹.

В семействе родителей Сусловой бывал Ф. М. Достоевский. Бывала там и тогдашняя медицинская молодежь, из которой впоследствии вышли такие светила науки, как проф. Доброславин, проф. В. И. Добровольский и др., настроенные весьма радикально и еще не пережившие тех увлечений, которые разделял Федор Михайлович в ранний период своей литературной деятельности. Разгорались споры и, как всегда у нас, споры горячие о вопросах — неразрешимых. И моя мать, и тетка, тогда еще молодые девушки, были свидетельницами одного горячего спора. Достоевский говорил о будущем русского народа, о том, что ему нужно, о его исконных чертах души, развивал те идеи, которые позже выразил в своих творениях. Славянофильская окраска идей Достоевского, с религиозно-мистическим настроением, тогда уже вполне определившимся, не удовлетворяла его собеседников, «положительно» мыслящих в духе модного материализма. Один из студентов, особенно азартный оппонент — в упор задал Достоевскому вопрос в такой резкой и прямолинейной формулировке: «Да кто вам дал право так говорить от имени русского народа и за весь народ?!» Достоевский быстрым неожиданным движением открыл часть ноги — и кратко ответил изумленной публике, указывая на следы каторжных оков: «Вот мое право!» Не знаю, сохранился ли этот эпизод в памяти других присутствовавших. Мои старушки любили вспоминать о нем.

Хотя автора этих воспоминаний пока не удалось установить, но их достоверность не вызывает сомнений.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Целый ряд поминок: Грибоедов, Достоевский, Аксаков и впереди еще Глинка...

По нынешнему времени только и приходится писать либо о похоронах, либо о поминках.

Вспоминается, например, как хорошо, торжественно хорошо Достоевского, а как скудно и бедственно прожил свою жизнь этот замечательный писатель русской земли.

Личное мое знакомство с ним, начатое в семье его друга, покойного А. П. Милюкова, длилось лет 15, и всегда я знал его в одинаковом положении и одинаково верным своему характеру, нервному, властному, самолюбивому и не допускавшему противоречий, особенно глупых...

Помнится, за чайным столиком, вокруг которого собрались он, Майков, Данилевский¹, Лесков, Шубинский², Берг³ и еще кто-то,— один тогда еще молодой человек, некто г. Сер-в⁴, затеял спор с Ф. М. Достоевским и начал стрелять в него модными тогда книжными фразами.

— Э-э-э,— резко ответил Достоевский,— да вы мало того, что молокосос, а еще и нигилист, так я с вами и говорить-то не желаю...

Всем сделалось неловко, но никто не был на стороне «молокососа». Личность Достоевского слишком искренна была для того, чтобы не располагать к себе даже резкостями.

Это чувствовала и учащаяся молодежь, устроившая ему невиданную процессию с похоронными венками и хором.

Черту болезненного самолюбия, свойственную многим крупным талантам, Достоевский на моих глазах проявил и в Москве на думском обеде по случаю открытия памятника Пушкину в 1880 году.

Распорядителем обеда были Ф. Н. Плевако⁵ и городской голова Третьяков⁶, которые и отвели место Достоевскому за первым столом, но несколько подальше от центра. Он заплакал и категорически заявил, что не сядет *ниже* Тургенева, и тот любезно уступил ему место, подвинувшись к Стасюлевичу⁷.

Но когда на другой день в зале Дворянского собрания Достоевский произнес свою знаменитую речь о Пушкине и русской народной душе, ее скитаниях в области идеалов и пр.,

И. С. Тургенев и вся аудитория уже по достоинству признали за ним первенствующую роль на празднике.

И вот такой-то великий человек был совершенным ребенком в жизни, обнаруживая иногда детскую наивность.

На том же, например, пушкинском празднестве все мы, представители тогдашней петербургской литературы и прессы, считались гостями города Москвы, пользовались помещениями в гостиницах, полным содержанием и экипажами в течение недели.

Потом стали разъезжаться. Пора, дескать, и честь знать. Поблагодарили Ф. Н. Плевако и простились.

Один Ф. М. Достоевский остался на долгое время.

— Зачем я буду торопиться! Здесь так прекрасно, и город Москва так принимает меня любезно.

Город Москва был, конечно, рад, что он так понравился знаменитому писателю, и просил погостить сколько ему будет угодно.

Натура Ф. М. Достоевского, несмотря на резкость, была в высшей степени честная и деликатная.

Никто при жизни не слышал от него жалоб, например, на А. А. Краевского, у которого он много лет работал, а между тем, по случаю поминок, кто-то откопал и опубликовал его переписку с этим миллионером-издателем, которая содержит целую трагедию писательской жизни.

Опутав лучшего своего сотрудника авансами, издатель выдавал ему на прожитие только 50 р. в месяц, а остальное все удерживал в погашение долга, рассчитывая гонорар в 50 р. с листа. Это Достоевскому-то!

Доходило до того, что автор «Мертвого дома» просил у издателя-кредитора «помощи к празднику Пасхи», а однажды просто 10 р. чуть не Христа-ради.

Но опустим занавес на эту трагедию, предоставляя покойникам свести счета там, в ином мире.

Эти и последующие воспоминания, публикуемые в настоящем издании, принадлежат перу писательницы Аделаиды Гавриловны Шиле (1842—1919). В Центральном государственном архиве литературы и искусства (Ф. 212, оп. 7, ед. хр. 3) сохранились «Воспоминания неустановленного лица» под заглавием «Страничка из моих литературных воспоминаний». Еще в 1969 г. мы установили, что эти воспоминания тоже принадлежат А. Г. Шиле (см.: С. В. Белов. Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Библиогр. указатель//Проблемы жанра в истории русской литературы. Л., 1969. С. 316), хотя Т. И. Орнатская, публикуя их в 1991 г. в 9-м сборнике «Достоевский. Материалы и исследования», приписывает себе это открытие.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

Я познакомилась с покойным писателем Достоевским в 1864 г., что связано со временем, с которого начинаются мои искания литературной работы. Со всех сторон мне говорили, что без литературных знакомств работу найти невозможно, а встретиться с кем-нибудь из известных литераторов того времени возможно было в книжных магазинах Базунова¹, бывших у Казанского моста (где теперь Учетный банк), Звонарева (у Аничкова моста, в д[оме], где теперь химическая лаборатория), или Кожанчикова² (в Гостином дворе). В этих трех пунктах ежедневно сходились литераторы той или иной группы между 3 и 5 часами.

Мне, с моим общительным характером, не представляло никакого труда заводить литературные знакомства: я стала посещать эти книжные магазины и имела случай познакомиться с Ф. М. Достоевским через посредство покойного А. Ф. Базунова, который рекомендовал меня Федору Михайловичу, как ищущую литературную работу.

Чтобы узнать, насколько я владею иностранными языками, Ф[едор] М[ихайлович] велел мне принести ему какой-нибудь перевод. В то время я только что окончила перевод книги Дэбэ «Philosophie du mariage»*, заказанный мне неким Тюриным, служившим в книжном магазине Я. А. Исакова³ и, на мое несчастье, внезапно умершим. По совету Базунова я понесла показать этот перевод Ф. М. Неделе через две получаю от него письмо по городской почте, в котором он сообщил мне, что перевод одобрил и передал А. Ф. Базунову с просьбой издать эту книжку за приличный гонорар.

Получив это письмо, я на другой же день была у Ф[едора] М[ихайловича], жившего в то время на Екатерининском канале (близ Малой Мещанской) в *chambres garnies***.

* «Философия брака».

** Меблированные комнаты (фр.).

тил он меня, как и в первый день знакомства, тепло и ласково и пообещал мне дать работу в своем журнале «Эпоха».

После первых же слов он сказал:

— Все это хорошо, но ведь вам нужны деньги, приходите завтра к Александру Федоровичу — я вам устрою аванс.

В назначенный час я прихожу к Базунову. Достоевский был уже там. Взяв меня за руку, Ф[едор] М[ихайлович] сказал Базунову:

— Прошу любить и жаловать молодую, талантливую переводчицу и дать ей авансом 70 руб., а остальные заплатите по напечатании перевода.

Для Базунова, глубоко уважавшего великого писателя, просьба его была законом, и он тотчас же в присутствии Федора Михайловича отсчитал мне 70 руб. авансом.

Это был первый мой литературный заработок.

ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Сорок с лишком лет прошло с тех пор, как я познакомилась с Федором Михайловичем. Это было в 1864 г., когда Достоевский, после смерти брата своего Михаила, принял на себя, негласно, руководство «Эпохой».

Я пришла к нему, в назначенный им самим день, за обещанным переводом. Жил он в то время на Екатерининском канале, близ Средней Мещанской, в меблированных комнатах.

Как сейчас помню, в 10 ч утра (как он мне назначил), я вошла в небольшую комнату, рядом с кабинетом Федора Михайловича и застала его сидевшим перед ломберным столом, спиной к дверям, барабанившим пальцами по столу и тихо напевавшим французский романс: «*Et rose, elle a vécu, [Ce que vivent les roses, L'espace d'un matin]*» *.

Он так был углублен в свои мечты о чем-то, что не слышал моих шагов. Я подошла к нему, он был страшно бледен и, видимо, не узнал меня, хотя смотрел на меня в упор какими-то странными глазами. . . Не прошло и десяти минут, как с Федором Михайловичем начался припадок эпилепсии. Лицо его совершенно исказилось, он бился головой о кресло, на котором сидел, изо рта показалась пена и раздался такой хрип, что я испытывала ужас. Но отойти от него не решилась, из боязни, чтобы с ним не случилось чего-нибудь горшего.

Я кликнула хозяйку квартиры, та прибежала с белой скатертью в руках и накрыла ею лицо страдальца.

Хозяйка, видимо, привыкла к такого рода припадкам, минутку постояла и ушла к себе, а меня оставила с больным — да я и сама не могла уйти, так мне жаль было его!

Через полчаса раздался звонок, и в комнату вошел молодой человек, студент небольшого роста, блондин, и отрекомендовался мне племянником Федора Михайловича². Он подошел к дяде и снял скатерть с его лица.

Федор Михайлович дышал спокойно, без хрипа, и впал в глубокий сон, продолжавшийся недолго. Очнувшись, Федор Михайлович подозвал к себе племянника, называя его Пашей, и стал меня с ним знакомить, причем очень был удивлен, что мы уже познакомились, видимо, не помня ничего, что с ним происходило.

Мы все перешли в кабинет. Федор Михайлович сел на диван и велел Паше достать с полки французскую книжку под названием: «*Jacquerie*», которую и дал мне для перевода, советуя озаглавить по-русски: «Война Жаков». Все указания Федора

* И роза, она прожила, сколько живут розы,— одно лишь утро (фр.)¹.

Михайловича мною были исполнены в точности, и перевод мой был им одобрен.

Так началось мое знакомство с Достоевским, которое оставило во мне неизгладимое впечатление на всю мою жизнь. Его многострадальный образ всегда со мною. Федор Михайлович относился ко мне совсем по-отечески, даже баловал меня, как ребенка. Узнав от меня, что я люблю быструю, бешеную езду, он часто катал меня на «лихаче». «Поезжай, чтобы дух захватывало»,— приказывал он извозчику. После катания Достоевский угощал меня шоколадом в кондитерской Вольфа у Полицейского моста, где ныне ресторан Альберта.

В то время, в конце 1864 г., здоровье Федора Михайловича было удовлетворительно, он чувствовал, по его словам, большой приток жизненных сил; много работал, ежедневно гулял и был весел. Часто назначал он мне встречи в книжном магазине Базунова или звал к себе. «Я пишу большой роман,— говорил он,— мозг устал, надо передышку сделать»³.

В 1865 г. Федор Михайлович уехал за границу. В 1867 г. он вторично женился. Выбор его пал на Анну Григорьевну Сниткину.

Случай на днях познакомил меня с нею. Вдова Федора Михайловича полна памятью великого мужа, с которым она была счастлива 14 лет. «Не правда ли,—сказала она мне с грустью,—какая злая ирония судьбы. При жизни Федор Михайлович вечно нуждался в деньгах, а после его смерти деньги полились со всех сторон, и если бы он имел в то время десятую долю того, что теперь имеем мы (я и мои дети), он не страдал бы так и не был бы вынужден работать „наспех“ и „... гнать на почтовых“, как он сам говорил».

В заключении нашей беседы Анна Григорьевна мне рассказала, по ее мнению, знаменательный факт: в день кончины Федора Михайловича, 28-го января, т. е. в то самое число через 27 лет, родился у нее внук, названный Андреем, в память младшего брата Федора Михайловича, и, начиная с нее самой, все в семье уверены, что в этого ребенка переселилась душа его деда...

По рассказам, это удивительный мальчик. 28-го января ему минет три года, а он рассуждает как взрослый. Задает, например, своему старшему брату, которому 5½ лет, такого рода вопросы: «Федя, где Бог? Мне хочется его увидеть!»— «На небе»,— отвечает Федя.— «Как ты думаешь, если я полечу на аэроплане,—увиджу я Бога?» Не проходит дня, чтобы Андрюша не проявил себя чем-нибудь особенным. При этом он страшно впечатлительный, экспансивный и сострадательный: не может видеть, если кто-нибудь из домашних в горе, старается все сделать, чтобы утешить.

Память знаменитого писателя увековечена основанием школы его имени в Старой Руссе, где любил проводить лето покойный Федор Михайлович.

Сейчас школа эта имеет свой большой дом, купленный вдовой Достоевской за 15 000 руб. Обучаются 375 девочек, имеется общежитие на 30 девочек, родители которых не живут в Старой Руссе. Учебный персонал состоит из двух священников-законодателей и 13 учительниц, занимающихся, кроме обучения грамоте, преподаванием рукоделия и ремеслами. Школа эта основана в 1883 г. и разрастается с каждым годом, по словам ее основательницы, преследуя исключительно религиозно-нравственное направление.

Петр Исаевич Вейнберг (1831—1908), историк литературы, поэт и переводчик, активно участвующий вместе с Достоевским в деятельности Литературного фонда после возвращения писателя из ссылки. 14 апреля 1860 г. оба они играли в спектакле «Ревизор» в пользу фонда (Достоевский исполнял роль Шпекина). Публикуемые воспоминания П. И. Вейнберга — единственный мемуарный источник, свидетельствующий о непосредственной реакции Достоевского на злодейское покушение Д. В. Каракозова на Александра II.

4-е АПРЕЛЯ 1866 г.

(Из моих воспоминаний)

3-го апреля 1866 г., часов в шесть после обеда, я сидел у окна своей квартиры, находившейся против ворот Главного Интендантского управления, на Вознесенском проспекте.

Внимание мое привлек происходивший в этих воротах шум. Два сторожа дрались с каким-то молодым человеком, ремесленного вида, в чуйке и картузе. Некоторые подробности этой борьбы вызвали мое любопытство, и я послал прислугу, узнать, в чем дело. Оказалось, что в Интендантском Управлении служил курьером (или чем-то в этом роде) Комисаров, имевший брата, Осипа, ремеслом картузника. Этот Осип запивал, в нетрезвом виде являлся к брату и затевал шум, подобный тому, при котором я присутствовал в эти минуты, и вследствие которого буяна приходилось выпроваживать силою.

То был тот самый Осип Комисаров, которому на следующий день предстояло сделаться героем события. . .

4 апреля, тоже в послеобеденное время, я пришел к поэту Аполлону Николаевичу Майкову, в котором — кстати сказать — ценил истинного поэта-художника, но с которым резко расходился в политических убеждениях и взглядах, вызывавших частые и доходившие иногда до ожесточения споры между нами. Майков был в ту пору ультра-консерватором, хотя не дошел еще до той, могу сказать, неистовой нетерпимости относительно противоположного лагеря, которою он отличался в последние годы своей жизни. На этот раз, т. е. 4 апреля, мы мирно беседовали о чисто литературных, художественных вопросах, когда в комнату опрометью вбежал Федор Михайлович Достоевский. Он был страшно бледен, на нем лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке.

— В царя стреляли! — вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от сильного волнения голосом.

Мы вскочили с мест.

— Убили? — закричал Майков каким-то — это я хорошо помню — нечеловеческим, диким голосом.

— Нет... спасли... благополучно... Но стреляли... стреляли... стреляли...

И, повторяя это слово, Достоевский повалился на диван в почти истерическом припадке...

Мы дали ему немного успокоиться, — хотя и Майков был близок чуть не к обмороку — и втроем выбежали на улицу. (Майков жил в то время на Большой Садовой, против Юсупова сада, в доме Куканова).

В настоящее время, когда к подобного рода покушениям публика успела уже более или менее присмотреться, невозможно и представить себе, что делалось в Петербурге в этот вечер 4 апреля, когда этот выстрел в русского царя был первым таким выстрелом, раздавшимся в России... Можно безошибочно сказать, что весь Петербург высыпал на улицу. Движение, волнение невообразимое. Беготня во все стороны, преимущественно по направлению к Зимнему Дворцу, крики, в которых чаще всего слышатся слова «Каракозов! Комисаров!», угрожающие ругательства по адресу первого, восторженные восклицания по адресу второго¹, группы народа, поющие «Боже, царя храни» и тут же импровизированные оркестры, играющие — и довольно фальшиво, хотя и с великим усердием, — тот же гимн... А в этих толпах, характеристическою дисгармонией, попадают мне навстречу то тут, то там угрюмые, сердито-разочарованные лица, вижу я губы, которые, как совершенно ясно для меня, желали бы раскрыться для совершенно иных звуков, но чувствуют полную невозможность, да и полную бесполезность, даже несомненную опасность такого оппозиционного заявления в такую минуту...

С Майковым и Достоевским я расстался скоро. Они смешались с ликующей толпой, а Майков под влиянием охватившего его патриотического одушевления несколько времени спустя (как я узнал на следующий день) побежал домой писать стихотворение по этому случаю...

Весной 1866 г. Достоевский, как он писал 9 мая своему семипалатинскому другу А. Е. Врангелю, собирался уехать в Дрезден и «засесть там на 3 месяца и кончить роман, чтоб никто не мешал» (Полн. собр. соч., т. 28. Кн. 2. Л., 1985. С. 157). Однако многочисленные притязания кредиторов не дали возможности «сбежать» за границу, и лето 1866 г. Достоевский проводит в подмосковном селе Люблине, у своей любимой сестры Веры Михайловны Ивановой (1829—1896).

Глубокая, чистая, духовная любовь Достоевского к ее дочери Сонечке Ивановой (писатель посвятит ей роман «Идиот»), увлечение писателя невесткой сестры Еленой Павловной Ивановой, предчувствие близких радостных перемен в личной жизни (скоро будет счастливый брак с Анной Григорьевной Сниткиной), общение с замечательной молодежью, боготворившей его, успешная работа над «Преступлением и наказанием», — все это сделало люблинское лето 1866 г. первым счастливым временем в жизни Достоевского после смерти в 1864 г. его первой жены М. Д. Исаевой и брата М. М. Достоевского.

О люблинском лете 1866 г. рассказывают и мемуары писателя Николая Николаевича Полянского (1862—1938), написанные им в Москве в 1931 г. и дополненные примечаниями в январе 1935 г.

О ДОСТОЕВСКОМ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

I

Мой покойный отец, межевой инженер Николай Иванович Полянский, был в 1850—1870-х годах преподавателем в Константиновском межевом институте, помещавшемся тогда в Москве, на Старой Басманной, на углу Бабушкина переулка.

Отец имел там казенную квартиру, где я родился в 1862 году. На том же институтском дворе была квартира межевого врача Александра Павловича Иванова, служившего там с 1861 года (но еще раньше, с 1841 года, преподававшего в институте физику). Он умер в 1868 году от гнояного заражения крови, порезав себе палец при производстве какой-то операции одному больному воспитаннику института.

Александр Павлович был человек «высочайшей нравственности», как вспоминали потом его сослуживцы*.

Он был женат на родной сестре Федора Михайловича Достоевского, Вере Михайловне, и у них было много детей**.

* См. Очерк истории Констан[тинского] межевого институт[а]; 1779—1879 гг.—А. Л. Апухтина (директора института). СПб., 1879 г. (Здесь и далее примеч. Н. Н. Полянского).

** Отец Веры Михайловны был доктором в Марининской больнице в Москве.

Я хорошо помню «доктора Иванова» и его жену Веру Михайловну, т. к. когда он умер, мне шел седьмой год, притом свои ранние детские болезни я перенес под наблюдением Александра Павловича, который за больными «ухаживал, как отец за своими детьми».

У меня хранится его фотографическая карточка, подаренная им моему отцу и матери, с которыми он и Вера Михайловна были очень дружны и видались почти каждый день в течение многих лет.

На этой фотографии Иванов снят в межевом, тогда военном, с погонами, сюртуке. У него довольно большие, аккуратно причесанные волосы и густые усы; удивительно добрые, задумчивые глаза. Все лицо — такое приятное, серьезное...

Я распространяюсь о нем потому, что, по словам моего покойного отца, Александра Павловича, своего шурина, очень любил Ф. М. Достоевский, и потому, что отец мой впоследствии, при чтении романов Достоевского, не раз говорил мне, что в некоторых его героях он замечает какие-то «духовные черточки», напоминающие покойного — «удивительного человека», Александра Павловича.

Столь же «обаятельной», по словам моих отца и матери, была Вера Михайловна, с детьми которой я часто играл и видел ее близко, в интимном, семейном кругу.

Как сейчас помню ее лицо и всю ее серьезную фигуру, вызывавшие во мне всегда какое-то почти благоговение... Было что-то приятно-грустное в ней, какая-то милая таинственность...

II

Близкая дружба моих родителей с семейством Ивановых выразилась однажды в том, что как-то летом (это было в 1864—1866 годах, точно не упомяну, в каком именно году, но не позднее 1866-го *), они наняли вместе дачу под Москвой, около Люблина, недалеко от Перервинской слободы, при которой находился летний лагерь межевого института. Мне помнится, что дача эта находилась, по словам моей матери, в имении князя Сергея Михайловича Голицына, в селе Кузьминках. Отец мой был знаком с князем Голицыным. Наша семья и семья Ивановых жили на этой даче сообща, имея общую столовую, общую террасу, выходившую в большой сад. Против террасы была лужайка с дорожками, по которой косили траву.

Когда мои родители и Ивановы поселились на этой даче, то вскоре туда приехал из Петербурга Федор Михайлович Достоевский, чтобы провести лето у сестры. Ему тогда было около

* Как это рассказывала мне моя мать.

сорока лет^{*1}. Он собирался ехать за границу, но случились какие-то «денежные затруднения» (как говорила мне моя мать, намекая на какой-то большой карточный проигрыш Федора Михайловича)².

Достоевский прожил на даче с месяц и все время был озабочен и задумчив.

Ему отвели отдельную комнату (дача была большая — флигель в княжеской усадьбе), и он целые дни проводил у себя за письменным столом и почти не выходил гулять...

Он спешно писал какое-то большое «сочинение», о котором никому ничего не говорил^{**}.

Иногда неожиданно становился он оживленным, веселым; вступал в разговор... Но это продолжалось недолго. Его все время как будто что-то «мучило» (по выражению моей матери).

Отец мой и мать видались с ним ежедневно.

Вечером на террасе обыкновенно пили чай всем обществом. Достоевский выходил из своей комнаты и присаживался к столу, неохотно принимая участие в разговоре.

По словам моей матери, он был тогда «какой-то мрачный, лохматый, одетый небрежно, и этим так не походил на свою сестру...»³

... Он очень любил детей и всегда обращал внимание на своих маленьких племянников, детей сестры и на меня, когда я попадался ему на глаза (мне тогда было года три).

Я, разумеется, всего этого не помню, а передаю то, что не раз слышал от моих отца (умер в 1884 г.) и матери (Марии Николаевны; умерла в 1918 г.). Мне особенно запомнились рассказы матери, как относящиеся к более позднему времени.

III

Однажды, когда на лужайке перед террасой стояли копны убранного к вечеру свежескошенного сена, — на одной из них сидела со мной моя старушка няня Пелагея, а на террасе пили чай.

Был прекрасный, очень теплый вечер. Солнце глядело еще не низко, но уже надвигалась вечерняя дымка...

Достоевский кончил свой стакан, вышел из-за стола и спустился с террасы. Стоял и смотрел задумчиво куда-то в сад. Вдруг — заметил меня с няней, подошел к нам и, опустившись на сено, стал теребить меня и играть со мной...

... Встал, поднял меня на руки, посадил себе на плечи верхом и быстро-быстро пошел по дорожкам, изображая вер-

* Ф. М. Достоевский родился 30 окт[ября] 1821 года, в Москве, в Марининской больнице, где отец его, как сказано выше, был доктором.

** Это он писал свой знаменитый роман «Преступление и наказание», впервые напечатанный в «Русском вестнике» за 1866 год.

хового коня и всадника... Он отломал с куста веточку, дал ее мне в руки и я, смеясь и радуясь, стал погонять его этим прутиком...

Это очевидно было ему маленьким развлечением после его писательской работы, в его тогдашнем мрачном настроении...

Оставив наконец меня, Федор Михайлович вернулся на террасу, улыбаясь, слегка запыхавшись...

Он повеселел, присел к столу и вступил в разговор, рассказывая о том, как он любит возиться с детьми. Обращаясь к моей матери и «как бы извиняясь», он проговорил:

— Знаете, я ужасно люблю маленьких детей. Это — моя слабость.

Я здесь передаю подлинные слова моей покойной матери.

IV

Лично сознательно видел я Достоевского в своей жизни один раз. Это было в 1880 году, в первых числах июня, когда открывали памятник Пушкину в Москве.

Я был тогда гимназистом (перешел в шестой класс IV гимназии).

Нас утром в этот день повезли из гимназии, с Покровки, в линейках, на Тверской бульвар и расставили рядами очень близко от памятника, закрытого полотном и торжественно окруженного массой публики.

Было серенькое, слегка туманное утро. Начинал накрапывать дождик; но скоро погода разгулялась.

После освящения памятника, когда полотно упало и открылась бронзовая статуя Пушкина, я увидел, как к монументу вслед за Тургеневым подошел Достоевский — такой сутулый с низко наклоненною головой и положил к подножию памятника венок — кажется, лавровый...*

Известно, что с ранних лет, во всю свою жизнь Достоевский «хранил в себе какой-то особенный культ Пушкина».

Помня неоднократные рассказы отца и матери о Достоевском — о моем детстве, я с благоговением смотрел на великого писателя, и сердце мое приятно билось. Я был тогда очень наивным мальчиком и считал для себя таким важным, таким знаменательным то, что удостоился когда-то, ребенком, сидеть на плечах у Достоевского, да еще осмеливаться погонять его прутиком...

Я не утерпел и тут же стал рассказывать об этом близстоящим моим товарищам. Это были гимназисты: Алексей Шахматов (Алексей Александрович; впоследствии известный филолог-

* Первый венок, серебряный, положил московский генерал-губернатор кн. Влад[имир] Андреев[ич] Долгоруков — от царя Александра II (как говорили в толпе).

академик, ныне — покойный) и Георгий Салтыков (Георгий Ильич; родной племянник Щедрина-Салтыкова, рано умерший в звании присяжного поверенного, в Киеве).

V

О Достоевском не раз говорил мне покойный Григорий Петрович Данилевский, автор известных в свое время романов: «Беглые в Новороссии», «Девятый вал», «Мирович» и др. (Умер в декабре 1890 года).

Данилевский приходился сводным двоюродным братом моей матери, с которой провел детство, и впоследствии перенес свою дружбу на моего отца, а со смертью последнего, в 1884 году, приблизил к себе меня, тогда еще студента, ведя со мной переписку в течение семи лет из Петербурга, где он, с 1881 года, занимал место главного редактора газеты «Правительственный вестник», и поручал мне кой-какие свои литературные дела*.

Данилевский познакомил меня с несколькими тогдашними литературными знаменитостями Москвы и Петербурга, и я при этом очень сожалел, что Федора Михайловича Достоевского, которого Данилевский знал хорошо, тогда уже не было в живых: он умер 28 января 1881 года.

Разговоры Данилевского со мной о Федоре Михайловиче ограничивались передачей некоторых, тогда еще неизвестных широкой публике, подробностей процесса Петрашевского в 1849 году и участия в этом деле Достоевского и самого Данилевского. Теперь я забыл все эти тонкости рассказов Данилевского, сущность которых уже имеется в печати... Данилевский, студентом, был арестован по этому делу и просидел в одиночном заключении, в Петропавловской крепости, с 22 апреля по 10 июля 1849 года⁴.

Кроме того, Данилевский так отзывался о Федоре Михайловиче:

— Вот был чужак! Удивительно любил копаться в человеческой душе, но нечего сказать — делал это артистически... Не хотел писать, как пишут все добрые люди, а в своих великолепных творениях нагромождал события, одни на другие, так что самое время событий протекает у него совсем необычайно, в каком-то увеличенном масштабе... И при этом у него непременно какие-то «*deus ex machina*...»**

— Но,— прибавлял Данилевский, поучая меня,— советую тебе не только читать его внимательно, а — перечитывать десятки раз...

* В Музее литературы, в Москве, хранится сто с лишком писем Данилевского ко мне и моему отцу, переданные мною в музей в 1934 году.

** Бог из машины (лат.).

В июне 1917 года мне случилось быть в Петрограде, по делам службы (я заведовал тогда продовольственным семейным солдатским пайком в Московской губернии и был вызван в Министерство на совещание по поводу этого пайка, принявшего грандиозные размеры).

Помню, какое необычайное впечатление производил вид города с его улицами и площадями, наполненными серыми толпами солдат, уходящих с фронта. Все скверы и сады были заняты ими, сидевшими на скамейках, лежавшими на измятой траве и бродившими по дорожкам, густо усыпанным белой шелухой от семечек.

В одну тогдашнюю светлую, как день, ночь шел я по набережной Невы и вдруг мне вспомнились «Белые ночи» Достоевского... * пришли на память рассказы отца и матери о моем детстве, о Федоре Михайловиче... припомнилось, как видел я его у памятника Пушкина...

На другой день я поехал в Александро-Невскую лавру, разыскал там на кладбище могилу Достоевского с большим памятником. Кладбище имело запущенный вид; везде в изобилии подымалась крапива... День был жаркий, душный. Пахло гарью: где-то в окрестностях города горели торфяные болота. Я долго стоял у могилы Достоевского, взглядываясь в лик великого писателя, помещенный на памятнике...

* «Белые ночи» — сентиментальный роман. Впервые напечатан в «Отечеств[енных] записках» 1848 года.

Воспоминания племянницы писателя, дочери его сестры Веры Михайловны, Марии Александровны Ивановой (1848—1929), приводимые журналом в своей статье, дополняют ее известные мемуары, напечатанные в работе В. С. Нечаевой «Из литературы о Достоевском. Поездка в Даровое»// Новый мир, 1926, № 3.

НЕСКОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЙ О ДОСТОЕВСКОМ

Когда нынешней осенью я посетил усадьбу Федора Михайловича (Каширского уезда)*, то М. А., племянница писателя¹, рассказала мне несколько интересных фактов из его жизни и позволила говорить о них в печати. Теперь я выделил из них то, что является новым или интересным.

В воспоминаниях своих близких Федор Михайлович сохранился, главным образом, как шутник и балагур, человек неподдельно веселый, без малейшего оттенка желчности или раздражительности, о которой свидетельствуют встречавшиеся с ним на деловой почве.

Он был большим насмешником и постоянно импровизировал живые картины и комедийки, направленные против того или другого из знакомых. Так это было на даче в Люблине, где он жил с семьей сестры. По ночам он работал над романом «Преступление и наказание», последняя часть которого записывалась под его диктовку стенографически — с такой гениальной быстротой работали его мысль и его слово. А днем он был весь отдан семье, знакомым и обыкновенной дачной жизни. Только иногда вдруг побежит в свою комнату, чтобы записать несколько строчек, пришедших ему на ум.

Писание и постановка небольших сценок, как я уже сказал, было одним из его любимейших развлечений. Именно в Люблине он высмеял одного знакомого доктора, боявшегося женского движения и бегства жены в Петербург на курсы². В первом действии происходит суд между мужем и женой-беглянкой. Федор Михайлович изображал судью. Во втором — доктор в поисках является на Северный полюс; здесь его пожирает белый медведь. Медведя изображал тоже Федор Михайлович, надев на себя вывороченный овчиной тулуп кучера.

Как нервный человек, Федор Михайлович был расположен к беспричинным симпатиям и антипатиям, причем особенно в последних он был часто несправедлив. Так, невзлюбил он одного своего дальнего родственника, обыкновенного, но невиннейшего человека, и уверял всюду, что он-де горький пьяница, хотя тот отроду ничего не пил³.

* См. № 333 «Столичной молвы».

Француженок Федор Михайлович терпеть не мог, и еще много раньше антипатичного отзыва о них в «Зимних заметках о летних впечатлениях» он умоляет в письме к сестре не брать к ее детям француженки, при этом он называет француженку «куриной ногой в кринолине».

Невзлюбил Федор Михайлович и писателя Данилевского настолько, что просто не мог его выносить⁴. Как-то Данилевский по делу приехал к Федору Михайловичу, бывшему тогда в Москве. Не успел гость уехать, как хозяин тотчас же сочинил комедию для домашней постановки: «Правдивый и Шематон», причем Правдивым был он сам, а Данилевский выставлялся Шематоном.

Вообще, как то ни странно, но великий психолог, который так дивно проводил нити характеров и подмечал малейшие их колебания и незаметнейшие извивы, в окружающих людях часто ошибался, следуя мгновенному пристрастию или капризу воображения. Он бывал даже наивен в светских отношениях, принимая светскую простоту за настоящую.

Так, когда он участвовал в спектаклях, устраиваемых великими князьями и другими высокопоставленными лицами, и благодаря этому был ласково принимаем, он настойчиво звал ехать с ним на репетиции в Зимний дворец своих родственников и маленьких племянниц, уговаривая их: «Да поедemте же. Они такие простые люди, они так рады будут, так славно примут нас».

Про свои посещения дворца он рассказывал еще интересный случай. Как известно, Федор Михайлович говорил крайне завлекательно и с пленительным красноречием, но при этом у него была пагубная привычка, часто встречавшаяся в подобных случаях, придерживать своего собеседника за пуговицу или за полу. Как-то ему пришлось говорить с государыней императрицей Марией Федоровной с глазу на глаз⁵. Вопрос был живо-трепещущий, и Федор Михайлович увлекся. Велик был его ужас, когда, очнувшись, он заметил, что держит собеседницу за платье и находится с ней уже у самой стены покоя. Оказалось, что во время разговора государыня удивленно отступала да отступала от теребившего кружево ее платья красноречивого собеседника, однако не желала прервать его, так как сама живо интересовалась его речью и была так ею растрогана, что на глазах у нее появились слезы. Федор Михайлович, разумеется, стал горячо извиняться, но государыня просила его не смущаться и продолжать свою речь.

СЧАСТЛИВЫЙ БРАК
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
К ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРШИНЕ

А. А. ИЗМАЙЛОВ

Автор этой статьи — известный критик, беллетрист, поэт и пародист Александр Алексеевич Измайлов (1873—1921), записавший воспоминания второй жены писателя Анны Григорьевны Достоевской (1846—1918). Они дополняют известные «Воспоминания» А. Г. Достоевской (М., 1987). См. о ней: Белов С. В. Жена писателя. Последняя любовь Ф. М. Достоевского. М., 1986.

У А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

(К 35-летию со дня кончины Ф. М. Достоевского)

I

Сестрорецкий курорт — под густой снежной пеленой. В огромное, двухъярусное окно пансионата заглядывают верхушки стройных сосен. Зимний день торопится, и сейчас еще зеленые, они уже темнеют и вот-вот станут черными. . .

Я сижу перед той, кто четырнадцать последних лет жизни Достоевского была для него светом и радостью, счастьем на земле, примирявшим гения со всеми ужасами жизни и обидами пигмеев. Достоевскому было уже 45 лет, когда Анна Григорьевна 20-летней вошла в его дом. Отзывы творца «Карамазовых» о том счастье, какое озарило его жизнь с приходом в его дом незаметной девушки, рассеяны в его переписке.

Вдова Достоевского почти не изменилась со времени нашей последней встречи, около 7—8 лет назад, — тогда в обстановке ее столичной квартиры, где от каждого уголка веяло воспоминаниями о великом человеке. Здесь, в простой, похожей на келью комнате, только небольшой портрет на стене напоминает о нем. Анна Григорьевна бодра, жизнерадостна, на ее щеках слабый румянец. Почти не верится, что еще полгода, и — ей семьдесят лет.

— Если бы еще лет десять, — говорит она, — тогда удалось бы разобрать и подготовить все из материалов и архива моего покойного мужа, что представляет интерес. Судьба дала мне, обыкновенной женщине, бесконечное счастье быть женою великого человека и, конечно, я чувствую и свои обязанности.

И Анна Григорьевна всю жизнь трудилась для славы его имени. Ее стараниями устроен музей имени Ф. М. Достоевского в Москве, школа в Старой Руссе, издан, потребовавший колоссального труда, библиографический указатель всего, что когда-либо писано о нем. Тридцать два года она издавала его сочинения. Она воистину осталась верною его памяти и не только в том смысле, что оставшись вдовой всего в 34 года, не подумала о втором замужестве.

— Мне это казалось бы кошунством. Да и за кого можно идти после Достоевского? Я шутила — «разве за Толстого!». И теперь я живу его памятью. Конечно, нет дня, чтобы на протяжении его я раз пятнадцать не вспомнила о нем. Встретить человека, который им интересуется и его любит, и поговорить с ним о покойном — для меня слаще меда. Когда умирает кто-нибудь из людей, лично знавших Федора Михайловича, мне больно, хотя бы лично я его почти и не знала. Мне дороги все те, кто знал его не только как писателя по сочинениям, но и как человека...

— Это был совершенный человек. Его душа была создана для такой безграничной нежности, полна такой беспредельной доброты, снисходительности, чуткости, что это трудно представить не знавшему его. В первый год своего замужества я вела день за днем дневник, давши такое обещание матери. Когда теперь я его перечитываю, меня умиляет до слез трогательная доброта и снисходительность этого человека к такому неустановившемуся существу, каким была вошедшая в его дом 20-летняя девушка, да еще избалованная в семье. Вы знаете, что муж никогда при жизни не виделся с Толстым. Когда после его смерти я была у Льва Николаевича, он предложил мне: «Расскажите, какой человек был ваш муж». Я описала его, как идеал человека, и нисколько не кривила душой. Таким он мне казался и таким был. «И я его представлял так же», — сказал Толстой и, конечно, для того, чтобы доставить мне большое удовольствие, сказал, что во мне он ловит даже внешнее сходство с покойным¹.

II

Прочтем ли мы когда-либо новые мысли, новые чувства Достоевского, о каких еще не знаем?

В полном смысле неизданных литературных произведений — нет. Издано все, за исключением единственной главы из «Бесов», которую в свое время Катков затруднился напечатать, и сам Достоевский, посоветовавшись со своими друзьями, Победоносцевым, Майковым и Страховым, решил никогда не печатать. Полностью эта глава никогда и не увидит света, половина же ее уже издана при последнем издании «Бесов»².

Два раза в жизни бумаги Достоевского гибли. В первый раз это было при аресте по делу Петрашевского, когда с бумагами была отобрана и какая-то написанная им драма, исчезнувшая бесследно. Второй раз в 1871 г. уже после «Бесов» в один тревожный день он сам сжег из опасения обыска много своих бумаг, в том числе оригиналы «Вечного мужа», часть «Бесов» и т. д. Тогда за границей появилась вздорная брошюра, приписывающая ему какой-то государственный заговор, а его жене, переодетой монахиней, какую-то нелепейшую роль...³

— Чем отдавать бумаги полиции, где они все равно пропадут, лучше уничтожить их самому! — сказал Федор Михайлович, — и мне удалось спасти только записные книжки, которые можно было передать матери. Вообще, мы жили тогда одиноко, без близких, в большой бедности. Долги тяготели над Федором Михайловичем еще с той поры, когда он взвалил на свои плечи великую тяготу журнала, начатого братом, и все его долги, и потерял на этом и свои последние 10 тысяч. От этих долгов он освободился всего лишь за год до смерти. Тогда он уже считал себя чуть не богатым, мечтал о маленьком имении, которое и обеспечило бы детей, и сделало бы их, как он говорил, почти некоторыми участниками в политической жизни родины.

В записных книжках Федора Михайловича, несомненно, найдется еще нечто сверх того, что уже обычно печатается при I-м томе. Но, конечно, ничего цельного — только заметки, планы. Память страдающих падучей болезнью, как вы знаете, безнадежна, и Федор Михайлович должен был не расставаться с книжкой. Дальше — есть немало моих тетрадей, куда я стенографически записывала в разное время все, что представлялось интересным, — будущие его замыслы, устные рассказы и т. д. При издании «Нивы» приложена карточка, где он задает себе литературную задачу на всю жизнь, и смерть унесла его, действительно, полного замыслов. Он мечтал 1881 год всецело отдать «Дневнику», а в 1882-м — засесть за продолжение «Карамазовых». Над последней страницей первых томов должны были пронестись 20 лет. Действие переносилось в 80-е годы, — подумайте, как это должно было быть интересно! Алеша являлся уже не юношей, а зрелым человеком, пережившим сложную душевную драму с Лизой Хохлаковой, Митя возвращался с каторги. Судите, сколько бы мог он сказать за себя лично его устами! К сожалению, в моей постоянной работе, отданной опять же делу мужа, мне решительно не удалось дойти до этих стенограмм. Да и расшифровать их не так легко. Как всякий опытный стенограф, я применяла свои условные сокращения. А кроме меня их уже никто не разберет...

— Может быть, самое интересное в наследстве Федора Михайловича — его письма ко мне. Их 162. Почему я никогда не издавала их? Потому что в них сказано слишком много лестного обо мне, чего я, конечно, не стою ни в какой степени. Все 14 лет, не говоря уже о поре влюбленности, Федор Михайлович относился ко мне с чувством нежнейшей любви и дружбы. В письмах, в частности, он так преувеличивал мои достоинства и не замечал недостатков, как это часто бывает с любящими, что мне казалось, это должно было остаться между нами, чтобы меня не обвинили в безмерном честолюбии, в любви к рекламе и т. д.

Никогда не находивший в жизни человека, на которого он мог бы излить все богатства своего чувства, он нашел его, когда я подошла к нему с своей любовью. Он видел во мне то, чего, разумеется, никто не видел, и это преувеличение любви поначалу мне было так странно, ну, как было бы странно, если бы кто-нибудь стал называть вас «вашим сиятельством». Нужно ли говорить, что эти письма были и есть моя величайшая радость и гордость, что я читала и перечитывала их сотни раз. И вот мне казалось, сделавшись достоянием света, они потеют для меня некоторую долю своего аромата.

35 лет я не печатала писем. Судите сами, значит, я владела своим честолюбием и не очень хотела рекламы. Неужели же теперь меня упрекнут в тщеславии, когда видно уже мою могилу. Сейчас, в сущности, ничто, кроме чисто внешних обстоятельств, уже не является помехой изданию. Мне хотелось бы только дожидаться возвращения из-за границы моей дочери — писательницы⁴, без которой я не делаю никаких литературных шагов. А письма уже переписаны, к ним сделан мой комментарий. Мои друзья очень побуждают меня на этот шаг. Мне указывают на то, что, появившись они после моей смерти — могут возникнуть какие-либо вопросы, недоумения — кто же на них ответит? Дальше, кто поручится, что не явятся какие-либо обстоятельства, препятствующие напечатанию писем, и мне указывают на некоторые семейные истории, действительно портившие планы наследников замечательных людей.

Когда письма будут изданы, из них увидят, что я не преувеличивала, а преуменьшала чувство, какое ко мне питал муж, как он влекся к дому и детям, разлучившись с нами хотя бы на неделю, как, не только во всех важных шагах, но во всяком пустяке он искал моего совета и без него терялся, какой вообще это был удивительный семьянин, отец, муж и человек. Он так верил даже просто в мои практические способности, что однажды вовсе переконфузил меня, сказав в одном обществе при Майкове, что я была бы лучшим министром финансов. А в одном письме, довольный моим ведением его книжных дел, он

пишет, что если бы я была королевой, то, он не сомневается, — справилась бы с целым королевством!

IV

— Над чем работала я последнее время? Над своими воспоминаниями. Я решилась на это только в последние годы — мне так странно казалось вступать на литературное поприще, не имея на то никаких прав. Потом я решилась рассказать, как умею, все, что я знаю и что может быть ценным для биографии Федора Михайловича. Конечно, он — главное и почти исключительное лицо этих записок. Жизнь до встречи с ним и после его смерти взята сюда лишь постольку, поскольку это необходимо для связи, или опять же касается его музея, его школы. Там будет не менее, как в тридцать печатных листов. Во многом это только переработка записей, в свое время сделанных в дневнике, куда в первое время я целиком записывала даже разговоры с Федором Михайловичем. После этого останется только разобрать его архив. Он огромен. В нем до 2000 писем. Одних писем Победоносцева — целый ворох. Не знаю, хватит ли моих сил, но вся эта переписка требует непрямого комментария.

Музей Достоевского в своей литературной части возник, в сущности, из тех вырезок, какие Федор Михайлович еще при жизни просил меня делать. Он был очень впечатлителен к тому, что пишут о нем, и его больно кололо, если он наталкивался на человеческую нечувствительность или непонимание. В моей памяти осталось несколько таких обид, которые были тем более тяжелы, что шли от людей, считавшихся его друзьями.

В особенности первое время по напечатании, когда до него еще не успевали дойти голоса ни критики, ни читателей, ему было дорого слышать искреннее и компетентное мнение.

V

Я вспоминаю о днях нашей совместной жизни как о днях великого, незаслуженного счастья. Но иногда я искупала его великим страданием. Страшная болезнь Федора Михайловича в любой день грозила разрушить все наше благополучие. Четыре месяца это, пожалуй, был самый большой промежуток между его припадками. Но бывали они и через неделю. Бывали и такие ужасные полосы, когда на неделе случалось два припадков, бывало даже так, что через час после одного начинался второй. Начиналось это обычно страшным нечеловеческим криком, какого нарочно никогда не произнести. Очень часто я еще успевала перебежать из своей комнаты через промежуточную, заваленную книгами, к нему и застать его, стоявшего с искаженным лицом и шатающегося. Я успевала обнять его сзади и потом опуститься на пол.

Большей частью катастрофа застигала ночью, но бывало это и днем. Он и спал не на постели, а на низеньком широком диване на случай падения. Он ничего не помнил, приходя в себя. Потом жалко и вопросительно произносил: «Припадок?» — «Да,— отвечаю я,— маленький!».— «Как часто! Кажется, был недавно». — «Нет, уж давно не было», — успокаивала я.

После припадка он впадал в сон, но от этого сна его мог пробудить листок бумаги, упавший со стола. Тогда он вскакивал и начинал говорить слова, которых постигнуть невозможно. Ни предотвратить, ни вылечить этой болезни, как вы знаете, нельзя. Все, что я могла сделать, это — расстегнуть ему ворот, взять его голову в руки. Но видеть любимое лицо, синеющее, искаженное, с налившимися жилами, сознавать, что он мучается, и ты ничем не можешь ему помочь,— это было таким страданием, каким, очевидно, я должна была искупать свое счастье близости к нему. Дня четыре после каждого приступа он был разбит физически и духовно — в особенности ужасно было его нравственное страдание.

Период жизни со мною был еще сравнительно более здоровым для Федора Михайловича. Раньше припадки были еще чаще. К концу жизни они стали реже. И каждый раз Федору Михайловичу казалось, что он умирает.

VI

...Сосны за окном уже сливаются с черным небом. Зажжено электричество. И из двух маленьких томиков с золотым обрезом Анна Григорьевна читает вслух ряд писем, относящихся к поездке Достоевского на знаменитый пушкинский праздник. Бесконечной нежности и трогательной любви к семье и детям полны эти странички. Нет ласкового имени, которого бы он не применил к спутнице своей жизни и к детям. Нет минуты, когда бы здесь, среди фимиама поклонников, комплиментов и излияний, встреч со знаменитостями, бесконечной суеты «великого человека на юбилее», а потом буквально героя торжества,— он не помнил бы о скромном домике в Старой Руссе, о любимой женщине, без совета с которой он теряется в любой житейской позиции...

На знаменательном дне обрываются письма Достоевского. Едва получив возможность расстаться с Москвой и сделав необходимые визиты, он торопится на вокзал, чтобы скорее сделать любимого человека свидетелем своего торжества.

— Вот какой человек был Федор Михайлович, вот чем был для него семья! — говорит Анна Григорьевна. — И эти письма, и мои воспоминания — все это нужно для того, чтобы этого человека наконец увидели в настоящем свете. Воспоминания о нем нередко совершенно извращают его образ. Говорили про него,

что он был молчаливым и угрюмым, держался Юпитером, «не узнавал» в обществе, «как гений», ронял одну реплику во весь вечер, что хозяева за 20 минут предупреждали об его приходе и т. д. А вот судите сами, откуда это шло.

Федор Михайлович страдал эмфиземой, катаром дыхательных путей. Дышал он тяжело, как через материю, сложенную вчетверо. По лестницам едва мог ходить. И вот, к примеру, поднимаемся мы к Полонскому на 5 этаж. Садится он и отдыхает на каждой площадке. Десяток знакомых проходит мимо, видит нас и раскланивается и, конечно, несет хозяевам весть: «идет Достоевский». Немудрено, что когда он входит, уже и хозяин и хозяйка в прихожей, и все наперебой начинают его раздевать, а он задыхается и не может сказать слова. Но чтобы не затруднять, и сам начинает помогать раздеванию, а всякое движение ему вредно. Дома был целый обряд его раздевания — минут десять. Судите, насколько это было похоже на генеральство.

А что до того, что он «не узнавал людей», так он и действительно, по совершенной слабости памяти, иногда не узнавал и самых простых вещей не помнил. Так, поэт Берг, которого он раз действительно не узнал, всю жизнь не мог простить ему этого и, где только мог, кричал об его надменности. Вот вам и еще ко всему этому комментарий. Всю жизнь Федор Михайлович справлял в декабре мои именины, смотрел на этот день как на праздник, даже не работал. Но раз, по недоразумению, одна дама привезла мне в июне цветы, как имениннице. Шутя я упрекнула Федора Михайловича в письме, что он меня не поздравил с ангелом. И что же? Он мне написал в ответе извинение и пояснил, что привык справлять мои именины всегда . . . *в феврале*. Видите, как хорошо помнил он даже и то, что относилось к таким людям, кои были ему совсем близки и коих он любил без всякого сомнения! . . .

Публикуемые в настоящем издании «Мои воспоминания о Достоевских» Марии Николаевны Стоюниной (1846—1940, Чехословакия)— гимназической подруги А. Г. Достоевской, видной общественной деятельницы, жены крупного педагога В. Я. Стоюнина — значительно дополняют уже известные мемуары М. Н. Стоюниной, опубликованные в 1924 г. во 2-м сборнике «Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы», тем более если учесть, что они были опубликованы без ее ведома, записаны с чужих слов, с ошибками и искажениями. «Мои воспоминания о Достоевских» записаны славистом Р. В. Плетневым в результате бесед с М. Н. Стоюниной в Праге в 1931—1932 гг. Вариант воспоминаний М. Н. Стоюниной о Пушкинской речи Достоевского был опубликован ее внуком Б. Н. Лосским в № 7 в 1989 г. парижского альманаха «Минувшее».

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ДОСТОЕВСКИХ

О Достоевском я помню немного, больше могу рассказать о жене его Анне Григорьевне, моей любимой подруге. Слышала, конечно, с детства его имя, но ни с чем особенным, ярким оно тогда у меня еще не связывалось. Первое, что прочла, еще девчонкой, подростком, были «Записки из Мертвого дома», и осталось у меня впечатление очень сильное. Ну да нам тогда много читать не давали, так что не было и доступно. Помню, после прочла, еще до знакомства с Достоевским, «Униженные и оскорбленные», и осталось сильное, уж вот самое сильное тогда впечатление от них.

Я рано, через шесть месяцев после окончания гимназии вышла замуж (1865) за Владимира Яковлевича Стоюнина, но не прерывала своей дружбы с Анной Григорьевной, мы с ней у него и учились. Вот зимой (1866) как-то приходит она и говорит, что работает у своего любимого писателя — у Ф. М. Достоевского как стенографистка и переписчица. Сперва это она ничего мне особенного о нем не рассказывала (когда писался роман «Игрок»), ну, а после к концу уже начались ее рассказы о нем. Анна Григорьевна стала рассказывать и о новом романе, о главном его герое, т. е. о типе Раскольникова и о его значении; то, что говорил ей Достоевский. Так что тут уже я о нем многое узнала. На свадьбе у Достоевских я, однако, за нездоровьем не смогла быть, а был мой муж и мать.

Вот как-то все ушли из дому, и муж ушел, и осталась в квартире я одна. Вдруг звонок, горничная входит и говорит: «Достоевский!» Вошел он в гостиную, у нас тогда хорошенькая на Шпалерной квартира была, такой маленький, невзрачный, серый, но интересный. Одет просто. Очень мы тут как-то хорошо поговорили, весело и просто, но о чем, не помню; немного он посидел и уехал. Очень он хорошо тогда отнесся ко мне, я это после от Анны Григорьевны слышала. Следующие наши встречи случились вскоре за тем, когда мы с мужем и

я одна бывали у Достоевских. Не помню точно, где они тогда, еще до отъезда за границу жили, не то в Кузнечном, не то в Колокольном переулках. О той квартире лишь помню, что бедная у них была обстановка. Только уже после переезда на другую квартиру, после заграницы, помню ясно: маленькая, маленькая гостиная, без занавесок или гардин, с красной мебелью, как плюшем обитой, триповая мебель, как тогда говорили. На столе большая фарфоровая лампа с мейсенского завода, из Дрездена они привезли, пепельница такая же, ну, и еще мелочи. Кабинет налево, тоже простой, без гардин; спальня тоже самая простая. Столовая — крохотная, даже и не комната, а просто площадка после трех-четырех ступенек. Там у них был стол полускладной, с обломанными «крыльями», три-четыре стула. В маленькой кухонке жила прислуга. Да Anne Григорьевне это все равно было — есть ли, нет ли обстановки и какая она. Раз только Достоевский мне пожаловался: «Вот, когда холостой-то был, все у меня было, и большой диван — тахта, маленькая и занавески. . . Вот, Ане это все равно, ей ничего не составляет есть ли это, или нет! . . . Да и денег теперь нет». А он (Достоевский т. е.) все это любил и ценил. Но они в общем жили душа в душу, обожание даже у них какое-то взаимное было. Тридцать пять лет жизни своей после смерти мужа она все посвятила его памяти, пропаганде его идей и распространению его славы, с письмами Достоевского она не расставалась ни днем, ни ночью и всюду их с собой возила.

Раз, помню, заработал Достоевский 350 или 500 рублей, побежал тотчас в Гостинный двор, купил у Морозова браслет золотой и подарил Anne Григорьевне. Она мне подробно рассказывала о том, как ей удалось-таки избавиться от этого подарка. — «Подумай, — говорит, — у детей обуви, башмаков нет, одежды нет, а он браслеты вздумал дарить!» — Он спит в кабинете, она, т. е. Анна Григорьевна, в спальне. Улеглись они спать, а она мучится, что будет делать с браслетом и что деньги-то нужны на другое. Наконец не выдерживает моя Анна Григорьевна, идет в кабинет к мужу: «Знаешь, я не могу, отдадим его в магазин, ну на что он мне?» — Он: «Я мечтал: заработаю там немного и куплю; мне такое счастье, что заработал и могу жене купить!» Он в отчаянии. Она уходит: «Ну хорошо, хорошо!» Опять не может лежать спокойно, соскакивает с постели и летит к мужу: «Нет, нельзя, надо отдать, Федя, детям нужнее, да и зачем он мне?» Соглашается тут он. Проходит минута-другая. Слышит Анна Григорьевна вздохи, охи, ворочается муж с боку на бок. Вдруг срывается с дивана и в спальню: «Нет, Аня, я умоляю, пусть останется он у тебя!» Уходит. Но опять драма — она мучится: «Федя, ведь триста, подумай, триста пятьдесят рублей!» И так у них «нежная драма» всю ночь. После, наутро все-таки она побежала к Морозову и вернула браслет. Так здесь ее мучение взяло верх, и До-

стоевский уступил. Но все же раз и ему удалось победить.

Надо сказать, что самой Анне Григорьевне ничего не нужно было. И вот приезжает Федор Михайлович раз из заграничной поездки и привозит подарки, а ей привозит вдруг, совершенно неожиданно, рубашки. Анна Григорьевна мне их показала, да и говорит: «Нет, ты посмотри, посмотри, что он мне привез: ведь шелковые!..» Она, может быть, готова была хоть дерюгу носить, что угодно, а это дюжина или полдюжины рубашек и все шелковые, голубые, розовые, белые. Часто Достоевский и тратился вот на этакие глупости. Ну, а тут-то, когда купил рубашки, вернуть их было нельзя. Так и остались они у Анны Григорьевны. О ней я еще после скажу, а теперь вот о «драмах» и вечных у них трагедиях в жизни хочу рассказать.

Достоевский сам всегда и везде страдал душевно за всех мучимых, за всех людей, но особенно его терзали страдания детей. Раз он, помню, прочел в газете, как женщина своего ребенка утопила нарочно в помойке. Так Достоевский после ночи или две не спал и все терзался, думая о ребенке и о ней. Он никак не мог выносить страданий детей. И как человек-то оттого он и производил, может быть, сильное впечатление, что был он человек любящий и страдающий, умеющий страдать. Никто это так хорошо не понял, как Булгаков¹.

Все Достоевский трагически переживал и воспринимал драматически — и серьезное и пустяковое. Была я как-то у них в гостиной. Анна Григорьевна на кухню пошла, а я говорила о чем-то и заспорила с Федором Михайловичем. Стали мы спорить, и он тут такой крик поднял, что Анна Григорьевна прибежала в испуге: «Господи, — говорит, — я думала, что, право, он тебя побьет!» Тоже пришла я раз к Достоевским, встречает меня Федор Михайлович и говорит: «Ах, если бы вы знали, если бы вы знали, какая у нас трагедия была! Любочка зашибла руку, сломала, ужас!» Ну, я говорю, а теперь как она? «Ну, теперь все прошло, вылечили. А мы было думали...» Так у вас, значит, теперь, говорю, из трагедии комедия стала. Только я это сказала, а он и обиделся. — «Нет!» — говорит, и замолчал.

Вообще, у него все почти всегда драмой или трагедией становилось. Бывало, соберет его, перед уходом куда, Анна Григорьевна, хлопчет это возле него, все ему подаст, наконец он уйдет. Вдруг сильный звонок (драматический). Открываем: «Анна Григорьевна! Платок, носовой платок забыла дать!» Все трагедия, все трагедия из всего у них. Ну, она мечется, пока все опять ему не сделает. Она за ним, как нянюшка, как самая заботливая мать ходила. Ну, и правда, было у них взаимное обожание, как я и сказала. Она была полной его противоположностью: веселая такая, чуть, бывало, на улицу выйдет — уж целый короб новостей и ворох смеху принесет. Хохотушка она долго была.

В конце 1870-х годов, кажется, в 1879 году явилась у меня идея открыть свою женскую гимназию. Решилась я на это, видя полную недостаточность и неудовлетворенность женского тогдашнего образования. А все мы жаждали труда и просвещения. Чуть открылись в то время при Мариинской гимназии естественно-исторические курсы, уж мы — я и Анна Григорьевна — на них стали ходить, а она так и записалась. Я-то их не окончила. Она все тогда смеялась: «Вот как умру, — говорит, — так за мною-то все-все дипломы мои и понесут». Она там еще несколько курсов разных кончила, да вот и на стенографические курсы к Ольхину записалась. Все это и для самообразования, и чтобы самостоятельность приобрести, и независимее быть.

Я хотя помню, как сказала уже, тех естественно-исторических курсов не кончила за недосугом, но тоже занималась самообразованием. Чувствовала я недостаток, пустоту нашего тогдашнего женского образования, никаких горизонтов оно не открывало, общих сведений давало маловато, а сил брало много. Вот я и задумалась, как образование сделать иным, поставить его иначе. Женщина ведь очень, очень много значит в каждой семье, а знаний и дела у нее нет. Мужья пьют, в карты играют, нет и у них часто настоящих интересов, но хоть что-то есть, а у женщины ничего. А от нее многое и тут зависит — особенно в провинции — она взгляды и мужчин перевернет, облагородит, детей воспитает, будучи образованной, так что другими людьми будут. Да что тут, миссия женщины — большая миссия!

Я обдумала все это и говорю мужу моему о своем желании открыть гимназию. А он и говорит: «Да, только не сейчас, а пусть год пройдет и ты все обстоятельства взвесив и поступишь». Я на это ему ответила: «Да не через год, а два года-то пусть пройдут; я хочу заняться пока самообразованием».

Вот с этой своей идеей приехала я к Достоевским — ее тогда дома не оказалось. Я рассказала все Ф. М. Достоевскому. Он сразу воодушевился и воспламенился: «Знаете ли, это идея! Идея! Ох, это большая идея!» Я объяснила Федору Михайловичу, что хочу-то открыть гимназию только через два года, а пока сама подучусь. Он сказал на это: «Да, да! Ездите всюду, спрашивайте, учитесь, смотрите школы, всматривайтесь в преподавание». Очень это, видно, все ему понравилось и заняло его мысль. Он посоветовал мне тут же составить себе план и вопросы записать.

В то время было в Петербурге две частных женских гимназии, одна — княгини (А. А.) Оболенской, а другая — г-жи Спешневой. Я к обеим и поехала. Но Спешнева такая была горячка, что меня-то и не приняла. Но, правда, ее школа скоро совсем прогорела и закрылась. А кн. Оболенская меня прямо с распростертыми объятиями приняла. Уж много лет спустя после смерти Достоевского, когда в 1906 г. праздновалось 25-

летие моей гимназии, была на акте Анна Григорьевна. Тогда же было упомянуто в речи, что и сам Достоевский отнесся с таким искренним сочувствием к идее гимназии. Помню еще, как это тогда приятно было Анне Григорьевне.

С самим Достоевским не знаю уж о чем еще приходилось говорить. Раз, вот помню, как-то после их приезда из-за границы (т. е. после июля 1871 г.), рассказывал он и Анна Григорьевна о смерти своей дочери, трехмесячной Сони. Потеряли они там своего ребенка, плачут, убиваются. Оба они тогда страшно убивались. Вдруг слышат стук одних соседей, потом стук других соседей. Это им-то стучат: «Дескать, не беспокойте нас своим плачем!» Оба они, помню, и Анна Григорьевна и Достоевский, говорили про западных людей, про их бессердечное отношение к людскому горю².

Яркие воспоминания остались еще у меня о трех публичных чтениях Федора Михайловича. Надо сказать, читал он удивительно. Никто так, как он, не читал! Незабвенное осталось впечатление! Вот до сих пор скажу, что одно из самых ярких впечатлений в жизни 85-летнего человека — чтение «Пророка» в Дворянском собрании, или, как его там называли, Благородное собрание. Это было на пушкинских торжествах, когда и атмосфера особенная была: пробуждение русской самосознательности. Сперва, кажется, Тургенев читал стихотворение «Последняя туча рассеянной бури...» Читает и забывает. И вся зала ему подсказывает, словно семья людей. Тут все ему дружно кричат: и муж мой, поклонник Пушкина и учитель русского языка, подсказывает, и все вот уж и громко кричат. Но вот выходит Достоевский. Маленький человечек, худенький, серенький, светлые волосы, цвет лица и всего — серый. Ну, какая же фигура для «Пророка». И вот выросстал и выростал! Читал он, и все слушали, затаив дыхание. Тихо начал, просто, и кончил — как пророк. У него и голос гремел, и он все выростал. Пророк...

Тоже вот, помню, как-то другой раз читал он сцену из «Братьев Карамазовых»: Катерина Ивановна и Дмитрий с ней. Это когда подходит он после к стеклу и лбом о стекло эдак, чтобы охладиться. Это тоже так было прочитано! Незабвенно и это. Прочел так, как никто на свете! И вышла тогда сцена поразительно. Поэт настоящий!

Хорошо я помню, когда свою речь читал. Мы тогда с Владимиром Яковлевичем специально из Петербурга на торжество (в Москву) приехали. Время это — незабвенное время! Атмосфера пробуждения русскости, все словно тогда сознали свою русскость, все торжественное такое было. Помню тогда (в день открытия памятника) были мы с мужем на площади. Места

там устроили как-то вроде амфитеатра — трибуны. Мы с Владимиром Яковлевичем, страстным пушкинистом, сидели на местах, сколоченных из досок, довольно высоко, как раз против церкви Страстного монастыря. Все ждали, когда откроется после обедни главный вход, а памятник в это время был закутан в холст и обвит веревками. Начала стекаться публика, подходят различные делегации, подходят к памятнику писатели и кладут венки, идут гимназии, проходит гимназия Фишер — несут знамя. Ах, думаю, зачем не моя это, зачем не моя гимназия! Моей-то еще не было, только уж после открылась. Но вот распахиваются врата церкви, идет крестный ход, несколько оркестров вдруг начинают играть «Коль славен наш Господь в Сионе». . . И тут, кажется мне, запела вся публика, все поют и веревки с памятника как бы сами падают, разворачиваются полотна и открывается статуя. Что-то тут было незабвенное, казалось, что словно на небо подымаешься. Может быть, и оттого, что места наши так уж устроены были, но все, все присутствующие чувствовали, что это все первые проблески русского самосознания. Чудно хорошо тогда было.

Вот и главная-то речь Федора Михайловича еще больше всех возбудила. Громадная зала вся полна («все писатели» тоже там). Выходит Достоевский, начинает свою речь (это после и в газетах было), начинает тихо. Зал шумел и вдруг прислушался: Достоевский с эстрады протянул руку, и стихло. И он начал без всяких прелюдий и обращений: «Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. . .» (Первые слова Достоевский произнес глухо, а последнее каким-то громким шепотом, как-то таинственно, вся зала сразу почувствовала какой-то трепет и насторожилась). Русский человек — всечеловек. Так об этом главное и говорил, о всечеловечности. Затем он говорил о том, что такое представляет собой русский человек, в частности, русский юноша. О чем говорят эти желторотые, когда соберутся вместе. О счастье людей, всех людей, родины. Нет, этого мало, им давай счастье всего, всего человечества, это всечеловек, он всех хочет осчастливить.

Тогда очень, очень много нападков на молодежь всюду было, а Достоевский-то в речи словно защищает молодежь. Один студент, помню, падает в обморок. Все потрясены. Кончил он драматически, трагически кончил: «Пушкин умер в полном развитии своих сил и, бесспорно, унес с собою в гроб некую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».

Когда потом эту же речь читал (по «Дневнику писателя») профессор Орест (Федорович) Миллер, то я не могла слушать его и ушла: противно и неприятно стало. А когда читал сам Достоевский, то другое, совсем другое слышалось. Как кончил Достоевский так трагически-то, гробовая тишина сначала, а по-

том овации. Подходят, бегут к нему, целуют его все, и Тургенев к нему идет, и все, все потрясены так, до глубины души.

После, как зала немного очистилась, дамы уехали, а Достоевского просили остаться. После эдак часу привезли громадный венок и его увенчали. Это был не просто Пушкинский праздник и речи, а празднование русского духовного возрождения.

Вскоре потом Достоевский умер. Перед смертью Анна Григорьевна рассказывала, он все о семье и ее будущем беспокоился: «Умру я, чем же ты жить будешь, чем жить. Но помню, говорит, Аня, не обращай в „Литературный фонд“, тебе откажут еще, не обращай!» Просил тоже, уже умирая, чтоб и если трудно будет, чтоб Любочке, дочери их, кильки и шпроты всегда давали, чтоб непременно, непременно у ней были. «Неужели я умру, и у нее не будет!» Они ведь все время нищенски почти жили — все долг выплачивали, только к концу жизни Достоевские выбились. Тогда, помню, в конце 1870-х годов Анна Григорьевна с радостью сообщила мне, что уже долг заплатили и 1.000 рублей осталось. Они за нее после дом в Старой Руссе купили.

Но после смерти Достоевского они бедности не увидели. Сперва государь определил пенсию Анне Григорьевне с детьми, кажется, 2.000 в год, а после главное — издания сочинений Достоевского раскупились. Очень помню, тогда радовалась Анна Григорьевна, что их с Достоевским любимейший (он его так любил!) государь так им помог и пенсион назначил.

Потом, когда был убит император и Вл. Соловьев, говоря о необходимости помиловать, не казнить убийцу, чтоб выйти из малого «кровавого круга», пока не образовался «большой кровавый круг», сказал эти слова, то Анна Григорьевна страшно вознегодовала. Помню, она подбежала тоже к кафедре и кричала, требуя казни. На мои слова к ней, что ведь Владимира Соловьева наверное бы одобрил и Достоевский, что ведь он его так любил и изобразил в лице Алеши, Анна Григорьевна с раздражением воскликнула: «И не так уж любил, и не в лице Алеши, а вот уж скорее в лице Ивана он изображен!» Но эти слова, повторяю, сказала она в волнении раздражения.

Помню ясно я тоже известие о смерти Достоевского. Приехала я, как сейчас помню, на панихиду. В гостиной у них, смотрю, сидит с моей Анной Григорьевной на диване какой-то свинообразный человек — это был князь Мещерский, издатель «Гражданина». Еще кто-то со мной вошел. Гроб с телом стоял в кабинете. Вошла туда с нами графиня Софья Андреевна Толстая³ и положила на руки Достоевского и на грудь ландыши и иные потом цветы. Клали цветы и другие.

В день похорон весь Кузнечный переулочек полон народу; студенты держат цепь, а народ все идет, все идет. Большие были похороны и Некрасова (тоже помню), но куда, совсем не такие, как Достоевского...

Воспоминания принадлежат перу страстного почитателя Достоевского, писателя Александра Васильевича Круглова (1853—1915). См. также его мемуары в разделе «Смерть. Похороны» в настоящем издании.

ПРОСТЫЕ РЕЧИ

(Памяти Ф. М. Достоевского)

...Если вообще, как сказал кто-то, русский писатель — искренний писатель, то это особенно приложимо к покойному Достоевскому. Он болел сердцем обо всем, обо всех, потому что глубоко любил родину и был писателем-гражданином. Поплатясь за свои юношеские увлечения, он скоро, путем страданий и вдумчивой мысли, прозрел для понимания правды народной, сделался выразителем этой правды, и не только писателем, но и учителем общества, поднимаясь нередко до степени вдохновенного пророка, если так можно выразиться. Это был писатель русский, потому что выражал мысль не какой-нибудь одной группы людей, одного кружка, а всей «русской Руси», являлся толкователем народных дум, мечтаний, объяснителем народной души. В его словах чуялась сила, любовь ко всему, о чем он говорил, и эта любовь делала то, что его правду выслушивали и те, для кого она была горька. Эта правда шла из любящего, чистого отцовского сердца, и старому учителю внимала благоговейно молодежь, которой он не стеснялся читать резкие и суровые наставления. Но это были уроки любящего отца, а не человека, враждебно настроенного против юности.

Я помню случай, уже отмеченный мною.

Я шел по Невскому проспекту с медиком-студентом. Навстречу нам попался Достоевский. Студент быстро снял фуражку.

— Вы разве знаете Федора Михайловича? — спросил я.

— Лично я не знаком с ним, — ответил студент. — Я ему *не поклонился*, я обнажил перед ним голову, как это я делаю всегда, когда прохожу в Москве мимо памятника Пушкина.

Глубоко верно, что со смертью Достоевского мы понесли незаменимую утрату. Мы лишились не только могучего таланта, но учителя, обладавшего знанием той правды, которая еще не стала достоянием всех, умевшего так объяснять ее, бороться за нее, как не умеют многие, понимающие ее. Достоевский был независим, как очень немногие. Он думал *по-своему* и не боялся говорить то, что думал, не боялся насмешек. Он не угождал в своих сочинениях никому из тех, от кого зависит слава писателей. Ведь он служил родине, народу, как писа-

тель,— как же он мог изменить им и говорить ложь в угоду кому-нибудь! Он не искал славу, и он ее получил, и эта слава — не мимолетная, как мода, не слава временных кумирчиков, создаваемая кружком людей, а та прочная, широкая слава, которая дается не скоро и которую может дать только вся страна, когда писатель беззаветно служит ей, забывая о самом себе. Один юноша сказал как-то мне:

— Знаете, чем силен Достоевский? Вы думаете талантом? Нет: *своей верой!* У него нет ни одного слова без веры, а это не у всех.

Вот мнение, которое впору и не юноше.

Да, Достоевский горел верой. Если он писал, то верил в то, что писал. Он служил родине пером с верой в нее, в ее исцеление, в ее будущность, в спасительность тех взглядов, которые он приводил в своих сочинениях. Эта вера давала и то, что *грешники* против родины приходили к художнику-учителю, плакали у него, каялись перед ним и уходили от него ободренные, укрепленные духовно, способные к новой жизни, к работе на благо родины. Он научал их понимать ее, он возвращал их ей...

Стоя у гроба Достоевского, я вспоминал мою первую встречу с ним в 1873 г. Мне было тогда всего 20 лет, и я только что приехал в Петербург. Федор Михайлович любовно, по-отечески встретил меня, юношу, и его правдивое веское слово было для меня светом. Он указал мне путь, ободрил меня и многое пророчески предрек. Этот нервный худощавый человек с проникновенным взглядом серых глаз умел читать в душах людей и действовать на них. Я не раз в жизни уклонялся с пути, который сам считал верным, но всегда, как маяк, светил мне образ великого писателя и помогал вернуться на истинный путь. В моих ушах и теперь звучат слова Достоевского, который произносил их порывисто, стуча пальцами по столу:

— Бойтесь партий. Россия — вот кому обязан служить писатель и больше никому. Русское народное дело — вот наша цель. Русский писатель должен быть верующим, ибо только Христос — истинный путь. Все должны быть нравственны, а писатель наипаче. А что такое нравственность? Где мерило? Опять-таки — один Христос, Его Евангелие.

Я вспомнил эти его слова, читая его «Записную книжку», именно следующее место: «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо возбуждать вопрос: справедливы ли мои убеждения? А проверка одна: Христос».

Он сам делал так, следуя заветам Смиренного Кроткого Учителя. И другим он говорил громко и настойчиво: «Смирнся, гордый человек! Потрудиcя, праздный человек!»

И он потрудился, смирившись еще в годы страданий, и за свой земной подвиг, за свою службу родине увенчан славой на земле и, без сомнения, там у престола Того, в Кого он горячо

веровал, заветам Которого служил и с Евангелием Которого никогда не разлучался. По словам жены Федора Михайловича, во всю свою жизнь, в решительные минуты, он имел обыкновенные раскрывать наудачу то самое Евангелие, с которым был и в Сибири, и читал верхние строки открытой страницы. Так поступил он и незадолго перед смертью. Книга открылась на 3-й главе от Матфея, на ст. II: «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Когда Анна Григорьевна прочла это, Федор Михайлович сказал: «Ты слышишь — „не удерживай“ — значит, я умру», и закрыл глаза. Предчувствие вскоре оправдалось¹.

Достоевский умер как человек. Но как писатель он никогда не умрет; надо думать, что он будет еще больше оценен и понят, когда окрепнет проснувшееся русское самосознание, и русский народ, истинно просветившийся, узнает, за что боролся этот великий писатель.

Отчаянная нужда в 1870-е гг. заставила Достоевского искать устойчивый заработок. В конце 1872 г. он предлагает князю Владимиру Петровичу Мещерскому (1839—1914) редактировать его журнал-газету «Гражданин». После ухода прежнего редактора, известного публициста Г. К. Градовского, положение этого периодического издания стало критическим. Но Достоевский быстро понял, что совершил ошибку, согласившись стать редактором «Гражданина». Эта работа совершенно изматывала его и не давала никакой возможности начать роман «Подросток», к тому же еще Достоевскому приходилось править бездарные писания самого князя Мещерского, претендовавшего на роль идейного руководителя своего детища. Отношения с князем Мещерским все более обостряются. «Сегодня утром,— пишет Достоевский жене 20 июля 1873 г.,—разом получил от князя телеграмму и два письма насчет помещения его статьи. Письмо его мне показалось крайне грубым. Сегодня же отвечу ему так резко, что оставит вперед охоту читать наставления».

Последним толчком к окончательному отказу Достоевского от редакторства послужил резкий спор между ним и издателем в ноябре 1873 г. Мещерский хочет напечатать в «Гражданине» свою статью, в которой он рекомендует правительству организовать студенческие общежития для надзора за студентами. В письме к издателю Достоевский выражает решительный протест: «Семь строк о надзоре или, как вы выражаетесь, о *труде* надзора правительства, я выкинул радикально. У меня есть репутация литератора и сверх того дети. Губить себя я не намерен. Кроме того, ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и волнует сердце».

Консерватизм Достоевского всегда имел ту нравственную черту, за которую он никогда не переходил. С начала 1874 г. Достоевский не помещает в «Гражданине» ни одной строчки под своим именем, а 19 марта 1874 г. отказывается от должности редактора ввиду болезни. Однако в своих воспоминаниях Мещерский ни словом не упоминает о своих расхождениях с Достоевским.

Но соглашаясь стать редактором «Гражданина», Достоевский думал не только о постоянном заработке. Он давно мечтал о живой, непосредственной, новой форме общения с читателем. Так возник в «Гражданине» особый отдел под названием «Дневник писателя» — явление уникальное в русской и мировой литературе.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Мое сближение с Достоевским. Его характеристика

К концу первого года издания моего «Гражданина» мне пришлось разочароваться в моем alter ego*, Градовском или, говоря вернее, убедиться в том, что он не моего прихода, и после нескольких маленьких стычек, чтобы избежать более

* Второе я (лат.).

крупных недомолвок, мы пришли к мысли, что союз наш должен расторгнуться по взаимному соглашению, и что с будущего года я должен искать себе другого издателя-редактора.

Положение было критическое... Где искать такого сотоварища?

И в эту трудную минуту, в одну из сред, когда за чашкою чая мы говорили об этом вопросе, никогда не забуду, с каким добродушным и в то же время вдохновенным лицом Ф. М. Достоевский обратился ко мне и говорит мне: «Хотите, я пойду в редакторы?»

В первый момент мы подумали, что он шутит, но затем явилась минута серьезной радости, ибо оказалось, что Достоевский решился на это из сочувствия к цели издания...

Но этого мало. Решимость Достоевского имела свою духовную красоту. Достоевский был, невзирая на то, что он был Достоевский, — беден; он знал, что мои личные и издательские средства ограничены, и потому сказал мне, что он желает для себя только самого нужного гонорара, как средств к жизни, сам назначив 3.000 рублей в год и построчную плату.

Горизонт «Гражданина», потускневший к концу года, прояснился с этим отрядным фактом и, понятно, явились надежды на успех «Гражданина» благодаря имени Достоевского.

Но Достоевский оказался пророком.

— Нет, — говорил он, — не предавайтесь иллюзиям, мое имя вам ничего не принесет: ненависть к «Гражданину» сильнее моей популярности, да и какая у меня популярность? У меня ее нет, меня раскусили, нашли, что я иду против течения.

И он оказался прав.

Что-то холодное, что-то злое приветствовало Достоевского во всей тогдашней печати в его новой роли хозяина «Гражданина». Его признали виновным в совершении гнусного дела и не заслуживающим никакого снисхождения¹. Нападения на «Гражданин» стали злее и интенсивнее, а результатом было то, что подписка 1873 года обнаружила количество самое незначительное, приблизительно сотни на две увеличение числа подписчиков.

Это уже было несомненное знамение времени. Первый год можно было объяснить неуспех «Гражданина» моею глупостью или бездарностью, я это охотно допускал, но когда во второй год умом и душою издания сделался Достоевский, и все же успеха не было, что прямо уже значило, что ненависть к консервативному изданию была искусственно привита тому громадному стаду, которое тогда носило грандиозное название современного образованного общества.

В начале второго года открылся новый молодой талант в рукописях «Гражданина». Однажды приходит ко мне Достоевский и с восторгом сообщает об очерках с севера некоего Немировича-Данченки². Завязалась переписка с талантливым

автором. Он оказался молодым сосланным в Архангельскую губернию. Несомненность его таланта и чувства, которыми полны были его прекрасные письма в минуты испытания и наказания, побудили нас общими силами хлопотать о его участи. Граф Пален, тогдашний министр юстиции, отнесся сочувственно к этим хлопотам, и молодой талант был помилован.

Радость Достоевского, когда он нападал на след или на признаки таланта, была трогательна и характерна.

Однажды он пришел ко мне и с сияющим лицом возвестил, что нашел второго Гоголя, копаясь в ворохе рукописей. Действительно, в маленьком рассказе «Сапоги» оказался громадный комический талант. Мы добыли автора, скромненького чинушку, жившего на Охте, и начали с ним возиться. Но, по странной игре случая, так дальше этого рассказа его творчество не пошло, и то, что он стал писать после, к его и к нашему горю не стоило ни гроша.

Достоевский был одним из самых интересных и оригинальных людей, виденных в моей жизни.

В самой истории его жизни было крупное недоразумение, из самых необыкновенных и оригинальных: это разжалование его и ссылка в Сибирь за политическую неблагонадежность, даже более того — за участие в каком-то будто заговоре против Николая I!.. Я не видел на своем веку более полного консерватора, не видел более убежденного и преданного своему знамени монархиста, не видел более фанатичного приверженца самодержавия, чем Достоевский, и этот Достоевский попал в Сибирь и на каторгу за политические преступления.

Как это могло случиться, я никогда не мог понять, и из всего, что я мог узнать от него о том печальном событии его жизни, когда молодым офицером-инженером он был замешан и схвачен в так называвшейся тогда истории Петрашевского, я вынес убеждение, что главная причина такого драматического эпизода в жизни Достоевского была его гордая и цельная натура, не поддававшаяся ни на какие компромиссы, ни на какие уступки, вследствие которой он пальцем не двинул, чтобы себя выгораживать, и уж, разумеется, ни звуком не выдал кого-либо из тех, которые его вовлекли в это драматическое недоразумение.

Тем же гордым в своей беде он был на каторге, и уже после, в восьмидесятых годах, мне пришлось слышать от товарищей Достоевского на каторге, что там, на месте его мук, автор «Записок Мертвого дома» изображал между каторжниками и ссыльными самого фанатического апостола заветов преданности Государю и самодержавию, и эти проповеди его производили сильное и благотворное действие на молодые, пошатнувшиеся и блуждающие во тьме души.

Оттого к чувству благодарности и дружбы, которые я питал к Достоевскому, всегда присоединялось во мне самое искрен-

нее благоговение к этому гордому мученику рокового недоразумения, которому все давало право если не быть злобным, то хотя бы с горечью глядеть на жизнь и на людей, и который вместо того, от незаслуженной каторги³, на всю жизнь подорвавшей его физический организм, вынес душу, пылавшую огненной преданностью к русскому царю и тверже, чем когда-либо, закаленную во всех самых строгих принципах консерватизма.

Такого цельного и полного консерватора я никогда не видел и не встречал... Мы все были маленькими перед его грандиозною фигурою консерватора... Апостол правды во всем, в крупном и в мелочах, Достоевский был, как аскет, строг, и, как неопит, фанатичен в своем консерватизме... И тут какая оригинальность в сопоставлении того, чем Достоевский был, с тем, чем он слыл для массы русского интеллигентного люда, искавшего в нем, благодаря его эпохе, какого-то фетиша либеральной революционной партии.

Этих-то своих поклонников Достоевский ненавидел. Достоевский *умел* ненавидеть, это была черта его духовной личности, которую я вообще встречал в людях редко, а в консерваторах подавно... Такое *умение* ненавидеть политическою ненавистью я встречал только в двух людях, в одинаковой мере, но в совершенно противоположных образах мыслей: это в Ю. Ф. Самарине и Ф. М. Достоевском. Самарин ненавидел, например, русского дворянина всеми фибрами своего существа; Достоевский ненавидел с тою же силою души русского революционера. Но различие было большое в качестве души... Я редко встречал такую богатую в то же время любовью к идеалам душу, любовью к человеку, как у Достоевского... У Самарина избыток ненависти происходил от недостатка любви; у Достоевского ненависть, как у всех апостолов, была неизбежным последствием любви к идеалам и к правде. Оттого тою же ненавистью дышала его душа ко всякому виду неправды и лжи... В ненависти к революционерам Достоевского было два двигателя: ненависть к ним за вред, который они приносят русскому народу, и ненависть за ложь в их проповедничестве...

Не было человека добрее Достоевского... Он готов был все, и жизнь, и последний грош, отдать на помощь другому: но как часто я слышал, что никто так не казался злым человеком, как он... И действительно, бывало, на моих вечерах, пока все сидевшие с ним были близкие, Достоевский бывал очарователен и рассказами, и остроумием, и своею оригинальною по смелости логикою. Но едва только входил гость ему мало или вовсе незнакомый, сразу Достоевский входил, как улитка, в свою раковину, и превращался в молчаливого и злого на вид истукана, и продолжалось это до тех пор, пока этому незнакомцу не удастся произвести на Достоевского симпатичного

впечатления... И беда была, если, не дождавшись этого впечатления, незнакомец решится заговорить с Достоевским: непременно приходилось ждать со стороны Достоевского злую физиономию и какую-нибудь грубую реплику.

Достоевский был враг современного женского вопроса, тогда гораздо более, чем теперь, принимавшего смешное олицетворение в стриженных девах, в синих очках и тому подобных наружных проявлениях... А между тем эти стриженные и синее очковые девы, не подозревая ненависти к ним Достоевского, постоянно к нему лезли, как к *своему* будто бы учителю.

Не раз приходилось мне присутствовать при таких комических *qui pro quo*. Входит современная женщина. Не замечая злую физиономию Достоевского и не прислушиваясь к тому резкому и строгому тону, с каким он встречает ее словами: что вам нужно? — она, вся полная своими современными мотивами, сразу начинает ими захлебываться всласть и с горящими глазами, с пылающими щеками выпаливает свои причитания...

Достоевский ее слушает и внимательно, и нервно, и я вижу по лицу его, что каждая черта принимает какой-то острый характер, что внутри кипит вулкан, чувствую, как он сдерживается, и вот в ту минуту, когда, выпалив свой заряд современных мотивов по женскому вопросу, несчастная стриженная ждет от *своего* Достоевского одобрительное слово — неумолимый враг женского вопроса обращается к ней с вопросом: вы кончили?..

— Кончила, — отвечает стриженная.

— Так вот что, слушайте меня, я буду кратче вас, вы много болтали... а я вам вот что скажу: все, что вы говорили, пошло и глупо, понимаете вы, глупо: наука без вас может обойтись... У женщины одно призвание — быть женою и матерью... Другого призвания нет, общественного призвания никакого нет и не может быть, все это глупости, бредни, вздор... И все, что вы мне рассказывали, — вздор, слышите, вздор... Больше я вам ничего не скажу.

Вот разговор, который мне пришлось слышать и который я запомнил.

И таким неумолимым и несговорчивым Достоевский был во всех модных либеральных вопросах, он их ненавидел из-за их фальши...

И сила убежденности была так велика и глубока, что к концу года моих ежедневных отношений с Достоевским я понял, как я был юн до встречи с ним в своем консерватизме, и почувствовал, как я, благодаря ему, укрепился и развился в своем консерватизме. Его влияние на меня было глубочайшее и решающее на всю мою жизнь.

А. Г. Достоевская пишет в своих «Воспоминаниях» (М., 1987. С. 275—276) о редактировании писателем в 1873 г. журнала-газеты князя В. П. Мещерского «Гражданин»: «На первых порах своей новой деятельности Федор Михайлович сделал промах — именно, он поместил в „Гражданине“ (в статье князя Мещерского „Киргизские депутаты в С.-Петербурге“) слова государя императора, обращенные к депутатам. По условиям тогдашней цензуры речи членов императорского дома, а тем более слова государя могли быть напечатаны лишь с разрешения министра императорского двора. Муж не знал этого пункта закона. Его привлекли к суду без участия присяжных. Суд состоялся 11 июня 1873 г. в С.-Петербургском окружном суде. Федор Михайлович... был приговорен... к двум суткам ареста на гауптвахте... По поводу своего ареста Федору Михайловичу пришлось познакомиться с тогдашним председателем С.-Петербургского окружного суда Анатолием Федоровичем Кони, который сделал все возможное, чтобы арест мужа произошел в наиболее удобное для него время».

А. Ф. Кони помог отнести второй арест Достоевского (первый, как известно, был в 1849 г. по делу петрашевцев) на более удобное для него время — вторую половину марта 1874 г., когда он фактически уже перестал быть редактором «Гражданина». Судя по воспоминаниям А. Г. Достоевской, околотовный явился за ее мужем 21 марта 1874 г. Местом заключения назначили гауптвахту на Сенной площади. Мемуаристы отмечают, что в камере с Достоевским находился какой-то ремесленник, а дежурный офицер был «преумнеющий», который говорил с писателем о романе «Преступление и наказание» и «вообще разговаривал с ним по душе».

В Центральном государственном архиве литературы и искусства в материалах литературоведа 1920-х гг. П. И. Карелина нам удалось найти воспоминания этого офицера.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Не сумею вам в точности сказать, но было это наверно в 70-х годах и никак не позже. Служил я тогда на Сенной надзирателем. Служба была скучная, надоедая однообразием; получал я до того мало, что, можно сказать, с воды на квас перебивался с семьей. Много лет кряду служил я надзирателем, много, скажу я вам, и народа перевидал. А кого только у нас не бывало?! Особенно запомнился мне писатель Достоевский. Одним часом с ним был посажен и купеческий сын Александров из Апраксиного.

Когда утром я пришел на дежурство, то служитель, который сменялся, сказал мне, что у нас двое новых сидят. «Один из них писатель», — прибавил он.

— А почему ты знаешь? — спросил я.

— А они мне сами об этом рассказывали.

Посмотрел в реестр заключенных, вижу фамилии и в самом деле Достоевский и Александров.

Ну, думаю, шутку, значит, сыграла с ним жизнь. Однако любопытствую: какой из себя Достоевский. Всего о нем я не знал, но кое-что из сочинений читать приходилось.

Захожу в камеры, а они оба сидят на койке взлохмаченные, неумытые и режутся в карты.

Карты и игры у нас в заведении запрещались начальством и при упущении строго взыскивалось с виновных. Я к ним и обращаюсь: «Нельзя, мол, господа, здесь в карты играть», а Достоевский собрал карты, сжал колоду в руке и говорит:

— Милый человек, мы о судьбе своей гадаем, разве не разрешается это?

Вижу, что они хотят меня на словах обойти, — напускаю серьезность и еще раз повторяю: «Судьба тут ни причем, о ней можно размышлять и в мыслях иметь, а карты, пожалуйста, без скандалу. Так что я должен буду их все равно отобрать...»

Александров этот и говорит тогда: «Бросьте, Федор Михайлович, ему их в рыло. Что со скотиной и говорить!»

Но Достоевский стал его успокаивать и тут же уговаривать меня: «Голубчик, ты вот из дома, от жены, от детей пришел; отстоишь свое время, да и опять к ним, а как нам быть? О домашних ничего не знаешь, жена не приходит второй день¹ — бросишь на картах и легче станет ведь...»

Я, конечно, опять-таки понимаю, что беспокойство о домашних тут ни причем, но только обговорил он-таки меня. Совсем заговорил до того, что я даже не только карты у них не отобрал, но и за водкой разной для Александрова ходил.

Я тогда почему-то думал, что Достоевский из жидов. С наружности он что ли на них походил — не знаю, но будто не русской крови — это я после слышал².

Как-то заметил я, что Достоевский молится на ночь. Станет в темном углу и долго стоит, сложив руки на груди, а когда кончит молитву, опустится на колени, поклонится, достанет крест нательный, поцелует и сейчас же спать ложится, чтобы не было разговоров.

Днем Достоевский много читал³ или писал письма. Дадут денег, велят купить бумаги и пакетов, а потом все отсылали со мною или с другими дежурными. Это им офицером дозволялось.

Ходил я раз в гостиницу, носил письмо к какому-то господину — редактору. Господин этот приказал передать Федору Михайловичу книжку журнала и деньги⁴.

Достоевский, получив деньги, хотел одарить меня, но я положительно отказался.

— Позвольте вам услужить, хотя это и не дозволяется правилами, но чтобы за деньги, то ни за какие! — говорил я пи-

сателю, а он все не верил, что я не хочу денег, что я отказываюсь от них.

— Вот уж чего не понимаю: русский человек, а деньгами не интересуешься, — сказал он.

Я тогда очень этими словами обиделся, обиднее еще было, что купчик насмехался и надо мной и над бедным Федором Михайловичем.

— Не хотите, чтобы за спасибо делал, то поищите себе других... — сказал я.

Достоевский очень расстроился, стал уверять, что он ошибся в суждении обо мне и попросил у меня прощения.

Мы тут же, конечно, примирились, и Достоевский даже купчика склонил на мою сторону: тот стал меня на «вы» называть. Только не думаю, чтобы Александров в полное уважение или сочувствие ко мне вышел. Ему стыдно должно быть было Достоевского.

В скором времени Достоевский был отпущен. Александров оставался после него недели две.

Когда Достоевский уходил, я помогал складывать ему вещи, и он подарил мне бутылку романи, которую употреблял с чаем.

Воспоминания принадлежат перу дочери младшего брата писателя Андрея Михайловича Достоевского Варвары Андреевны Савостьяновой (Достоевской) (1858—1935). Они написаны в 1927—1930 гг. См. о ней в кн. А. М. Достоевского «Воспоминания». Л., 1930 и в кн. М. В. Волоцкого «Хроника рода Достоевского». М., 1933. 10 марта 1876 г. Достоевский писал Андрею Михайловичу: «Тебе одному, кажется, досталось с честью вести род наш: твое семейство примерное и образованное, а на детей твоих смотришь с отрадным чувством».

ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧАХ СО СВОИМ ДЯДЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ

Мое первое знакомство с Федором Михайловичем началось в 1875 году — феврале или марте¹, они жили на Лиговке, около Греческой церкви. Я видела только его, а Анну Григорьевну и старших детей не видала, они были больны какой-то детской болезнью, кажется, скарлатиной. Папа подвел меня к дяде; он был очень мил, разговорчив, прежде всего сделал мне род экзамена, принес французскую книгу и дал прочесть несколько строк. Признаюсь, это меня немного удивило — что мне, гимназистке, кончившей курс с золотой медалью, делали смотр и еще не на каких-либо других предметах, а именно из французского языка. Но потом, вспоминая этот визит, я поняла, что в этом экзамене он хотел уяснить себе степень моей образованности и культуры. Папа, видимо, гордился своей дочкой, а дядя остался очень доволен. Потом они вдвоем долго разговаривали о своей жизни и говорили сердечно и душевно, а мне отродно было слушать их, так как я чувствовала, что они были высококультурны. Дядя говорил: «Ты счастлив, брат. А мне уже не придется дожить до взрослых детей». В это время в комнату вошел младший сын его, Леша, мне он показался довольно высоким мальчиком, в тулупчике и шапке он отправлялся на прогулку и по обыкновению подошел к своему папе, прося у него пятак на сласти. Дядя с любовью дал ему деньги, прибавляя: «Ах, Леша, Леша, ты меня совсем разоришь». У мальчика была большая шишка на лбу, и это его портило. Кажется, с этой шишкой он и родился, не она ли была причиной его смерти?² Еще многое они говорили дружно, по-братски, и мне, сидя с ними, так было отродно слышать их родственную беседу — это чувствовалось особенно потому, что они были наедине и изливали свою душу, особенно дядя, в своих мечтах, переживаниях; эта-то задушевность и трогала так, особенно меня, — я в первый раз была при свидании двух братьев, которых соединяла и любовь, и единокровие, уважение, которые высказывал мой папа к своему

любимому и старшему брату. И всегда он к нему относился так любовно и с уважением; всегда восторгался его романами, читал их, ходя по комнатам (у нас не было закрытых дверей), и вот из гостиной в залу, к окнам и опять к своему столу мирно ходил папа и читал; а когда подросток Саша³, будучи гимназистом, кончающим курс и особенно заряженный отрицанием и либерализмом, стал было спорить с папой о достоинствах нового романа, кажется, это были «Бесы» — Боже мой, как волновался и горячился папа! Как яростно он защищал своего брата от нападков молодежи, и, видимо, долго он помнил этот разговор и горько ему то, что его сын так непочтительно и грубо отзывался об авторе; брат Саша откуда-то взял, да вряд ли он и сам прочел весь роман, что автор был поклонником (он выразился хуже — «рабом») Каткова.

Потом я помню дядю, когда я приезжала уже будучи замужем и с мужем к нему на Кузнечный. Нас встретила Анна Григорьевна (кстати, мы никогда и никто в семье не звали ее тетей). Как всегда жизнерадостная, любезная, говорливая. В гостиной на столе стояли сервиз для курения и лампа дрезденского фарфора. Я часто потом видела этот сервиз у них на бархатной скатерти на столе перед диваном. В углу перед образами горела лампадка. Дядя был в своем кабинете и покашливал. Потом, тихой походкой, полусгорбленный, с бледным усталым лицом, неся стакан чаю в руке (как теперь вижу я его) пришел в гостиную, поздоровался и сел в кресло, рядом с Анной Григорьевной. Начался разговор, не помню о чем. В этот, кажется, приезд наш, зашел разговор о покупке имения. Они хотели где-нибудь купить имение, и, зная, что мой муж из Тамбовской губернии, спрашивали его про цену и возможность купить там имение. «Нам предлагает ее брат, — сказал Федор Михайлович, указывая на свою жену, — имение в Курской губ. Но какая же это Россия? Я хочу в самом центре России, чтобы были березы, а там растет дуб. А я люблю березу и чернолесье. Что может быть лучше первых клейких березовых листочков!»

В октябре, кажется, 1879-го г., в день рождения Федора Михайловича, мы с сестрой⁴ поехали поздравить его, сестра в эту осень была за границей с мужем, были в Париже на выставке. Дядя заметил, что на ней была старая шляпа, и он стал ее пенять за это. «Как же это быть в Париже и не купить себе новой шляпы, ведь это непростительно». Но вслед за тем он наговорил ей комплиментов насчет ее материнства — у нее уже было 3 ребенка — говорил, какая красота и гордость для женщины иметь столько детей. «Ведь дорогу нужно давать таким матерям: пустите, пустите меня вперед, дайте дорогу, я — мать 5 детей». (Так и оказалось потом).

Еще помню, как я была у него с мужем, которого он очень полюбил, обласкал, подарил свою фотографическую карточку.

сам же ее подписал, и это тем более было трогательно, что с чужими он бывал и нелюбезен и нелюдим. Раз он был муж его племянницы, этого было достаточно, чтобы он полюбил его. Меня он долго рассматривал, потом подвел к окну, чтобы лучше рассмотреть: «Как я рад, что в нашей семье оказалась такая красавица». Увидя же, что я была в таком положении, он наставительно сказал: «Вы будете молодка — вы знаете, что значит молодка? Это значит, что у вас будет первый ребенок мальчик». Так и сбылось. Он, по обыкновению, проводил нас в переднюю, долго, еще долго говорил. Мы все с Анной Григорьевной стояли и слушали, а он все более и более увлекался, брал за пуговицу пальто и говорил. О чем? Что-то ничуть не обыденное, скорее — поучение, что-то философское — и все более увлекался.

По поводу имени этого нашего первого ребенка — сына, которого мы называли Андреем, — он нас пожурил... «Не Андреем он должен был называться, а Константином, в честь отца мужа. В русском быту это так ведется». — «Но, дядя, — возражала я, — ведь его отец умер, а мы дали имя в честь моего отца, который жив». Он только ласково улыбнулся, но не уступил.

Потом я помню, как дядя был у нас на Васильевском острове, когда мне был девятый день после родов, я была очень тронута его вниманием. Подняться ко мне, родильнице, на 3-й этаж, с его легкими, когда он не всегда и выходил, а это было 9 февраля 1879 года. Придя ко мне, он сел в ногах у меня на кровать, сказал, что у меня вид хороший, что уже есть краски на лице. Потом муж увел его в кабинет, и вот какая сцена произошла там. Нужно сказать, что при рождении наш мальчик заболел очень серьезной редкой детской болезнью «мелена», от нее выживает один на тысячу. Но наш малютка выжил, мы обратились тогда к очень опытному врачу Чошину, который работал в приюте принца Ольденбургского. Тот же врач пользовал и Лешу Достоевского, но неудачно. Когда у Леши началось воспаление мозга и родители бросились к нему, он сказал «я сейчас приеду», но приехал не так скоро, а когда позвонил, то мать, выйдя к нему навстречу в слезах, сказала, что Леша скончался... «Ах, как жаль, ведь лед нужно было бы ему положить на голову, как это я не догадался сказать вам это...»

Так вот, встретившись с Чошиным в первый раз после этого у нас в кабинете, дядя вдруг нахмурился, сел в кресло и ни слова не проронил. Чошин же скоро и уехал. Муж, придя ко мне после ухода гостей, все это и рассказал. Значит, Федор Михайлович передал это все сам моему мужу.

Воспоминания принадлежат писателю И. Щеглову (настоящая фамилия Иван Леонтьевич Леонтьев, 1855—1911).

ТРИ МГНОВЕНИЯ

(Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском)

I

Когда в конце 1875 года в газетах появились объявления о выходе с нового года «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского, как самостоятельного издания, я поспешил по адресу Ф[едора] М[ихайловича], чтобы заблаговременно подписаться на «Дневник», ибо должен был по службе после праздников уехать обратно в провинцию.

Жил тогда Достоевский на Песках, около Греческой церкви, и — помню — с каким необычайным волнением поднимался я тогда по лестнице к дверям квартиры знаменитого писателя.

Долго не решался взяться за ручку звонка...

Хотя я направлялся в контору «Дневника» и рассчитывал получить обычную квитанцию из рук конторщицы, но почему-то (сладко щемило сердце какое-то предчувствие) — почему-то... вдруг придется столкнуться с самими!

«Сам» окружен был для меня всегда ореолом чего-то сверхчеловеческого и в то время в моем пылком воображении двадцатилетнего офицера рисовался мне в образе грозного, неумолимого судьи, и, признаться, встречи с ним с глазу на глаз я немало трусил.

И вдруг, представьте, какая неожиданность?

Не только не оказалось никакой конторщицы, но даже не оказалось никакой конторы, и навстречу в переднюю ко мне вышел сам Федор Михайлович, совсем по-домашнему, в поношенной серой пиджачной паре, с добрейшей-предобрейшей улыбкой на усталом лице и, видя мое великое смущение, с трогательным радушием провел меня в свой кабинет.

Я был, как в чад, и решительно не помню, в какой обстановке происходило свидание. Общее впечатление было... крайней простоты, почти бедности...

Как это ни странно, но, по-видимому, и сам Федор Михайлович был немало смущен при виде юного блистательного гвардейского офицера, едва ворочавшего языком от волнения.

На небольшом письменном столе, с потрепанным зеленым сукном, лежала раскрытая линованная тетрадка и стопка нарезанных кусочков белой бумаги. Он взял со стола табачницу и стал свертывать толстую-претолстую «папиросу-пушку». Затем как-то полурастерянно проговорил:

— Уж, право, не знаю, как с вами быть, молодой человек? Канцелярия-то у меня еще не налажена... Бланки не заготов-

лены... Я уж, извините, дам вам простую расписочку, а форменную квитанцию вышло потом, по вашему адресу!

И все это ласковым, отечески добродушным тоном.

Я что-то пробормотал, едва слышно, в знак благодарности.

Выдав мне расписку, Ф[едор] М[ихайлович] с облегченным чувством закурил папироску и с тем же трогательным радушием проводил до передней. И, потирая на ходу руки, добавил с довольной улыбкой:

— Ничего, подписочка так себе подвигается... Даже сверх ожидания!

На прощание он пожал мне руку.

— Всего хорошего, молодой человек... Всего доброго!..

Свидание мелькнуло, как одно мгновение, но я вышел на лестницу совершенно зачарованный простотой и добродушием великого человека.

А знаете ли, какая это была «подписочка сверх ожидания»?..

Всего две тысячи (и столько же в розничной продаже)!

Госпоже Вербицкой, считающей тиражи своих изданий в двадцать, тридцать и более тысяч, остается только снисходительно улыбнуться¹.

II

Вторично мне пришлось увидеть Федора Михайловича лишь спустя три года на «литературном утре» Литературного фонда весной 1879 г.²

Тут уж полная перемена декорации.

Сейчас мерещится, как в тумане, огромный зал Благородного собрания, переполненный избранной публикой. Несмотря на то, что зал набит битком, в зале тихо-тихо, слышно, как муха пролетит; вся публика, как один человек, затаила дыхание, чтобы не проронить ни одного звука.

На эстраде — Ф[едор] М[ихайлович].

Он читал главу из «Братьев Карамазовых»: Исповедь горячего сердца.

Впрочем, сказать про Достоевского: «он читал», все равно, что ничего не сказать. Понятие о чтении в обычном смысле неприменимо, когда дело идет о Достоевском. Так, как читал Ф[едор] М[ихайлович], когда он был в ударе (а в этот раз он был в особенном ударе), кажется, никто из русских литераторов не читал! Это было прямо что-то сверхчеловеческое, так сказать, новое творчество во время самого процесса чтения. сопровождаемое таким огромным нервным подъемом, который слушателя зараз заражал и ошеломлял и как бы насыщал атмосферу вокруг электричеством...

Достаточно было на минуту полузакрыть глаза — и чтец, и автор вдруг исчезали — и только слышалось в затаенной ти-

шине, как лилась и переливалась пламенная покаянная речь Мити Карамазова — «воистину исповедь горячего сердца».

В моих ушах до сих пор звучит стих, цитируемый Митей Карамазовым:

Нам друзей дала в несчастьи,
Грозкий сок, венки Харит,
Насекомым — сладострастие...

Это — «насекомым — сладострастие» было произнесено каким-то сдавленно-страстным, нервно трепетным шепотком, от которого дрожь пробегала по телу.

И далее:

— Я, брат, это самое насекомое и есть, это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие, и в тебе, ангеле, это насекомое живет, и в крови твоей бури родит. Это — бури, потому что сладострастие — буря, больше бури! Красота, это — страшная и ужасная вещь!!

Буквально волосы шевелились на голове от этого огненного проникновенного чтения — впечатление было близкое к тому, что дает «Патетическая симфония» Чайковского. Что в том, что Достоевский дерзнул взять для публичного чтения самую дерзновенную главу «О Мадонне и грехе Содомском», но в его передаче каждое слово жгло и хватало за сердце, унося куда-то в неведомые и недостижимые дали...

Гипноз окончился только тогда, когда он захлопнул книгу. И тогда началось настоящее столпотворение: хлопали, стонали, махали платками, какая-то барышня поднесла пышный букет, кому-то сделалось дурно...

Читали, кроме Достоевского, в это утро Плещеев, Полонский, Тургенев и Савина — и последним была устроена по окончании чтения «Провинциалки» шумная овация³.

Но за тридцать лет как-то многое померкло в памяти, кроме «Исповеди горячего сердца» в изумительной передаче Достоевского.

Такие мгновения в жизни единственны и незабвенны!

III

В третий раз и — увы — в последний, я опять видел Достоевского на «Утре» Литературного фонда в зале Кредитного общества, что на Александринской площади. Происходило это ранней весной за год до смерти Достоевского.

И опять не помню ничего другого прочно, кроме самого Достоевского (кстати сказать, и самую программу литературного утра я куда-то затерял)! Помню только, что он выступил во второй половине программы, и начало не обещало ничего особенного. И читал он совсем немного, чуть-чуть вяло, видимо, полубольной: читал он прелестный пушкинский отрывок «Начало сказки»:

Как весенней теплою порою,
Из-под утренней белой зорюшки,
Что из лесу, из лесу из дремучего
Выходила медведиха,
С малыи детушками-медвежатами,
Погулять, посмотреть, себя показать! . .

К концу чтения Ф[едор] М[ихайлович] заметно разогрелся пушкинской поэзией, и плач вдовца-медведя о чернобурой медведице и появлении зверей прочел с неподдельным юмором, заразив смехом весь зал.

Публика шумно потребовала повторения. Во второй раз Ф. М. прочел тот же отрывок куда с большей выразительностью и художественной тонкостью и возбудил новые единые душныи аплодисменты. . .

Несмотря на настойчивые вызовы, Достоевский почему-то долго не показывался перед публикой. Но когда он, наконец, вышел, на лице его было выражение значительное и торжественное — и на эстраду он на этот раз не взошел, а остановился возле эстрады, прямо перед первыми рядами кресел, и начал взволнованным голосом:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился. . .

Это был «Пророк» Пушкина — любимое стихотворение Ф[едора] М[ихайловича].

Публика замерла, захваченная волнением чтеца. А чтец с каждым стихом пламенел все более и более и последний стих:

Глаголом жги сердца людей!

— подчеркнул с таким увлечением, что буквально весь зал дрогнул.

Это «жги» он как-то иступленно выкрикнул с сверкающим взором, с резким повелительным жестом правой руки.

Впечатление получилось ошеломляющее.

Стих Пушкина сам по себе необыкновенный и вдохновенный — и тут же вдруг чтец — такой же необыкновенный и вдохновенный. Поднялась целая буря рукоплесканий, заставившая Ф[едора] М[ихайловича] после многих поклонов прочесть «Пророка» вторично.

И вот он снова около эстрады, весь бледный от волнения, и с тем же пафосом льются из его уст огненные строки.

Так он и запечатлелся навсегда в моей памяти, великий писатель, как я его видел в последний раз: с горящим взглядом, с протянутой повелительно рукой, с вещим словом в устах:

Глаголом жги сердца людей!

И он ли, спрашивается, не «жег» эти сердца, и не был воплощением на земле этого самого библейского пушкинского пророка — кому Сам Господь на место сердца:

Угль пылающий огнем
Во грудь отверстую воздвинул!

В 1876 г. юрист, присяжный поверенный Константин Иванович Масленников (1847 — после 1899) служил в кассационном департаменте Министерства юстиции. Восхищенный глубиной психологического анализа Достоевского в главе «Простое, но мудреное дело» октябрьского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. преступления петербургской швеи Екатерины Прокофьевны Корниловой (ок. 1856—1878) (она выбросила из окна свою падчерицу — писатель высказал убеждение, что ее поступок был совершен в состоянии аффекта), Масленников предложил Достоевскому помощь в решении дела.

ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

(Материал для биографии)

После смерти Ф. М. Достоевского в печати появилось немало отрывочных сведений о различных чертах его характера. Сознавая важность подобных сведений для биографии покойного, я также считаю своею нравственною обязанностью поведать печатно нижеследующий весьма характерный случай из жизни Федора Михайловича.

В октябре 1876 года внимание петербуржцев было обращено на два дела, разрешенные тогда в здешнем суде почти одновременно. Одно из них об известной мачехе Катерине Корниловой, выбросившей из окна четвертого этажа свою шестилетнюю падчерицу, а другое о некоей Кирилловой, обвинявшейся в убийстве, с заранее обдуманном намерением, архитектора Малевского, находившегося с убийцей в интимных отношениях.

В то время все недоумевали, почему первая из подсудимых была осуждена присяжными, несмотря на то, что обнаруживала признаки ненормального психического состояния, обусловленного первою беременностью, и что жертва преступления не подверглась никаким вредным для здоровья последствиям; а другая — была оправдана, хотя преступление сопровождалось и предумышлением и многими другими обстоятельствами, внушавшими очень мало симпатий и сострадания к подсудимой.

Это сомнение явилось и у незабвенного Федора Михайловича, который выразил его в своем «Дневнике» (октябрь, 1876 г.), в замечательном произведении, озаглавленном «Простое, но мудреное дело».

В этом произведении Федор Михайлович, путем поразительного психологического анализа, определил — с необыкновенной ясностью — причины, вызвавшие преступление несчастной тогда мачехи Корниловой, и картину существовавших впоследствии отношений между ее мужем и падчерицей, во время

содержания подсудимой в доме предварительного заключения, где суждено было появиться на свет первому ребенку Корниловой.

Не стану приводить ничего из замечательного произведения, так как мне пришлось бы взять его целиком, а остановлюсь только на заключительных его словах, которые дали мне тогда возможность познакомиться с покойным и вызвать в нем проявление необычайного чувства сострадания к жертве «простого, но мудреного дела».

Описываемое произведение Федор Михайлович закончил так: «А неужели нельзя теперь смягчить как-нибудь этот приговор Корниловой? Неужели никак нельзя? Право, тут могла быть ошибка... Ну, так вот и мерещится, что ошибка!»

Под влиянием необыкновенно сильного впечатления, произведенного мыслями великого художника и его сомнениями, я немедленно написал к нему письмо, в котором удостоверял его, что описанное им до мельчайших подробностей верно действительности, и предложил свои услуги помочь несчастной, если только Федор Михайлович действительно желает ее спасения.

Дело в том, что я тогда служил в том ведомстве, от которого зависело или оставлять просьбы о помиловании «без последствий», или же представлять их в надлежащем свете, со всеми обстоятельствами «за» и «против». Разделяя совершенно взгляд покойного Федора Михайловича на характер преступления Корниловой, я всей душой желал оказать ей помощь, надеясь на либерального по тому времени ближайшего начальника, в руках которого находилась возможность дать успешное движение моему докладу.

Изложив все это, я просил Федора Михайловича обратиться к прокурору здешней судебной палаты с просьбой о разрешении свиданий с осужденной, причем советовал сказать прокурору совершенно откровенно о цели его посещений заключенной.

Затем, не зная, как отнесется Федор Михайлович к моему письму, я пометил его только своими инициалами «К. И. М.» и просил ответ оставить в книжном магазине Я. А. Исакова, у кассира.

Недели через две, проведенных мною в постели, я справился у кассира названного магазина и узнал о том, что у него было письмо Ф. М. Достоевского на буквы «К. И. М.», но взято автором на днях обратно.

В это же самое время, придя на службу, я был немедленно позван к либеральному начальству, которое сделало мне «за неуместное обращение» к Федору Михайловичу с письмом «должное внушение», но слегка, причем, однако, поделило мое воззрение на осужденную Корнилову и даже обещало содействовать, «если дело действительно заслуживает внимания».

Я, конечно, был в полном восторге от обещания начальства, так как оно пользовалось и пользуется поныне вполне заслуженною славой глубокого криминалиста и психолога-аналитика. Такое обещание сулило мне возможность действительно помочь несчастной и доставить глубокое наслаждение отзывчивой святой душе покойного Федора Михайловича.

Когда первый порыв радости моей прошел, я заинтересовался тем, каким образом начальство узнало о моем анонимном письме? Оказалось, что Федор Михайлович понес мое письмо к прокурору судебной палаты, который, зная меня довольно близко, отгадал по почерку, что это мое письмо и передал об этом, в беседе, моему начальству.

После всего этого я написал второе письмо Федору Михайловичу, также помеченное инициалами «К. И. М.», на которое 22-го ноября 1876 года получил от него разом два письма, от 5-го и 21-го ноября 1876 года, в конверте, надписанном: «Здесь. Поварской переулок, дом № 3, квартира № 14. Господину К. И. М.».

Нижеследующие письма эти я привожу в совершенной неприкосновенности, т. е. с сохранением орфографии и расстановки знаков препинания.

1) «21-го ноября. Многоуважаемый г. К. И. М. В ответ посылаю вам мое письмо к вам от 5-го ноября, пролежавшее у Исакова. Я сам дурно сделал, что послушался кассира и взял его обратно, так что вся вина на мне.

К письму от 5-го я имею прибавить разве лишь то, что я был еще раз у Корниловой и вынес то же впечатление, как и в первый раз, разве лишь усиленное. Она просила меня съездить к ее мужу. Я съезжу, но съезжу тоже и к адвокату ее. Между тем, я заболел и ничем не занимался, а теперь *подавлен* моими занятиями. Боюсь, что пропущу как-нибудь срок кассационного решения сената. Надо сговориться с ее адвокатом, а у меня все нет времени; но я как-нибудь успею. Особенно рад тому, что вы откликнулись; на вас вся надежда, потому что в сенате, конечно, решат не в ее пользу, тогда сейчас просьбу на Высочайшее имя, а вы, вероятно, поможете, как обещали.

До свиданья. Примите уверение в моем самом искреннем уважении Вашего слуги

Ф. Достоевского.

Р. С. Если что надо будет, обращусь к вам, если будете по-прежнему добры».

2) «5 ноября 1876. Милостивый государь Многоуважаемый г. К. И. М. Боюсь, что опоздал отвечать вам и вы, справившись раз или два, уже не придете более в магазин Исакова за письмом.

Во-первых, благодарю вас за ваше лестное мнение о моей статье, а во-вторых, за ваше доброе мнение обо мне самом. Я и сам желал посетить Корнилову, впрочем, вряд ли надеюсь подать ей помощь. А ваше письмо меня прямо направило на дорогу.

Я тотчас отправился к прокурору Фуксу. Выслушав о моем желании повидаться с Корниловой и о просьбе на Высочайшее имя о помиловании, он ответил мне, что все это возможно и просил меня прибыть к нему на другой день в канцелярию, а он тем временем справится. На другой день он послал бумагу к управляющему в тюрьму о пропуске меня к Корниловой *несколько раз*, сам же чрезвычайно обязательно обещал мне *содействовать* и в дальнейшем. Но главное в том, что в настоящее время *нельзя* подавать просьбу, потому что защитник Корниловой два дня назад уже подал на кассацию приговора в сенат, а потому дело не имеет еще окончательного вида и только тогда, как сенат откажет, и наступит срок просьбы на Высочайшее имя.

Так как в этот день идти в тюрьму было уже поздно, то я пошел лишь на другой день. Мысль моя (которую одобрил и прокурор) была — удостовериться сначала, хочет ли еще Корнилова и помилования, т. е. возвратиться к мужу и проч.? Я ее увидел в лазарете: она всего 5 дней как родила. Признаюсь вам, что я был необыкновенно изумлен результатом свидания: оказалось, что я *почти* угадал в моей статье все буквально. И муж приходит к ней и плачут вместе, и даже девочку хотел он привести, «да ее из приюта не пускают», как с печалью сообщила мне Корнилова. Но есть и разница против моей картины, но небольшая: он — крестьянин настоящий, но ходит в немецком сюртуке, служит черпальщиком в экспедиции заготовления государственных бумаг за 30 руб. в месяц, но вот, кажется, и вся разница.

С Корниловой я проговорил полчаса наедине. Она *очень* симпатична. Сначала я лишь вообще объяснил ей, что желал бы ей помочь. Она скоро мне доверилась, конечно и по тому соображению, что из-за *пустяков* не разрешил бы прокурор мне с ней видаться. Ум у ней довольно твердый и ясный, но русский и простой, даже простодушный. Она была швеей, да и замужем продолжала заказную работу и добывала деньги. Очень моложава на лицо, недурна собой. В лице прекрасный тихий душевный оттенок, но несомненно, что она принадлежит к простодушно веселым женским типам. Она теперь довольно спокойна, но ей *очень скучно*, «поскорей бы уже решились». Я еще ничего не говоря ей о ее *беременном состоянии*, спросил: как это она сделала? Кротким, проникнутым голосом она мне отвечала: сама не знаю, «точно что чужая во мне воля была». Еще черта: «я как оделась, так я в участок не хотела идти, а *так вышла* на улицу и уж сама не знаю, как в участок

прибыла». На вопрос мой: хотела бы она с мужем опять сойтись, она ответила: «ах, да!» и заплакала! Она прибавила мне с проникнутым выражением, что «муж *приходит и плачет с ней*», т. е. выставляя на вид мне: «Вот, дескать, какой он хороший». Она горько заплакала, припоминая показание тюремного пристава против нее в том, что будто она с самого начала своего брака возненавидела и мужа и падчерицу: «Неправда это, никогда я этого не могла ему сказать». «С мужем под конец стало мне горько, я все плакала», а он все бранил и в утро, когда случилось преступление, он побил ее.

Я ей не утаил о возможности просьбы на Высочайшее имя, если не удастся кассация. Она выслушала очень внимательно и очень повеселела: «Вот вы меня теперь ободрили, а то такая скука!»

Я намеком спросил: не нуждается ли она пока в чем. Она, поняв меня, совершенно просто, не обидчиво, прямо сказала, что у ней все есть и деньги есть и что ничего не надо. Рядом на кровати лежала новорожденная (девочка). Уходя, я подошел посмотреть и похвалил ребеночка. Ей очень это было приятно, и когда я сейчас потом простился, чтоб уходить, она вдруг сама прибавила: «Вчера окрестили, Екатеринушкой назвали».

Выйдя, поговорил о ней с помощницей смотрительши, Анной Петровной Борейша. Та с чрезвычайным жаром стала хвалить Корнилову: какая она стала простая, умная, кроткая. Она рассказала мне, что поступила она к ним несколько месяцев назад в тюрьму совсем другая: «грубая, дерзкая и мужа бранила. Почти как полоумная была». Но, побыв немного в тюрьме, быстро стала изменяться совсем в противоположную сторону. Замечательно то, что уже давно она беспокоится и ревнует, «чтобы муж не женился» (она воображает, что он уже и теперь это может сделать). До приговора он редко ходил. Еще черта. Эта Анна Петровна уверяет, что «муж ее во все не стоит, он туп и бессердечен, и что будто Корнилова два раза посылала просить его прийти и он *наконец-то* пришел». Между тем Корнилова именно напирала мне на том, что муж приходит к ней и *над ней плачет*, т. е. хотела выставить передо мной «какой это хороший человек» и т. д.

Одним словом, всего не упишешь и не различишь. Я убежден в том, что все было от болезни, еще пуще прежнего и хоть *не имею строгих фактов*, но свидание мое с ней как будто все мне подтвердило.

Итак, о просьбе нельзя думать до кассационного решения. Когда это будет — не знаю. Но потом, в случае неблагоприятного ей решения (что вернее всего), я напишу ей просьбу. Прокурор обещал содействовать, вы тоже, и дело, стало быть, имеет пред собой *надежду*. В Иерусалиме была купель, Вифезда, но вода в ней тогда лишь становилась целительною, когда ангел сходил с неба и возмущал воду. Расслабленный

жаловался Христу, что уже долго ждет и живет у купели, но не имеет *человека*, который опустил бы его в купель, когда возмущается вода¹. По смыслу письма вашего думаю, что этим *человеком* у нашей больной хотите быть вы. Не пропустите же момента, когда возмутится вода. За это наградит вас Бог, а я буду тоже действовать до конца. А за сим позвольте засвидетельствовать перед вами мое чувство самого глубокого к вам уважения.

Ваш Ф. Достоевский».

К счастью для Корниловой, а также и для высокой души покойного Федора Михайловича, сомнения его насчет сенатского решения не оправдались, и я скоро сообщил ему о том, что уголовный кассационный департамент правительствующего сената, отменив вердикт присяжных и приговор суда, определил передать дело — для нового рассмотрения — в другое отделение.

Сообщая эти сведения, я убедительно просил Федора Михайловича, «Дневник» которого, как и все вообще его произведения, обращал всеобщее внимание, написать опять что-нибудь о Корниловой в том номере «Дневника», который выйдет незадолго до нового рассмотрения дела. Я сильно рассчитывал на то, что глубокий психологический анализ характера осужденной и условий, сопровождавших совершенное ею преступление, неминуемо произведет должное впечатление на какой угодно состав присяжных и этим спасет жертву болезненного состояния, а следовательно, и судебной ошибки.

Впоследствии, узнав, что дело о Корниловой назначено было к слушанию в конце декабря 1876 г., я немедленно написал об этом Федору Михайловичу, который, под заглавием «Опять о простом, но мудреном деле», воспроизвел в декабрьском номере «Дневника» почти дословно вышеприведенное письмо ко мне от 5 ноября, добавив к нему такой тонкий и глубокий анализ душевного состояния Корниловой во время совершения преступления и после осуждения, который может всегда доставлять читателю весьма художественное наслаждение.

Я не ошибся! Высокохудожественное произведение Федора Михайловича произвело настолько сильное действие на петербургское общество и на присяжных, что даже председательствовавший в резюме своем предупреждал последних не поддаваться влияниям «некоторых талантливых литераторов», а обсуждать дело «по своему крайнему разумению».

Но что могли значить эти сухие слова для присяжных, когда они успели уже проникнуться — вместе с Федором Михайловичем — сознанием того, как «тяжело переносить такие потрясения душе человеческой», как второе суждение! Они, под влиянием могучего таланта, с необычайной ясностью по-

няли, что это «похоже на то, как бы приговоренного к расстрелянию вдруг отвязать от столба, подать ему надежду, снять повязку с его глаз, показать ему вновь солнце и — через пять минут вдруг опять повести его привязывать к столбу»...

Эта краткая, но глубоко трагическая картина сделала свое дело, и на вопрос «неужели ж нельзя оправдать, *рискнуть* оправдать?» — напечатанный в «Дневнике» — Федор Михайлович услышал сам в зале суда лаконический ответ присяжных: «Нет, невиновна!»

Что это был за счастливый день в многострадальной жизни незабвенного учителя, предоставляю судить всем тем, которые знают Федора Михайловича лично или по произведениям!.. Для описания этого дня нужно второго Федора Михайловича!..

К величайшему прискорбию для меня, на другой день после процесса Федор Михайлович не застал меня дома и я нашел его карточку, которую храню вместе с приведенными письмами как чрезвычайно дорогие для меня по воспоминаниям предметы.

Через несколько дней я отдал ему визит, и тут только мы с ним *впервые* познакомились. Он принял меня так трогательно радушно, как бы родного или старинного приятеля.

Он повел меня в свой маленький, сильно заваленный книгами кабинет, выходивший окнами на Греческий проспект Песков, где он говорил мне очень много, несмотря на чрезвычайное утомление от болезни, заставлявшее часто прерывать речь для того, чтобы «перевести дух».

А. ТОЛИВЕРОВА

Детская писательница Александра Николаевна Пешкова-Толливерова (Якоби, урожденная Сусоколова, во втором браке Тютьева, в третьем — Пешкова, 1842—1918, печаталась под псевдонимом Толливерова) — участница гарибальдийского движения. Познакомилась с Достоевским в конце 1876 г. и всю дальнейшую жизнь поддерживала дружеские отношения с А. Г. Достоевской. О ней см.: А. Ф. Кони. Незамеченная смерть заметного человека// А. Ф. Кони. Собр. соч., т. VII. М., 1968. (См. также ее переписку с А. Г. Достоевской в журнале «Байкал», 1976, № 5. С. 144. Публикация С. В. Белова).

ПАМЯТИ ДОСТОЕВСКОГО

Мое знакомство с покойным Федором Михайловичем произошло в конце 1876 г. при совершенно неожиданных обстоятельствах. Он, не зная меня лично, выручил меня из очень затруднительного положения. И когда я пошла благодарить его, то он крайне был этим взволнован.

Как сейчас вижу его. Бледный, одетый в длиннополый темно-коричневый сюртук, он подошел ко мне быстро, сразу, взявши за обе руки, сказал: «Жаль мне вас, но таковы условия цензуры... Надобно знать время, когда что можно и когда чего нельзя». Посадивши меня, сам он продолжал стоять. Мне сделалось как-то неловко сидеть, но он удержал меня, говоря: «На меня не смотрите, я иногда не могу сидеть». В лице Федора Михайловича всего более поражали его глаза. Они были темно-карие, глубокие, голова была покрыта темно-каштановыми, с небольшой проседью, мягкими волосами. Впечатление, произведенное его глазами, было так же сильно при последующих свиданиях, как при первом. Хотя иногда они лихорадочно блестели, иногда казались потухшими, но в том и другом случае производили равно сильное впечатление. Это происходило еще и потому, что Федор Михайлович, говоря, всегда смотрел пристально в упор.

Несмотря на то, что он не всегда был ровен в обращении, хотя всегда искренен, быть с ним было как-то особенно хорошо.

Часто, выйдя из своего рабочего кабинета, он как будто не узнавал посетителя — еле кланялся, как-то метался, и, при первом слове, как-то нервно сжимал свои худые, бескровные руки. Но это было ненадолго — после этого он или уходил, ссылаясь на спешную работу, или, если уж оставался, то выслушивал разговор до конца с чувством полного, теплого участия. На вопросы он отвечал всегда прямо, искренно...

Воспоминания принадлежат перу писателя Николая Осиповича Линовского (1844 — после 1910), печатавшегося под псевдонимом Н. Пружанский.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. МОЕ ЗНАКОМСТВО С ФЕДОРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ДОСТОЕВСКИМ

С Федором Михайловичем Достоевским мне пришлось познакомиться по особому случаю.

Дело было в самый разгар сербского восстания. В это время Г. К. Г. предпринял издание журнала, который, как впоследствии выяснилось, главным образом, был направлен против наших увлечений делами «братушек»¹. Как раз в это время у меня писалась повесть, главным образом, посвященная этому движению. Повесть была далеко не закончена. Я ее и предложил Г. К. Он ее с первого или со второго номера и начал печатать. До четвертой главы все шло как следует. На четвертой главе мы с Г. К. столкнулись во взглядах на сербское движение.

Нужно заметить, что я тогда сам был увлечен этим движением, притом был в очень хороших отношениях с генералом Черняевым². И когда Г. К. потребовал от меня, чтобы дальнейшие события в повести я повел против этого движения, во главе которого стоял Черняев, я заупрямился. Тогда Г. К. категорически заявил, что в противном случае он должен будет приостановить дальнейшее печатание повести. И если сказать откровенно, то он был прав; я бы теперь и сам не напечатал этой повести. Но в то время моя точка зрения казалась мне правильной, и требование Г. К. казалось мне несправедливостью и насилием над авторской самостоятельностью.

При таком положении дела, естественно, является вопрос о гонораре за всю повесть, хотя еще и не напечатанную, но, несомненно, заказанную. Так как оба мы погорячились, то дело дошло до мирового.

У мирового для выяснения редакционных правил и литературных обычаев потребовалась экспертиза. Я попросил вызвать экспертами Федора Михайловича Достоевского и А. С. Суворина. Понятно, что мне нужно было зайти к Достоевскому и извиниться перед ним за то, что я его потревожил. И вот я отправляюсь к Федору Михайловичу Достоевскому.

Жил тогда Достоевский на Песках. Домик очень невзрачный, грязный, ход, помнится, был со двора и по лестнице, которая далеко не могла похвастаться чистотой. Когда я позвонил, открыла мне дверь бледная, исхудавшая женщина, которую я по скромности ее одежды принял было за прислугу, но которая впоследствии оказалась его женой. (Прислуги я так у него и не видел). Зашел я в маленькую, полутемную переднюю, из

которой одна дверь вела прямо в кухню, а другая в залу. Я мельком взглянул в открытую в залу дверь, и меня поразила скудность обстановки этой залы. Как теперь помню эту обстановку. Голые стены с далеко не новыми обоями, обитые старым полинявшим полосатым рипсом стулья, два кресла, преддиванный круглый стол — и все. Словом, все это сразу показывало, что знаменитому писателю живется далеко не сладко. В такой квартире, обстановке мог жить чиновник, получающий рублей шестьдесят, семьдесят в месяц.

По словам жены, Федор Михайлович еще спал, и она просила зайти часа через два, три.

Я пришел вторично.

Федор Михайлович меня тотчас же принял, вышел еще невымытый, непричесанный, в халате, и, протянув мне руку, извинился и сказал, что у него только что был припадок, что он еще не успел оправиться от него и что у него еще коленки трясутся.

Я, конечно, тоже извинился, что в такое время потревожил его. Он меня попросил сесть, сам сел напротив меня: я ему стал излагать дело свое.

Нельзя сказать, чтобы я себя при этом чувствовал очень хорошо; видно было, что Федор Михайлович был далеко не в своей тарелке, да и прием, как мне казалось, скорее мог считаться сухим, официальным, чем приветливым. И поэтому я старался изложить дело по возможности покороче, исключительно с юридической стороны. А когда я закончил, он заговорил не сразу, а минуту спустя, и при этом очень внимательно, даже как будто подозрительно разглядывая меня.

— А содержание вашей повести? — спросил он.

Я ему стал излагать содержание и главную мысль, которую я хотел провести.

И по мере того как я говорил, я заметил, что его измятое и болезненное лицо меняется, оживляется. Маленькие, серые глаза разгораются огнем. И не успел я кончить, как он перебил меня восклицанием: «Хорошо, очень хорошо!» Я был поражен переменной, которая произошла с ним, это был совершенно другой человек. Он как-то сразу вырос, окреп. Каждая черточка его лица одухотворилась, и он сразу заговорил с необычайным воодушевлением. Это была чудная импровизация о роли славянства среди двух рас, о той борьбе, которую славянству приходится и придется еще выдерживать с враждебными ему народностями, о роли России, как носительницы славянских идеалов среди всего славянства, — короче, совершенно неожиданно мне пришлось выслушать многое из того, что впоследствии мне пришлось читать в его статьях. Я, конечно, молчал и слушал. Но когда он кончил о славянстве, я уже не помню, каким образом у нас с ним зашла речь о литературе и русской журналистике. И помнится мне, что по какому-то

поводу я сделал замечание, что русская журналистика иногда бывает чересчур пристрастна.

— Это и хорошо, — с живостью воскликнул он, — это только показывает искренность русской журналистики. Нигде в мире нет такой искренней журналистики, как у нас. И этим мы можем гордиться.

Я, однако ж, не сразу понял эту мысль и попросил разъяснить мне ее.

— Да как же, — воскликнул он, — только искренний человек и может дойти до фанатизма, а мы настолько еще искренны, что доходим до фанатизма. А при фанатизме беспристрастия быть не может. Это естественно.

Часа два продолжалась наша беседа, которая произвела на меня сильное впечатление. И ни до, ни после этой встречи, мне кажется, я не встречал такого обаятельного и увлекательного человека, каким оказался Федор Михайлович. Он меня до того очаровал, что я даже забыл, по какому поводу я к нему пришел. И только после того, как я стал собираться уходить, я вспомнил, что он мне еще не давал своего согласия явиться в суд.

— Так как же, Федор Михайлович, вы ничего не имеете против того, чтобы вас потревожить? — спросил я.

— А в чем у вас с Г. разногласие? — спросил он меня.

Я ему в общих чертах рассказал.

— Извольте, — воскликнул он, — с удовольствием пойду. Мне ваше упрямство очень нравится — даже если бы вы были неправы. Писатель всегда должен быть самим собою. Плох тот писатель, который пишет по указке редактора. Повторяю, это очень хорошо с вашей стороны, что вы умеете отстаивать свои взгляды, даже если бы вы были неправы в своих выводах.

На этом мы с ним расстались. На суде ему, однако, не пришлось побывать.

С Федором Михайловичем мне после этого пришлось встретиться еще два раза. Раз это было тогда, когда он редактировал «Гражданин». Я написал рассказ, в котором была характеристика польки в сопоставлении с русской женщиной. И этот рассказ я, уже не знаю по каким соображениям, отдал Федору Михайловичу для напечатания в «Гражданине». Он прочитал рассказ, сказал, что ему лично рассказ очень нравится, указал, что у меня очень метко и тонко очерчена полька, но что, к сожалению, напечатание его не может, потому что рассказ идет вразрез с направлением журнала.

Третий раз я с ним столкнулся в одной типографии. Но тогда обстоятельства Федора Михайловича, по-видимому, совершенно изменились. На нем была дорогая шуба, и вообще вид Федора Михайловича говорил о достатке.

Сын друга Достоевского поэта А. Н. Плещеева, писатель и театральный критик, Александр Алексеевич Плещеев (1858—1944) в эмиграции выпустил в Париже в 1931 г. книгу «Что вспомнилось (за 50 лет)», куда вошли и воспоминания «Встречи с Ф. М. Достоевским», предварительно напечатанные в 1929 г. в парижской газете «Возрождение».

ВСТРЕЧИ С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ

...Сегодня хочется вспомнить о встречах с Ф. М. Достоевским и объединить отчасти то, что иногда, в виде недосказанных лоскутков, вкраплял в описание далекой жизни, отчасти то, что вспомнил теперь.

Достоевский заходил к моему отцу несколько раз и очень ласково относился ко всей нашей семье.

Должен сознаться, что Федор Михайлович, как близкий человек к моему отцу, говоривший с ним на «ты», и имя которого с раннего детства я слышал в семье, даже не представлялся мне таким «полубогом», каким он стал для меня позже. Вообще каждый литературный «полубог», при встрече с ним, казался мне самым обыкновенным человеком, благодаря свойственной русскому скромности и застенчивости.

Во второй половине 70-х годов мы жили в Петербурге, в Кузнечном переулке, в доме Рота, на втором дворе, в 3-м этаже. Лестница была довольно темная, освещенная двумя коптевыми керосиновыми лампами. Зимой тогда стояли суровые морозные дни. Однажды вечером, когда во всей квартире никого, кроме меня, не было, кто-то позвонил. Я вышел в переднюю и, отворив дверь, увидел пожилого человека, борода которого спряталась в воротник шубы.

— Алексей Николаевич дома? — спросил звонивший. Он тяжело дышал, потому что быстро поднялся по лестнице.

— Нет его дома! — отвечал я.

— А Елена Алексеевна? — он спросил о моей сестре.

— И ее нет, ушла с отцом.

— Я немножко отдохну у вас, дайте мне стул... Вы отцу скажите, что Достоевский заходил.

— Федор Михайлович, — извинился я, — простите! Не узнал вас...

Достоевский вошел в переднюю и сел на стул, не снимая шубы, а только распахнув ее. Я звал его в кабинет отца, не пошел. Отдохнув минут пять, Достоевский вынул из кармана маленький конверт и передал его мне.

— Передайте Алексею Николаевичу, тут деньги... он знает... Скажите, что приходил лично.

Мы пожали друг другу руки, я хотел проводить Федора Михайловича, так как лестница была от мороза скользкая и ее лишь изредка посыпали песком, но он остановил меня, сказав, что без шубы легко простудиться.

Достоевский принес отцу, в счет какого-то старого долга, 300 рублей, причем в приложенной к деньгам записочке писал, что «хвостик остается еще за ним».

Помнится, что в тяжелые дни жизни, как говорил мне отец, он посылал Федору Михайловичу какую-то сумму, которую тот, при изменившихся обстоятельствах, смог уплачивать ему.

Достоевский жил тогда в том же Кузнечном переулке, где жили мы, но в другой его части, ближе к Владимирской церкви.

О следующей моей встрече с Ф[едором] М[ихайловичем] у раскрытой могилы Некрасова, в Новодевичьем монастыре, когда Достоевский напутствовал поэта, я говорил в своих воспоминаниях о Некрасове («Возрождение» и «Сегодня»), а потому не останавливаюсь на ней¹. Замечу лишь, что голос из толпы, подхваченный двумя-тремя единомышленниками, пытался возражать против слов Достоевского о Пушкине и крикнул, что Некрасов для нас выше байронистов Пушкина и Лермонтова². Это замечание вовсе не носило характера того демонстративного протеста, в какой его пытались потом раздуть некоторые публицисты.

Незабываемыми живут в памяти моей проведенные в Москве дни во время пушкинских торжеств по случаю открытия памятника поэту, в июне 1880 года.

Из Петербурга вышел в Москву специальный поезд с приглашенными на торжества лицами и депутациями. Группа литераторов, помещавшаяся в одном из вагонов, рассуждала о значении предстоящего торжества и тут же, так сказать, в своей семье, было прочитано авторами несколько стихотворений, посвященных Пушкину, которые публика услышала потом в торжественном заседании Общества любителей российской словесности в Дворянском собрании.

Картина открытия памятника А. С. Пушкину на площади Страстного монастыря была величественна. Около самого памятника, еще затянутого парусиной, впереди группы писателей, представителей города Москвы, приглашенных депутатий и пр., стоял принц П. Г. Ольденбургский, а недалеко за ним, сын Пушкина, Александр Александрович, в мундире одного из гусарских полков. А. А. Пушкин, которого позднее я встречал много раз, конечно, был здесь центром внимания присутствовавших на открытии памятника. Черты его лица, нос, скулы — для нас, запечатлевших в памяти портретное изображение

поэта, казалось оживленным повторением этих изображений.

Было сходство с отцом, сходство родственное, сыновнее, представлявшееся удивительным. Одно сознание, что перед памятником стоял сын Пушкина, необычайно усугубляло его, может быть, преувеличенное нами сходство.

В момент, когда спала пелена с памятника, из глаз А. А. Пушкина, на которого я упорно смотрел, покатались заметно сдерживаемые слезы... Знаете, когда человек от горя или с радости сдерживается, чтобы не заплакать, у него из глаз все-таки бегут одинокие слезы.

Кругом, впрочем, многие прослезились.

Да и немудрено. Был исторический праздник России, открытие памятника ее величайшему гению... Был к тому же литературный праздник, а такими нас не баловали.

Весь день толпа народа окружала памятник. Продавались изображения поэта на оловянных медалях, бюсты Пушкина, портреты, платки с его портретами и проч.

Как, однако, не был велик и трогателен момент открытия памятника Пушкину, но нигде так не захватило московское торжество наши сердца и души, как на торжественном заседании любителей российской словесности. Публика встречала И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского овациями, появление этих «полубогов» потрясло всю залу Дворянского собрания.

Речь Достоевского сделалась доминирующим событием пушкинского празднества. Не успевал Достоевский сказать двух-трех фраз, как его прерывал ураган криков и аплодисментов.

Федор Михайлович покачивал только головой в знак благодарности, как бы прося дать возможность продолжать. Повторялись эти овации в течение всей речи, прерывая ее бесконечное число раз.

Достоевский заговорил о Татьяне, о том, что положительный тип русской женщины подобной красоты в нашей художественной литературе почти не повторялся.

В это время Федор Михайлович словно запнулся: он взглянул в сторону, искал кого-то на эстраде и, заметив Тургенева, продолжал: «Кроме разве образа Лизы в „Дворянском гнезде“».

Опять ураган в зале, ураган по адресу Достоевского и Тургенева, который, однако, не принял это на свой счет.

Иван Сергеевич потупил голову, и потом его соседи рассказывали, что он старался незаметно утереть платком слезы на глазах.

А что было по окончании речи Достоевского — не опишешь. Федору Михайловичу, раскланивавшемуся минут двадцать с публикой, когда он возвратился в комнату для участвовавших в заседании, сделалось нехорошо, о чем объявили шумевшей публике.

Значительно позднее, после других выступлений, на эстраду вышел, если не ошибаюсь, Дмитрий Васильевич Григорович, не участвовавший в заседании. Он громко произнес:

— Федор Михайлович прощается с московским обществом.

Опять на эстраду медленно поднялся Достоевский, и повторилась едва ли не еще большая овация. Все стояли, кричали, шумели стульями, махали платками и бросились к эстраде.

Разумеется, многое улетучилось из моей памяти — это было так давно — но я говорю лишь о том, что ясно вспомнилось, и впечатление о чем живет в моей душе, полвека спустя.

В Москве я неоднократно встречал Федора Михайловича, в Лоскутной гостинице, где он, как и мой отец, останавливался. Управляющий этой гостиницей, Михаил Васильевич (кажется, не искажаю его имени) потом с гордостью часто вспоминал о Достоевском, говоря о нем как о «полубоге», с благоговением, и, как бы радуясь, что гостиница имела честь видеть его в своих стенах...

Припоминаю картину похорон Федора Михайловича, собравших несметную толпу народа. Гроб вынесли из подъезда дома в Кузнечном переулке больше старики — друзья Достоевского, среди них был мой отец, товарищ Федора Михайловича со времен дела Петрашевского.

По поводу похорон Федора Михайловича приведу сказанное мне камер-юнкером Ник. Мих. Безобразовым, состоявшим на службе в канцелярии М. Т. Лорис-Меликова и бывшим одно время в распоряжении А. А. Скальковского, управляющего канцелярией Верховной комиссии.

Н. М. Безобразов, по распоряжению графа Лорис-Меликова, тотчас же после смерти писателя, ездил к вдове его выразить соболезнование и пожелание, чтобы похороны происходили на государственный счет. Вдова писателя, по словам Безобразова, возмутилась и категорически протестовала против этого. Безобразов уговаривал ее, прося исполнить желание графа Лорис-Меликова, со свойственным ему умом и тактом желавшего показать обществу, как правительство относилось к Достоевскому. Правительство, как говорили тогда, дипломатично желало использовать кончину Достоевского как симпатичный жест со своей стороны по адресу общественности. Чем все это кончилось — мне неизвестно.

— Вдова писателя, — говорил Безобразов, — отвечала ему даже довольно резким тоном.

Разговор между ними происходил будто бы после первой панихиды.

Совсем забытые воспоминания очень важны для характеристики личности Достоевского и подтверждают сказанное об этом эпизоде в книге «Петроградский мировой суд за пятьдесят лет. 1866—1916». Т. 2. Пг., 1916. С. 1461—1462.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И БОСЯК

(Из моих воспоминаний)

Эпизод, о котором я намерен здесь говорить, произошел с нашим знаменитым писателем Ф. М. Достоевским ровно 25 лет тому назад.

Слово «босьяк» тогда еще не было включено в обывательский лексикон, и те уличные забулдыги, которых теперь принято называть «босьяками», в то время известны были под именем «вяземских кадет».

Как и теперешние «босьяки» и «хулиганы», тогдашние «вяземские кадеты» держали себя на улице заносчиво и, несмотря на то что их не возвел еще в герои Максим Горький, они и тогда уже кичились своею принадлежностью к категории «бывших людей». Протягивая руку за милостыней, вяземские кадеты в большинстве случаев говорили: «Подайте кельк-шоз бла-ародному человеку!»

И если их назойливое требование «кельк-шоз» оставалось без удовлетворения, они, не задумываясь, награждали прохожих отборною руганью, а иногда пускали в ход кулаки.

На одного из таких босьяков наткнулся однажды и покойный Ф. М. Достоевский. День был праздничный. Наш знаменитый писатель-психолог шел по Николаевской улице, по обыкновению сосредоточенно глядя себе под ноги. На самом углу Стремянной улицы, где теперь находится церковь, к Достоевскому подскакивает какой-то субъект с опухшей от пьянства физиономией и сиплым голосом бурчит: «Кельк-шоз бла-ародному человеку!..»

Не расслышал ли он его, или по какой-либо другой причине, но Достоевский не обратил на него внимания и по-прежнему продолжал задумчиво свой путь. Вдруг с криком: «Сытый голодному не верит!» босьяк этот размахнулся и ударил Достоевского кулаком по голове.

Удар был настолько силен, что наш знаменитый писатель упал на мостовую, отлетев при этом от тротуара аршина на два.

Стоявший на углу городской подскочил к упавшему Достоевскому, помог ему встать на ноги, а кто-то из прохожих поймал катившуюся по мостовой шляпу Достоевского и отдал ее по принадлежности. Между тем босьяк бросился бежать по

Стремянной улице, но, по свистку городского, задержан был одним из дворников.

Оправившись от падения и от полученного им удара по голове, Достоевский надел поданную ему шляпу и, как ни в чем ни бывало, хотел пойти своей дорогой, как будто ничего с ним не случилось. Но городской его остановил и попросил у него его визитную карточку.

— Зачем это вам? — спросил у городского Достоевский.

— А для привлечения этого человека к ответственности, — указал городской на задержанного босняка.

— Я на него никакой жалобы не заявляю, — заметил Достоевский.

— Это все единственно-с, а только ваш адрес нужен в качестве свидетеля по обвинению этого человека по 38 статье.

Карточки визитной у Достоевского не оказалось, он вынул из кармана записную книжку, вырвал из нее листок бумаги и написал на нем карандашом: «Федор Достоевский. Жительство имею: угол Кузнечного пер. и Ямской улицы, д. № 5. От обвинения неизвестного мне человека отказываюсь».

В назначенный день явился Ф. М. Достоевский в камеру мирового судьи 13-го участка, помещавшуюся тогда на Стремянной улице. Мировым судьей этого участка был в то время покойный А. И. Трофимов, славившийся по всему Петербургу как балагур и остряк¹.

— Свидетель Федор Михайлович Достоевский, — сказал с какой-то особенной торжественностью мировой судья, — вы отказываетесь от обвинения колпинского мещанина Егорова за оскорбление вас действием?

— Отказываюсь, — тихо проговорил Достоевский.

— Очень жаль, — заметил судья, — сегодня он ударил вас, завтра ударит другого... Если все будут отказываться от преследования этих героев вяземской лавры, от них проходу не будет в Петербурге.

— Я отказываюсь от преследования этого человека по двум причинам, — сказал Достоевский. — Во-первых, я не могу с уверенностью сказать, что именно этот человек меня ударил, а не кто-либо другой, потому что я не видел лица того человека, который нанес мне удар по голове. Это раз. Во-вторых, я никак не могу допустить той мысли, чтобы человек в здравом уме, ни с того ни с сего, ударил своего ближнего кулаком по голове. Если он это сделал, значит, он ненормален, значит, он больной... А больного надо лечить, а не наказывать...

— Да какой он больной? Он просто пьян был, как стелька, — вставил свое замечание судья. — Его надобно для вытрезвления в пересыльную отправить.

— Это напрасно-с! Пьян я не был тогда, а голодным действительно был, — возразил молчавший до того времени обвиняемый босняк. — Не угодно ли вам, г. судья, спросить у сви-

детеля, говорил ли я им перед тем как ударить, что, мол, сытый голодному не верит?

— Эту фразу я действительно слышал тогда, — подтвердил Достоевский, — и вполне допускаю, что голодный человек может быть озлобленным, в особенности, когда он не находит отклика в своих просьбах о куске хлеба. Злоба этого голодного человека нашла себе утешение в ударе кулаком по голове того прохожего, который не услышал его просьбы о помощи. Судьбе угодно было, чтобы этим прохожим оказался я, и я не ропщу на это.

— А вот мы его закатим на месяц в кутузку, — громко сказал судья, — он будет знать вперед, как вымещать свою злобу на прохожих.

— Это дело вашей совести, — заметил Достоевский Трофимову, — но прошу вас принять от меня 3 рубля и выдать их этому человеку, когда он после отбывания наказания выйдет из тюрьмы.

И подав судье трехрублевую кредитку, Достоевский поклонился Трофимову и вышел из камеры.

— Знаешь ли ты, несчастный, на кого поднялась твоя дерзкая рука? — крикнул Трофимов босяку-обвиняемому, после того как Достоевский ушел. — Ты ударил величайшего из русских писателей и добрейшего из русских людей!..²

В 1875 г. секретарем издательства М. О. Вольфа в Петербурге стал Сигизмунд Феликсович Либрович (1855—1918), впоследствии известный журналист, историк книги и писатель-популяризатор (печатался чаще всего под псевдонимом Виктор Русаков). О своей многолетней работе в издательстве М. О. Вольфа он рассказал в книге воспоминаний «На книжном посту».

НА КНИЖНОМ ПОСТУ. ВОСПОМИНАНИЯ. ЗАПИСКИ. ДОКУМЕНТЫ

В магазинах Вольфа в то время нередко бывали и А. Ф. Кони, который должен был председательствовать на суде по делу Засулич, и прис. пов. Александров, о котором носились слухи, что он целые дни и ночи работает над своею защитительною речью, взвешивая каждое имеющее им быть высказанным слово, изучает всю литературу по аналогичным уголовным вопросам и пр. Но ни Александров, ни Кони ни одним словом не обмолвились никогда о предстоящем деле.

Когда день разбора дела Засулич стал известным, в «почти клубе» настало особенное возбуждение. Многие приходили туда, просто чувствуя потребность поделиться своими впечатлениями.

— Я думаю, присяжные ее оправдают, — утверждал Лесков.

— Это немыслимо, — возражал Мордовцев.

— Все зависит от состава присяжных, — замечали другие.

— Осудить эту девушку нельзя, — спокойно говорил заглянувший в эти дни в магазин Вольфа Ф. М. Достоевский и принявший участие в беседе по поводу дела Засулич. — Нет, нет, — повторял он затем несколько раз, уже заметно возбуждаясь. — Наказание тут неуместно и бесцельно... Напротив, присяжные должны бы сказать подсудимой: «У тебя грех на душе, ты хотела убить человека, но ты уже искупила его, — иди и не поступай так и другой раз...»

Эти слова Достоевский повторял несколько раз в присутствии разных лиц¹.

Трудно себе представить то возбуждение, которое господствовало в маленькой Вольфовской каморке 31 марта 1878 года, в день разбора дела Засулич. Весь день один за другим заходили туда разные лица, стараясь узнать, неизвестно ли что-либо, что происходит на Литейном, в Окружном суде, какое направление принимает процесс и т. д. Слухи, один чудовищнее другого, передавались из уст в уста... Рассказывали о революционном настроении толпы, запрудившей всю улицу перед зданием суда, говорили, что войска находятся наготове в ожидании эксцессов и пр., и пр.

Приговор, вынесенный поздно ночью и гласивший «невиновна», застал еще в сборе у Вольфа писателей. Известие об оправдании, привезенное туда сотрудником «Голоса», Карцовым, вызвало у одних восторг, у других изумление.

— Да здравствует правосудие! — крикнул кто-то из присутствующих.

Чувство удовлетворенности, которое испытывал тогда кружок писателей, было омрачено однако в следующие дни известием, что приговор по делу Засулич решено кассировать и что подписано уже распоряжение о розыске оправданной.

Автор этих воспоминаний — Анатолий Александрович Александров (1861—1930) в конце 1870-х гг. — воспитанник Ломоносовской семинарии при Лицее в память цесаревича Николая, впоследствии — приват-доцент Московского университета, редактор газеты «Русское слово» и журнала «Русское обозрение».

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

(Страничка из воспоминаний)

Знакомство с Федором Михайловичем Достоевским — одна из самых светлых страничек моей жизни. Это — одно из тех, на первый взгляд как будто совершенно незначительных, маленьких, незаметных, тихих событий, и притом как будто совершенно случайных, которые, однако, раз совершившись, глубоко западают в душу, полновластно воцаряются в ней на всю жизнь, и постепенно, непрестанно, хотя и незаметно и тихо делают в ней свое в высшей степени важное для нее дело, направляя в известную сторону ум, формируя мирозерцание.

Произошло это знакомство при обстоятельствах, для такого именно влияния его на меня, как нельзя более благоприятных.

Мы познакомились с Ф. М. Достоевским в Старой Руссе, куда он в последние годы своей жизни приезжал со своей семьей на летний отдых от горячей, кипучей работы и вечной сутолоки петербургской жизни, в половине или конце июля 1878 г. Это, как известно, был год войны нашей с Турцией, когда все взоры были устремлены на Дунай и на Балканы, где русские солдаты совершали подвиги героизма, и когда русский народ и русское общество были охвачены чувствами высокого патриотизма и благородного идеализма борьбы за братьев-славян.

Достоевскому шел тогда 57-й год, мне — 18-й.

Он был знаменитый писатель в апогее полного развития своего гениального дарования, писавший уже самый зрелый из своих романов «Братья Карамазовы», в то время печатавшийся в «Русском вестнике» М. Н. Каткова. Недалеко был уже и день его величайшего торжества, лебединой песни его — «Пушкинской речи».

Я был никому неведомый, больной, робкий, скромный мальчик, воспитанник одного из старших гимназических классов Московского лицея, большой любитель чтения, страстный поклонник художественной литературы, начинавший и сам, хорясь от людей, писать стихи. С Достоевским, как с писателем, я уже был знаком, успев прочесть некоторые из его романов и горячо полюбить его.

Тогдашний директор лицея, знаменитый издатель «Московских ведомостей» и «Русского вестника» М. Н. Катков, по совету врачей, решил послать меня на лето, в сопровождении одного из лучших лицейских дядек, большого приятеля моего, Кузьмы Филипповича, в Старую Руссу, где я мог бы принимать прописанные мне ванны. При отъезде моем М. Н. сказал мне, что в Старой Руссе будет жить летом Ф. М. Достоевский, что он напишет ему обо мне и попросит его иногда навещать меня.

В Старой Руссе мой старательный дядька устроил меня в крошечном, сообразно нашим средствам, флигельке, несколько покосившемся на бок, с некрашеным дощатым полом, покатым в одну сторону, но зато напротив самого парка, неподалеку от ванн, что при болезни ноги моей было для меня очень удобно.

Раз как-то, в один из погожих июльских деньков, мой Кузьма Филиппович, всегда аккуратно провожавший меня до ванн и затем поблизости от них поджидавший меня, вбегает впопыхах в мою ванную комнату и, безбожно переверивая фамилию, гремевшую уже по всей России, сообщает, что обо мне сейчас спрашивал его какой-то писатель Достроенский и приказал ему узнать у меня, может ли он меня завтра посетить, и в какие именно часы. Известие это меня очень обрадовало, за назначением часа дело не стало, и Кузьма Филиппович с моим ответом побежал к ожидавшемуся его Ф. М.

На другой день, в назначенный час, в скромную комнатку моего маленького флигелька входит человек, прихода которого я ждал, считая минуты, с большою робостью и волнением. Но при первом же взгляде на него, при первых же звуках его голоса от волнения моего и робости моей пред ним не осталось и следа. Через пять минут мне казалось уже, что мы с ним давнишние, добрые знакомые, даже люди близкие между собой, давно уже хорошо знаем и любим друг друга, и что нам ничего другого не остается, как быть друг с другом возможно проще, искреннее и откровеннее, побольше верить друг другу и побольше любить друг друга.

Это был немолодой уже человек, но еще очень бодрый и живой, просто одетый, с небольшою проседью в бороде, с лицом чисто русского склада и типа, необыкновенно подвижным и одухотворенным, с очень большим и умным лбом, милым, задушевым голосом и удивительными глазами.

Это были живые, в высшей степени внимательные глаза, казалось, смотревшие вам прямо в душу и видевшие ее всю насквозь, со всеми ее изгибами и тайниками. Но не строгое осуждение, не злая или холодная насмешка смотрела из них, а что-то ободряющее и ласковое, задушевное и милое, вызывающее на откровенность и доверие. То же самое звучало и в его голосе, необыкновенно искреннем и сердечном. Этот

голос его, кажется мне, слышу я и сейчас, когда думаю и говорю о нем, а глаза его, вдумчивые и добрые, ободряющие и сейчас смотрят мне прямо в душу.

Он начал с того, что извинился, что так долго после получения письма М. Н. Каткова не мог прийти ко мне: виной тому был припадок падучей, от которого он потом должен был долго оправляться. Имею ли я понятие об этой болезни? Услышав от меня, что я хорошо знаю ее по его описанию в романе «Идиот», он перешел к своей литературной деятельности и сказал, что очень увлечен теперь темой «Братьев Карамазовых», в которых хочется вывести ему несколько новых типов, не знает только, удастся ли ему это сделать как следует.

Разговор об этом был очень краток и удивительно скромен и прост, без всякой тени рисовки, без всякой попытки стать на пьедестал и показать себя на нем во весь рост. Он перешел очень скоро к рассказу о Старой Руссе, как о курорте, и к докторам ее, сделав меткую характеристику их, и в особенности главного доктора Рохеля¹. Затем он заговорил обо мне, о моих делах и болезни. Очень утешал и ободрял меня, проща скорое выздоровление и хорошее здоровье в дальнейшей жизни.

Поразила меня в нем еще одна замечательная и очень редкая особенность в таком крупном человеке и таком прекрасном рассказчике, как он: умение не только хорошо говорить, но и удивительно хорошо слушать. Он слушал своего собеседника с таким интересом и вниманием, с такой охотой и серьезной вдумчивостью, что тот начинал говорить все с большим одушевлением и откровенностью.

Это первое знакомство мое с Ф. М. Достоевским, к сожалению, было и последним. Уехав из Старой Руссы, я более уже не видел его.

Вернувшись в Москву, я принялся за внимательное и вдумчивое перечитывание всех его произведений. И чем больше я читал его, тем больше понимал значение его и благородную роль могучего будильника нашей общественной совести, этого глубокого знатока человеческой души вообще и души русского человека в особенности.

Достоевский ведет за собой русское общество к позабытой многими из этого общества Православной Церкви, зовет измотавшегося и изболевшегося душой русского интеллигента вступить вслед за ним на исконный исторический национальный русский путь, преклониться с покаянными слезами блудного сына пред святыней народною, говорит ему свое властное: «Смирись, гордый человек! Потрудись, праздный человек!» Он обращается к этому «интеллигенту» от лица народа: «полюби не меня, а мое, т. е. заветную святыню мою, пронесенную мной из глубины веков, чрез грязь и пыль далекого и трудного исто-

рического пути моего и сохраненную для тебя в неприкосновенной чистоте. Преклонись пред ней и прими ее в свою опустошенную и измученную душу».

Вот приблизительно, в сжатом виде, сущность проповеди Достоевского в его лучших романах, и в особенности в его «Дневнике Писателя», за горячую, страстную кипучую работу над которым застала его смерть.

Воспоминания принадлежат перу писателя и критика Дмитрия Ивановича Стахеева (1840—1918), друга Н. Н. Страхова.

ГРУППЫ И ПОРТРЕТЫ

(Листочки воспоминаний)

О некоторых писателях и о старце-схимнике

Оптина пустынь, находящаяся в Козельском уезде, в 4 верстах от этого города, была когда-то облюбована некоторыми нашими крупными писателями, ездившими туда... не знаю, впрочем, с какою целью, может быть, и с религиозною, а может быть, и просто так, для развлечения и отдыха после утомительных литературных трудов.

Вот по поводу этого обстоятельства, т. е. посещения Оптиной пустыни нашими известными писателями, я и имею намерение кое-что порассказать. О самой пустыни, конечно, речи не будет, ибо я никогда в ней не бывал и не имею намерения когда-либо посетить ее. Конечно, воля Божия, и закаиваться ни в чем нельзя.

Так вот, эту самую пустынь облюбовали когда-то, в конце семидесятых годов, наши писатели. Кто первый из них направился туда — не знаю. Вероятно, граф Л. Н. Толстой, он же там, в Тульской губ., старожил, он, вероятно, слышал, что пустынь интересна и по местоположению, и образу жизни монашествующей в ней братии. Побывали в ней и Федор Михайлович Достоевский¹, и Владимир Соловьев, и Николай Николаевич Страхов, которого граф Толстой заманил туда. Несомненно, он заманил.

Высказываю это предположение утвердительно и на том именно основании, что Страхов, пользуясь летними каникулами (он занимал в то время в публичной библиотеке в Петербурге место библиотекаря), не раз живал у Толстого в Ясной Поляне, а от Ясной Поляны до Оптиной пустыни дорога недалекая...

Старец-схимник жил в Оптиной пустыни, как рассказывали посетившие его писатели, в великом уединении, в особом домике, находившемся в некотором расстоянии от других монастырских построек². Вот именно этот домик, точнее говоря — тесную келью, из которой одной, собственно, и состоял он, посетили одновременно все вышеупомянутые писатели.

Каждый из писателей, разумеется, по-своему относился к старцу, слушал и понимал его поучительные речи, по-своему обсуждал их и обсуждал не только по уходе из его кельи,

оставаясь наедине с самим собой, но даже в присутствии самого старца, возражая на его речи и оспаривая их, развивая и поясняя.

Федор Михайлович Достоевский, например, вместо того, чтобы послушно и с должным смирением внимать поучительным речам старца-схимника, сам говорил больше, чем он, волновался, горячо возражал ему, развивал и разъяснял значение произносимых им слов и, незаметно для самого себя, из человека, желающего внимать поучительным речам, обращался в учителя.

По рассказам Владимира Соловьева (он был в Оптиной пустыни вместе с Достоевским), таковым был Федор Михайлович в сношениях не только с монахом-схимником, но и со всеми другими обитателями пустыни, старыми и молодыми, будучи, как передавал Соловьев, в то время, т. е. во время пребывания в Оптиной пустыни, в весьма возбужденном состоянии, что обыкновенно проявлялось в нем каждый раз при приближении припадка падучей болезни, которой он страдал. Пред приближением припадка — дней за пять, за семь — он делался необычайно нервен и раздражителен, говорил много, ни на минуту не умолкая.

Посещая по временам Николая Николаевича Страхова, с которым мы прожили в одной квартире восемнадцать лет, — он изумлял меня своей необыкновенной возбужденностью. Сижу, бывало, слушаю, как он, не умолкая, говорит в продолжение целого вечера, и со страхом думаю, что вот-вот он сейчас с ума сойдет, так возбужденна бывала его речь и так быстро, сам того не замечая, он перескакивал с одного предмета разговора на другой. «Помню, — рассказывал Страхов, — как однажды Федор Михайлович, будучи в подобном нервном возбуждении, вдруг оборвал свою речь на полуслове и повалился на пол в припадке падучей болезни.»

Так равно и в своих воспоминаниях о Достоевском, напечатанных, помнится, в журнале «Заря», Страхов рассказывал, как Достоевский, в припадке падучей болезни, свалился на пол в то время, когда только что вошел в комнаты, возвратясь из церкви после совершения его второго бракосочетания.

— Невероятно тяжелое впечатление произвела тогда на меня его болезнь, — рассказывал мне Николай Николаевич, — представьте себе — зал, полный гостей, приглашенных на свадебный пир, веселая музыка встречает входящую от венца парочку, лакеи суетятся около обеденного стола с подносами и с бокалами шампанского, слышатся приветственные возгласы поздравляющих, и вдруг Федор Михайлович роняет из рук бокал с вином, падает на пол и начинает биться в припадке падучей. Каково положение бедной невесты и всех собравшихся на свадебный пир! Признаюсь, грешный человек, я не раз обвинял мысленно Федора Михайловича, затеявшего

так торжественно справлять свою свадьбу. Уже не говорю о том, что он знал о своей болезни и мог предполагать о возможности припадка при первой возбужденности, это само собою разумеется. Но ведь и то нужно принять во внимание, что при тогдашних его денежных средствах вовсе некстати было роскошествовать и устраивать свадебный пир... Да, да! Он вообще в денежных своих делах был весьма неосторожен...

Так рассказывал Николай Николаевич, задумчиво, по обыкновению, покачивая седой головой и, не торопясь, свертывая папиросу.

Федор Михайлович бывал у нас, нельзя сказать, чтобы часто, вернее — редко. В восемнадцать лет нашего общего со Страховым жития он был у нас, может быть, раз с десятка, не более. Надо сказать откровенно, собеседник он был неудобный, не любил, чтобы ему возражали и не только не терпел возражений, но даже и вообще прерывать его речь и подсказывать что-либо не позволял. Оборвет, бывало, каждого, решившегося вставить в его речь свое слово. «Молчите! Не умничайте!» — резко бросит ему в ответ и гневно сверкнет глазами. Однажды как-то случилось, попал он к нам в то время, когда у нас сидел Владимир Сергеевич Соловьев. Федор Михайлович был в мирном настроении, говорил тихим тоном и с большою медлительностью произносил слово за словом, что, как я сказал выше, всегда замечалось в нем в первые дни после припадка падучей болезни. Владимир Сергеевич что-то рассказывал, Федор Михайлович слушал, не возражая, но потом придвинул свое кресло к креслу, на котором сидел Соловьев, и, положив ему на плечо руку, сказал:

— Ах, Владимир Сергеевич! Какой ты, смотрю я, хороший человек...

— Благодарю вас, Федор Михайлович, за похвалу...

— Погоди благодарить, погоди, — возразил Достоевский, — я еще не все сказал. Я добавлю к своей похвале, что надо бы тебя года на три в каторжную работу...

— Господи! За что же?..

— А вот за то, что ты еще недостаточно хорош: тогда-то, после каторги, ты был бы совсем прекрасный и чистый христианин...

Достоевский, как известно, испытал каторгу и мог говорить о ней с полным знанием дела. Соловьев засмеялся и не возражал, принимая его замечание за шутку, но могу предположить, возрази что-нибудь Владимир Сергеевич, то Достоевский развил бы свою шутливую мысль до серьезного и подробного объяснения и, пожалуй бы, до того разволновался, что при первой же попытке вставить в его речь замечание, нервно прошипел бы:

— Молчите, не возражайте... Не умничайте!..

Вообще, Федор Михайлович иногда в разговорах своих был резок и даже груб.

— Так, однажды, — рассказывал Майков, Аполлон Николаевич, — зашел к нему Федор Михайлович на вечерний чай и уединился с ним в кабинете. Он любил именно такие уединенные, с глазу на глаз, беседы. Просидели они так минут десять, пятнадцать, вдруг — звонок. Федор Михайлович вступенулся.

— Гость? — прошипел он, мрачно нахмурясь.

Майков пожал плечами.

— Поджидаете кого?

— Нет... Случайно кто-нибудь. Может быть, к жене...

— Терпеть не могу этих случайных...

Достоевский, оживленно до звонка разговаривавший, вдруг как-то осунулся, сгорбился и, точно улитка, спрятавшаяся в свою раковину, замолк.

В зале послышались шаги по направлению к кабинету.

— К вам кто-то! — прошептал Достоевский и быстро поднялся с кресла.

— Куда вы? Сидите. Может быть, кто-нибудь минуты на две...

— Ничего, ничего. Я пережду вот здесь.

Он указал на двери, за отворенной половинкой которых стоял стул.

— Может быть, Бог даст, вы скоро гостя спровадите, — шепотом добавил он и, спрятавшись за дверью, сел там на стул.

Кто был вошедший — об этом помолчу. Доброго слова о нем сказать нельзя, а худого говорить не хочется — Бог ему судья. Был он человек, примазавшийся к литературе, достаточно бесцеремонный, умевший пробираться во всякие щели и именно только для того, чтобы более легким и скорым путем что-нибудь и где-нибудь извлечь для своей особы. Ни служебных прав, ни литературного таланта, ни университетского образования он не имел и околачивался около литературы, перебиваясь то маленькими статейками в журналах, куда пролезал с протекцией сильных людей, то услугами редакторам, часто даже непрошенным и нежелательным.

Вошел он в кабинет Майкова и с первого же слова начал заливаться лстивыми речами.

— Пришел к вам, Аполлон Николаевич, извините, может быть, и не вовремя, но не мог удержаться. Простите! Вот как пред престолом самого Господа-Вседержителя говорю — не мог удержаться: прочитал ваше последнее стихотворение в «Русском вестнике» — и умилился. Этакая прелесть! Пойду, думаю, самолично выскажу великому поэту свои искренние душевные восторги! Превосходное стихотворение, Аполлон Николаевич! Необыкновенное!.. Очень, очень хорошее!.. И Гете, и Шекс-

пир охотно подписались бы под таким стихотворением... Да что — Гете! Что — Шекспир!.. Пусть они там на Западе прославляются! Вы — Майков и этим все сказано! Вы — наша слава, наша гордость...

И долго и много еще выпалил восторженных отзывов этот неожиданно пришедший гость.

Как держал себя при этом Аполлон Николаевич — не могу точно сказать. Знаю, что он при подобных льстивых речах хмурился, видимо, стесняясь похвалами, и молчал, внимательно всматриваясь при этом в свои морщинистые руки. Случалось мне лично видеть его в таком смущении и слышать, как он в подобных случаях шепотом замечал льстецу: «Ну, будет, будет! Довольно!» Так и при льстивых речах пришедшего гостя он тоже зашептал ему: «Довольно, голубчик, довольно!».. Достоевский же, сидевший за дверью, не выдержал льстивых речей. Быстро выступив из-за дверей, он нервно взмахнул обеими руками и, потрясая ими в воздухе, сердито прошипел:

— Что это за подлец говорит?!..

Таков был в своих нервных порывах Федор Михайлович.

Гость, разумеется, растерялся, огорошенный появлением Достоевского и его «приветливым» восклицанием... Возражать что-либо, оправдываться и объясняться он не посмел и поспешил, насколько возможно скорее, стушеваться.

— Извините, Аполлон Николаевич, — пробормотал он, схватившись за фуражку, — мне, признаться, некогда, я только на минутку забежал...

Не смея даже взглянуть на Федора Михайловича, он, как заяц, юркнул из кабинета наутек, оправдывая ту кличку, под которою известен был в литературных кружках, именно кличку — заяц.

Автор воспоминаний — сын художника Павла Александровича Брюллова (1840—1914), профессор-искусствовед (он автор книги «По пути в музей». Л., 1929) Борис Павлович Брюллов (1882—1940).

ВСТРЕЧА С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ

(Со слов П. А. Брюллова)

И мелочи о великих людях бывают интересны. Особенно если они характерны. Тем более, что они теряются, уходят вместе с тем, как уходят живые современники этого человека, видевшие, знавшие его, разговаривавшие с ним, и сам он превращается уже из живой современной фигуры в некое «переживание», своего рода «отвлечение». Вот почему я рискую поделиться с читателем рассказом о характерной встрече с Ф. М. Достоевским, слышанным мною от моего ныне покойного отца, художника Павла Александровича Брюллова*. Произошло это во второй половине 70-х годов у известной женщины-математика С. В. Ковалевской¹ и ее мужа Влад. Онуфр. Ковалевского, известного русского палеонтолога и геолога**.

Отец мой пришел к Ковалевским вечером и застал там Достоевского и еще одного — молодого индуса, приехавшего из Индии с тем, чтобы познакомиться с европейской культурой. Больше никого и не было. Индус, образованный молодой человек, знавший европейские языки — английский и французский, собирався ехать в Западную Европу, и Достоевский по этому поводу стал развивать свои взгляды на относительную роль европейских рас и наций в культурном творчестве. Смысл его речи сводился к тому, что творцами-изобретателями в Европе были только романские нации, немцы же ничего не создали своего нового, а были только переработчиками и комментаторами того, что сделали романцы. Разговор перешел на конкретные примеры, на художественное творчество. И тут, характерно для Достоевского, конкретные явления приняли размеры громадных символов. «У греков, — говорил он, — вся сила их представления божества в прекрасном человеке выразилась в Венере Милосской, итальянцы представили истинную Богоматерь — Сикстинскую Мадонну, а Мадонна лучшего немецкого художника Гольбейна? Разве это Мадонна? Булочница! Мещанка! Ничего больше!..» Взяли пример из литера-

* П. А. Брюллов род. 17 авг. 1840 г., скончался 3 декабря 1914 г. (Примеч. Б. П. Брюллова).

** Ковалевские были друзьями отца. Кстати, и С. В. Ковалевская приходилась ему троюродной сестрой и он был с ней на «ты» (Примеч. Б. П. Брюллова).

туры. «Позвольте, а „Фауст“ Гете, разве это не оригинальное проявление, запечатление в одном фокусе глубокого творческого немецкого духа?» — сказал кто-то. — «Фауст» Гете? Это только переживание книги Иова, прочтите книгу Иова — и вы найдете все, что есть главного, ценного в «Фаусте». — «Позвольте, — возразил мой отец, — но в таком случае и Сикстинская Мадонна есть тоже переживание античности, античного представления красоты...» — «Как! В чем же вы это видите?!» — «Да во всем, во всей трактовке, в каждой складке драпировки...» Надо же было произнести это злосчастное слово. Что тут сделалось с Достоевским! Отец мой от слов переходил к изображению. Достоевский вдруг вскочил, схватился руками за голову, побежал, лицо его исказилось, и он только с каким-то негодованием и ужасом стал повторять: «Драпировка!.. Драпировка!.. Драпировка!..» Я прямо думал, что с ним припадок будет, говаривал отец. Все притаили дыхание. Но Достоевский сел и замолчал вовсе, перестал разговаривать, а вскоре и ушел. Отец мой, как художник, подошел к оценке картины с формальной точки зрения, а для Достоевского такая точка зрения, особенно в вопросах, связанных с религией, в которых он жил нутром, была совершенно неприемлема. Для него невыносима была мысль, что в Сикстинской Мадонне можно говорить о какой-то драпировке. Поэтому он и пришел в такое неистовое бешенство, услышав это слово, что отец мой, весьма упрямый спорщик, много лет спустя вспомнил: «Но, какое у него было лицо, когда он повторял это: „Драпировка!.. Драпировка!..“»

Воспоминания ученицы петербургской фельдшерской школы, впоследствии известной детской писательницы (псевдоним Доганович) Анны Никитичны Кругловой (1857—1940), жены писателя А. В. Круглова.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ФЕЛЬДШЕРИЦЫ

Наш праздник

На святках, когда все веселятся и отдыхают, нам пришлось работать усиленно, так как на это время были назначены полугодичные экзамены. Освободившись наконец от них, мы принялись хлопотать об устройстве литературно-танцевального вечера в пользу недостаточных слушательниц наших курсов. Такой вечер, или *бал*, как мы называли его, устраивался ежегодно школою в конце января месяца. Этот день был для нас настоящим праздником. Еще задолго до него весь наш муравейник закопошился и заволновался.

— Отчего сегодня многих нет на лекциях? — спрашивала надзирательница.

— Оттого что скоро бал, — отвечают ей.

— Но разве они с этих пор начали уже танцевать?

Это замечание вызывает общий смех. Большинству было еще далеко не до танцев. Одни совсем не имели платьев для бала, и им приходилось брать на время у подруг, что неминуемо сопровождалось возней насчет переделки. Другие подновляли свои старые костюмы... Словом, все хлопотали и суетились немало. Этим объяснялась манкировка лекциями, замеченная надзирательницей.

Все хлопоты по устройству бала были возложены на избранных школою распорядительниц, в число которых попала и я с Верещагиной. Нам с нею выпало на долю привлечь к участию в вечере наиболее выдающихся писателей, в том числе и покойного Ф. М. Достоевского.

Отправились к нему.

— Они обедают, — объявила нам горничная.

— Мы подождем, вы только доложите, — сказала Верещагина.

— Хорошо, скажу.

Она исчезла. Почти тотчас же вслед за нею выбежал сам Федор Михайлович. Лицо его нервно передергивалось, он был в возбужденном состоянии.

— Я, милостивые государины, не мальчишка, — резко оборвал он нас, — а человек старый-с! Есть мне нужно толком. Если мне не дадут времени и на это, то чем же прикажете мне тогда поддерживать свое существование?.. а?..

— Извините, мы не хотели отрывать вас от обеда, — сконфуженно пролепетала моя подруга, пятась к двери.

— Мы ведь хотели подождать, — поддержала я ее.

— А затем-с, — перебил он, жестикулируя и наступая на нас, — мой организм требует отдыха!.. действительно требует!

Я взялась за ручку выходной двери и потянула ее к себе.

— Нет-с, вы куда же? — остановил Достоевский. — Объясните, зачем пришли?

— Да мы курсистки... хотели просить вас читать, — выкрикнула Верещагина уже из-за двери.

— А, ну так вернитесь... войдите, да ну же, пожалуйста, — прибавил он, видя нашу нерешительность. — Извините старика... Я человек больной, — смягчился он, вводя нас в свой рабочий кабинет и усаживая у письменного стола против себя.

— С каких вы курсов? — уже совершенно иным тоном обратился он к нам.

— С фельдшерских, — ответили мы, ободрившись.

— Что же это я о таких не слыхал? — произнес он вдумчиво.

— Наша школа еще молодая.

— А-а...

Мы стали просить его не отказать нам в своем содействии.

— Видите ли, накануне вашего бала я читаю у бестужевков, на другой день — у медичек... а там у меня еще три вечера на носу... ведь этак можно протянуть ноги.

Мы не решались возражать. Он помолчал немного.

— А велик ли у вас контингент нуждающихся?

— Очень велик.

— Ну, в таком случае надо читать... Хорошо, я вам обещаю.

На его нервном лице изобразилось сострадание. Раздражительность его так же скоро миновала, как и возникла. Минуту назад пред нами был точно совсем другой человек. Мы принялись благодарить его от лица всех своих товарок. Это была для нас чистая находка, так как некоторые из молодых писателей обещали нам свое участие в вечере только при условии, если будет и Достоевский.

Выйдя на лестницу, Верещагина облегченно вздохнула.

— Что с тобою?

— Ах, Боже мой! Я так и думала, что он побьет нас.

Мы обе засмеялись.

— А ведь, в сущности, он предобрый... Это видно! Но я все-таки до сих пор еще не могу прийти в себя...

И она покачала своей красивой головкой с выбившимися черными волосами из-под котиковой шапочки, заломленной по-мужски, набекрень.

Автор воспоминаний — писатель Константин Петрович Ободовский (? — после 1903).

ЛИСТКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

В течение моей жизни мне приходилось встречаться с некоторыми из известных деятелей литературы и искусства. Впечатления, вынесенные мною из этих встреч, я заносил в записную книжку, отмечая в ней также и все то, что казалось мне заслуживающим внимания из рассказов других лиц, приходивших в соприкосновение с тем или другим из выдающихся русских деятелей. Заметки мои о вышеупомянутых лицах не имеют характера воспоминаний, написанных в форме последовательного рассказа, и излагаются мною без всякой системы и внутренней связи, иногда почти в той форме, как они были первоначально записаны под свежим впечатлением виденного или слышанного. Это ничто более, как выбранные из записной книжки листки, только несколько пополненные и приведенные в некоторый порядок, которые я позволяю себе выпустить в печать ввиду того, что изложенные в них факты и данные, может быть, прибавят некоторые черты к характеристике времени или биографии того или другого из замечательных русских людей.

Покойного Ф. М. Достоевского я встретил впервые у поэта Я. П. Полонского в 1879 году.

Видеть его мне удалось всего раза три-четыре, но, тем не менее, впечатление, вынесенное мною о нравственной личности покойного писателя, является вполне цельным и до такой степени свежим и живым, как будто я видел его только вчера.

Действительно, встретивший его раз, надолго, если не навсегда, запечатлевал образ его в своей памяти. Когда он начал говорить, то походил на ветхозаветного пророка и, казалось, был создан для того, чтобы «глаголом жечь сердца людей». Каждое слово его было проникнуто такою глубокою верою в то, что он говорил, что вера эта невольно сообщалась слушателям, часто резко расходившимся с ним в убеждениях. Эта глубокая вера и искренность писателя, не преклонявшегося ни пред людьми, ни пред обстоятельствами, в сопоставлении с тем, что он вынес в течение своей многострадальной жизни, возбуждали к нему чувства глубокого уважения и симпатии даже среди самых страстных противников его идей.

Первая встреча моя с покойным Ф. М. произошла, как я уже сказал, у Полонских в одну из пятниц 1879 года. Полонские жили тогда на углу Николаевской и Звенигородской улиц. Из окон

их квартиры открывался вид на Семеновский плац, вдали виднелся шпиль егерской церкви. Когда я вошел, Достоевский стоял у окна и вглядывался в мигающую огоньками площадь. «Вот, — сказал он, — то место, где 30 лет тому назад меня вели на казнь, и я, подняв глаза на церковь, перекрестился, прощаясь с жизнью».

С этими словами он отошел от окна. Яков Петрович представил меня писателю. Мы сели. Разговор зашел о злобе дня, событиях того времени. Описываемое время было одною из самых мрачных эпох в русской истории.

Все ужасы этого времени производили неотразимое впечатление на Ф. М. и побуждали его доискиваться их причин.

По убеждению писателя, высказанному им в тот вечер, основную причину событий следовало искать в давно прошедшем русской истории, а именно в Петровской реформе. Петр круто сломал те устои, на которых покоилась Московская Русь, и внес изменения в обычаи и нравы против воли народных масс. Много в этих реформах было света и правды, но все-таки они шли вразрез с идеями громадного большинства населения и породили глухое, но, тем не менее, энергическое сопротивление государственной власти. Последняя, со своей стороны, конечно, уже не могла доверять и обращаться к содействию не сочувствовавших проводимым ею реформам народных масс, и вот отсюда начало обоюдного недоверия земли и власти, создавшее почву для разных темных сил, стремящихся к ниспровержению государственного порядка и полной анархии. Ближайшую причину событий Ф. М. видел в упадке религии и, между прочим, указывал на значительный процент в рядах нигилистов из числа бывших, по преимуществу недоучившихся, воспитанников семинарий. По высказанному писателем убеждению, лица из среды духовного сословия, в случае, если они не обладают достаточным нравственным развитием для понимания истинного духа религии, имеют более шансов прийти к отрицанию и сделаться атеистами, чем светские люди. Последнее объясняется тем, что названные лица, находясь, так сказать, в постоянном общении с религией, часто перестают видеть ее духовную сущность, и, в конце концов, религия в их глазах до того вульгаризируется, что они видят лишь одну сухую, обрядовую формулу, без всякого внутреннего содержания в том, что для светских людей представляется святынею. Ближайшим последствием такого взгляда является равнодушие к религии, дискредитированной, так сказать, в глазах лиц, наиболее близко стоящих к ней, — равнодушие, которое в дальнейшем ведет к полному отрицанию религии, а вместе с нею и всех устоев, на которых зиждется современная общественность.

Вскоре после описанной встречи мне пришлось опять увидеть Ф. М. Это было на известном литературном вечере в Благородном собрании, на котором должен был читать И. С. Тур-

гнев, только что приехавший из Москвы, где его встречали восторженно. Такой же прием ожидал И. С. и в Петербурге, причем самый вечер был устроен с целью выразить писателю глубокие общественные симпатии, казалось, одно время ослабевшие среди известной части общества после появления его «Отцов и детей».

Не стану описывать этого вечера, на который так же трудно было попасть, как грешнику в царство небесное, и на котором мне удалось быть благодаря любезности одной знакомой, взявшей билеты задолго до выпуска газетных объявлений о вечере. Скажу одно, что это был триумф не только И. С. Тургенева, но и других участвовавших в чтении первоклассных представителей литературы: Достоевского, Полонского, Щедрина, Плещева и Потехина.

Двоюродная тетка Л. Н. Толстого, графиня Александра Андреевна Толстая (1817—1904), оставила интересные воспоминания о том, как Достоевский с гениальной прозорливостью почувствовал ложность нового учения автора «Войны и мира».

ВОСПОМИНАНИЯ

Достоевский избрал для чтения отрывок из «Братьев Карамазовых» и именно главу романа «Рассказ по секрету», в которой Дмитрий Карамазов рассказывает Алеше о том, как он дал 5000 рублей своей будущей невесте (Катерине Ивановне), явившейся к нему, чтобы продать себя для спасения отца.

Трудно описать, что это было за чтение. Очевидно, писатель читал не для публики, о существовании которой он вовсе забыл. Он читал для самого себя. Его чтение производило до того потрясающее впечатление, что, как говорится, мороз по коже пробегал. Когда он кончил, все были ошеломлены. С полминуты длилось молчание, и затем гром аплодисментов, не смолкавший 1/4 часа, потряс залу...

...Скажу мимоходом, что от нашей переписки того времени почти не осталось ничего: иные письма я уничтожила — они меня слишком смущали, — другие я отдала Достоевскому. Вот как это случилось.

Я давно желала познакомиться с ним и, наконец, мы сошлись, но — увы! — слишком поздно. Это было за две или за три недели до его смерти. С тех пор, как я прочла «Преступление и наказание» (никакой роман никогда на меня так не действовал), он стоял для меня, как моралист, на необыкновенной высоте, несравненно выше других писателей, не исключая и Льва Толстого, разумеется, не в отношении слога и художественности.

Я встретила Достоевского в первый раз на вечере у граф. Комаровской. С Л. Н. он никогда не видался, но, как писатель и человек, Л. Н. его страшно интересовал. Первый его вопрос был о нем:

— Можете ли вы мне истолковать его новое направление? Я вижу в этом что-то особенное и мне еще непонятное...

Я призналась ему, что и для меня это еще загадочно, и обещала Достоевскому передать последние письма Льва Николаевича, с тем, однако ж, чтобы он пришел за ними сам. Он назначил мне день свидания, — и к этому дню я переписала для него эти письма, чтобы облегчить ему чтение неразборчивого почерка Л. Н. При появлении Достоевского я извинилась перед ним, что никого более не пригласила, из эгоизма — желая про-

вести с ним вечер с глаза на глаз. Этот очаровательный и единственный вечер навсегда запечатлелся в моей памяти; я слушала Достоевского с благоговением: он говорил, как истинный христианин, о судьбах России и всего мира; глаза его горели, и я чувствовала в нем пророка... Когда вопрос коснулся Льва Николаевича, он просил меня прочитать обещанные письма громко. Странно сказать, но мне было почти обидно передавать ему, великому мыслителю, такую путаницу и разбросанность в мыслях.

Вижу еще теперь перед собой Достоевского, как он хватался за голову и отчаянным голосом повторял:

— Не то, не то!..

Он не сочувствовал ни единой мысли Л. Н.; несмотря на то, забрал все, что лежало писанное на столе: оригиналы и копии писем Льва. Из некоторых его слов я заключила, что в нем родилось желание оспаривать ложные мнения Л. Н.

Я нисколько не жалею потерянных писем, но не могу утешиться, что намерение Достоевского осталось невыполненным: через пять дней после этого разговора Достоевского не стало...

Лев Николаевич напечатал в каком-то журнале, что хотя он не был знаком с Достоевским, но, узнавши об его смерти, ему показалось, что он потерял самое дорогое...¹ Эта внезапная кончина поразила и меня. Я отправилась к нему на квартиру поклониться его праху. Он лежал в крошечной комнатке; малолетние сын и дочь стояли около него; вся обстановка совершенно бедная; но посетителей было множество, и все казались убитыми горем; особенно много было молодежи. Я уже собиралась уходить, когда подошла ко мне дама, весьма скромно одетая, и спросила меня, — я ли графиня Толстая. На мой утвердительный ответ она прибавила:

— Я позволила себе подойти к вам, полагая, что вам приятно будет услышать, какое хорошее впечатление Федор Михайлович вынес с вечера, проведенного у вас; это было его последнее удовольствие.

Дама эта была его жена, А. Г. Достоевская.

Я потом часто спрашивала себя, удалось ли бы Достоевскому повлиять на Л. Н. Толстого? Думаю, едва ли. Один мой знакомый, некто г. Дмитриев, покойный попечитель здешнего учебного округа, очень умный, хотя слегка язвительный человек, сказал мне однажды, когда речь шла о Л. Н.: «*Le malheur du comte Tolstoy c'est qu'il n'écoute et n'estime que sa propre pensée, aussi vous verrez qu'il fera éternellement fausse route*»*. Это было, впрочем, до некоторой степени справедливо...

* Несчастье гр. Толстого то, что он слушает и уважает только собственное мнение, вот почему вы увидите, что он всегда будет на ложном пути. (Фр.).

Автор воспоминаний — Александр Николаевич Сальников (1851—1909), писатель, критик.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ О ЛЮБВИ ПУШКИНА К НАРОДУ

Ввиду приближающегося юбилея великого русского поэта позволю себе привести здесь не безынтересный разговор, происходивший с покойным Ф. М. Достоевским в 1880 году, в зале Кононова, на литературном вечере, устроенном в пользу фельдшерниц Георгиевской общины сестер милосердия. Вечер этот привлек много самой разнообразной публики. Все места были заняты: яблоку упасть было некуда. Многие, запоздавшие взять билеты, но желавшие во что бы то ни стало присутствовать на чтении знаменитого романиста, принуждены были толпиться в проходах. Жара и духота в зале стояли невыносимые; некоторым дамам делалось дурно, и они уходили, не дождавшись появления на эстраде любимого писателя.

Программа вечера состояла из двух отделений. Ф. М. Достоевский читал во втором отделении главу из «Братьев Карамазовых» — о Великом Инквизиторе. В этом же отделении читал и я — отрывок из «Скупого рыцаря». Как теперь помню: Ф. М. Достоевский, сидя в так называемой «исполнительной комнате», рядом со сценой, весь сгорбившись и как бы совершенно уйдя в себя, поминутно, с какою-то необыкновенною нервностью, мешал ложкой в стоявшем перед ним и давно успевшем простыть стакане чая. Голова у него была опущена, и он как бы о чем-то задумался. Прошло несколько секунд.

— Вы прекрасно сделали, — почти вскричал он, наконец, обращаясь ко мне и держа меня за пуговицу фрака, которую долго не выпускал из своих костлявых рук, — прекрасно сделали, выбрав «Скупого рыцаря»... Пушкина у нас совсем не знают... С ним надо знакомить публику... Он известен только по хрестоматиям... Молодежь наша трактует его по Писареву... Это жаль... Но это пройдет... непременно пройдет... Пророческое предсказание поэта сбудется... да, сбудется... Его узнает вся Россия... Можете ли Вы, — вдруг переменяв направление своих мыслей и пристально смотря мне в лицо, — спросил Достоевский, — можете ли вы старческим голосом произнести монолог «Скупого рыцаря»?.. Это необходимо для иллюзии!..

Я сказал, что попытаюсь, и прибавил:

— А я, было, хотел сначала взять что-нибудь из Некрасова: «Мороз Красный нос», например, или «Рыцарь на час». Но потом раздумал.

— И отлично, что раздумали... Некрасов уже в зубах навяз: все его лучшие вещи зачитаны... измызганы... затрепаны...

— Но ведь молодежь, Федор Михайлович, все-таки любит Некрасова. Ведь он — наш «печальник горя народного»...

Достоевский быстро перебил меня и, выпрямившись на стуле, докторально произнес:

— Что такое «печальник горя народного»? Да знаете ли вы, что Некрасов не любил и не мог (Достоевский сделал особенное ударение на этом слове) так любить народ, как любил его Пушкин: Некрасов любил народ головою, умом, а Пушкин — всем существом своим, утробно... да, утробно... Вот какая между ними разница!.. Вспомните-ка «Деревню»!.. Что Пушкин говорит в ней?..

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества губительный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца,
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут;
Надежд и склонностей в душе пытаться не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти развратного злодея;
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собою множить
Дворовые толпы измученных рабов...

— А конец этого стихотворения:

Увижу ль я, друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?

— Да ведь тут вся эпоха крепостного права — как на ладони!.. Разве у Некрасова есть что-нибудь похожее?..

В зале послышался звонок, возвещающий начало второго отделения. Публика была уже в ожидании выхода знаменитого романиста. Прекратив начатый со мной разговор, Достоевский появился на эстраде, встреченный громом оглушительных рукоплесканий.

ЗАВЕЩАНИЕ

РЕЧЬ О ПУШКИНЕ

Н. А. ШАМИН

Автор этих воспоминаний — писатель Николай Андреевич Шамин (1862—1933).

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

Ф. М. Достоевского я имел возможность видеть в июне 1880 года на торжестве открытия памятника Пушкину на Страстной площади.

Достоевский был окружен многочисленной толпой учащейся молодежи.

Наружность его запечатлелась в моей памяти: среднего роста, коренастый, несколько сутуловатый, с отпечатком на желтом лице — человека, измученного тяжелой неволей. Он был с открытой головой (без шляпы). На голове и бороде — русые с лысиной волосы с едва заметною проседью.

Он держал под руку 85-летнего старика, бывшего слугу семьи Пушкиных.

Как рассказывают, Достоевский спросил старца, находит ли он сходство изображенного на памятнике Пушкина с живым Пушкиным.

Тот ответил: «Похож, очень похож, только Александр Сергеевич был много ростом пониже».

В дни торжеств Достоевский чувствовал себя довольно бодрым — даже произнес замечательную по своему содержанию речь о Пушкине.

Тогда казалось — ничто не предвещало его близкой кончины. Но это совершилось — через 1/2 года Достоевского не стало.

По моей инициативе в 1906 году, по случаю 25-летия со дня кончины Достоевского, была поставлена мемориальная доска на доме б. Марининской больницы, где он родился и провел детские годы.

В 1915 году — по моей же инициативе — было присвоено двум городским училищам имя Ф. М. Достоевского.

Воспоминания принадлежат перу журналиста Владимира Осиповича Михневича (1841—1899), выступавшего в литературе под псевдонимом Коломенский Кандид.

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Русская литература опять в трауре и на этот раз в глубоком... На кого из «молодых» наших беллетристов (50-х и 60-х годов) можно было бы указать, как на преемника, например, Достоевского, по размеру таланта, по глубине психологического анализа, а главное, по ширине и силе художественного влияния на умы общества? Даже и для приблизительного сравнения никого не найдешь здесь поставить... Я имел случай видеть наглядно, каким неотразимым, обаятельно могущественным влиянием пользовался Достоевский в современном обществе, несмотря на то, что известная, может быть, значительнейшая часть общества вовсе не симпатизировала некоторым его тенденциям, которые он с особенной настойчивостью стал проводить в своих последних произведениях. Но волшебной силе гениального таланта покоряется все...

Это было в прошлом году, в Москве, в достопамятные дни пушкинского праздника. Съехала тогда в Москву вся «соль» русской земли; чествовали память великого поэта отборной прозой и звучными стихами избраннейшие корифеи и знаменитости литературы — патентованные любимцы публики; много хороших слов и светлых мыслей было высказано ими у «бронзовой хвалы» поэту; много и громко одобряла всех их публика.

Но вот взошел на кафедру невзрачного вида, тощий, согбенный человек, с изжелта-пергаментным, сухим, некрасивым лицом, с глубоко впавшими глазами под выпуклым, изборожденным морщинами лбом. Взошел он как-то застенчиво, неловко, и, сгорбившись над пюпитром так, что голова его едва виднелась слушателям, раскрыл тетрадку и начал читать слабым, надорванным голосом, без всяких ораторских приемов, как если бы он собрался читать для самого себя, а не перед огромной аудиторией... Менее импозантной фигуры, менее представительности и эффектности в приемах, в манере чтения и в самом складе прочитанного нельзя было бы придумать. Наоборот — можно было бы заподозрить, что здесь простота и непретенциозность доведены до степени своеобразного щегольства, хотя, конечно, ничего преднамеренного тут не было...

Началось чтение, с первых же строк превратившее всю аудиторию в олицетворенный слух и напряженное внимание, так что слабый голос чтеца внятно раздавался во всех концах громадной залы. Публика услышала удивительные по своей оригиналь-

ности мысли, мысли спорные, в основании своем неверные, но проникнутые такой искренностью и глубиной убеждения, согретые такой теплотой чувства и развитые с такой гениальной художественностью, перед чарующим обаянием которых устоять было невозможно самому предубежденному слушателю. Когда чтение кончилось, вся зала дохнула каким-то вздохом одной исполинской груди, до глубины потрясенной благородным экстазом любви и мира; вся зала, как один человек, разразилась такой восторженной хвалой вдохновившему ее чтецу, перед которой побледнели все прежние хвалы и овации другим ораторам... Чтец этот был Ф. М. Достоевский. Ничего подобного впечатлению, произведенному тогда его чтением на публику, ничего подобного той овации, которая ему тогда была сделана, я никогда не видел и, быть может, никогда больше не увижу... И эта-то, еще недавно такая могучая сила мысли и вдохновения, этот, воистину вещий гений — угас... угас безвозвратно!

Не нужно быть сторонником исключительных, частью мистически странных взглядов и тенденций покойного Достоевского для того, чтобы признать, что с его смертью нашей литературой утрачена такая огромная художественно-интеллектуальная сила, перед ростом которой все наши современные «молодые» талантики — не более, как пигмеи...

И вот почему так глубок траур, в который должны бы облечься и русская литература, и русское общество с кончиной бессмертного творца «Мертвого дома»! Да он и на самом деле глубок: все просвещенные люди почувствовали всю великость понесенной утраты... Ведь Федор Михайлович умер еще в таких летах, когда от него можно было ожидать в будущем целого ряда новых замечательных творений вполне созревшего, установившегося и достигшего наибольшей высоты в своем развитии таланта; но он угас... угас безвременно... Перенесенные покойным личные тяжкие испытания и долголетние страдания — обычная расплата за слишком горячую любовь к человеку и к родине и, вообще, трудная, нередко мучительная доля русского писателя — не укрепляют здоровья и не способствуют долголетию. Ранняя смерть — неизбежный, роковой удел почти всех русских литераторов...

Автор — фельетонист и публицист Ипполит Федорович Василевский (1849 — после 1918), выступавший в печати под псевдонимом Буква. См. о нем: Русские писатели, 1800—1917. Биограф. словарь. Т. I. М., 1989. С. 391—392.

ИЗ МОСКОВСКИХ В ЧЕСТЬ ПУШКИНА ПРАЗДНЕСТВ В 1880 ГОДУ

(по личным воспоминаниям)

Торжество открытия памятника Пушкину в Москве сопровождалось рядом блестящих литературных собраний и празднеств. Они продолжались четыре дня, с 5-го по 8-е июня включительно 1880 года. В их программе значились: официальный прием (в день открытия памятника), под председательством Его Императорского Высочества герцога Петра Георгиевича Ольденбургского, приезжих и местных депутатов, банкет от города в честь депутатов, пушкинский музыкальный, драматический и литературный вечер, большой обед, — почти исключительно литературный, — данный Обществом любителей российской словесности, и, наконец, два замечательных чтения в этом же Обществе, посвященные памяти поэта и истолкованию его личности и творчества. Эти четыре незабвенных дня оставили после себя очень глубокое и цельное впечатление. Все, пережившие их на месте, в Москве, с восторгом признали их небывалыми. Наше образованное общество никогда не видало такого единогодушного увлечения, такого сильного подъема гражданского, общественного и личного чувства. Эти четыре «красных дня» почти непрерывно держали Москву, а с нею Петербург и всю Россию, в необыкновенно горячем и пылком нервном оживлении и возбуждении, в каком-то сладком экстазе восхищения и умиления, в сфере наиболее высоких и благородных мыслей, целей и настроений. Такой характер пушкинского праздника очень выгодно отразился на всех его составных частях, обусловливавших превосходную гармонию целого и вызывавших в публике неподдельный энтузиазм. Сценичные исполнители пленяли публику, ораторы электризовали, поражали ее. Никогда раньше общественное красноречие не лилось у нас таким широким руслом, не прельщало слушателей такою свободой и свежестью, не отличалось такою могучею и захватывающею силою. Оно принадлежало Аксакову, Тургеневу, Достоевскому, Островскому и др.

Речи, приветствия и обращения говорились и у самого памятника, в час его открытия, и на официальном акте, и на обоих банкетах, давших возможность высказаться очень многим известным и случайным, интересным и банальным ораторам. Мос-

ковская Дума чествовала торжественным обедом детей поэта и депутатов. Второй обед в Дворянском собрании, предложенный только литераторам от Общества любителей российской словесности, особенно увлек слушателей чудесною речью А. Н. Островского. В ней сказалась душевная простота и художественная непосредственность натуры драматурга. Она была очень тепла, светла и красива. Островский говорил ее фамильярным, разговорным тоном, певуче растягивая некоторые слова и окончания, несколько в нос, говорил, заметно сам увлекаясь и увлекая других. Речь его блистала удачными и новыми афоризмами. Их подчеркивали рукоплесканиями. Тут были высказаны, между прочим, следующие мысли: «Главная заслуга великого поэта в том, что чрез него умнеет всё, что может поумнеть: Пушкиным восхищались и умнели, восхищаются и умнеют...», «Пушкин сполна раскрыл русскую душу...», «Он первый заявил в Европе о существовании русской литературы...» «Немного наших произведений, — говорил Островский, — идет на оценку Европы, но в этом немногом оригинальность наблюдательности, самобытный склад мысли замечен и оценен по достоинству...» Особенно милым был конец речи Островского. Он очень понравился все своим товарищеским к присутствующим обращением, своим вызывающим к веселию ликованием и меткою заключительною фразою. Предлагая тост за русскую литературу, которая пошла и идет по пути, указанному Пушкиным, Островский с необыкновенным одушевлением восклицал: «Выпьем весело за вечное искусство, за литературную семью Пушкина, за русских литераторов! Мы выпьем очень весело этот тост! *Нынче на нашей улице праздник!*»

После оглушительных аплодисментов все поднялись с мест и потянулись с бокалами к оратору. Островский сполна выразил настроение писателей и дал ему самый подходящий тон. В его лице человек, которого все любят, сказал то, что в данную минуту все думали. Мастерски отличился за этим банкетом известный артист и рассказчик И. Ф. Горбунов. Его излюбленный герой «генерал Дитятин» был в особом ударе и добродушно шамкал уморительные вещи. Его устами говорило целое поколение отставных «бурбонов» аракчеевской формации. Генерал Дитятин не скрывал своего удивления перед необыкновенными почестями, воздаваемыми «сочинителю Пушкину», но, поддаваясь общему энтузиазму, готов был и с своей стороны похвалить «господина Пушкина Александра Сергеевича за приятные созвучия и хорошую версификацию».

Как ни интересны были поэтому оба «пушкинских» обеда, но застольные речи, придерживаясь условной формы более или менее широко мотивированных тостов и имея дело с банкетною публикою и обстановкою, все же были только сжатыми и легкими экспромтами. Литературный капитал праздника, серьезные и веские вклады в «Пушкиниану» заготовлены были для

двух специальных «чтений», устроенных, как уже сказано, Обществом любителей российской словесности. Чтения происходили в Дворянском собрании. Старинная и типичная зала, с колоннами, хорами, зала торжественная и безличная, без солнца не особенно светлая и потому для глаз очень покойная, отлично располагающая, в механхолической атмосфере своего прошлого, к сосредоточенности и раздумью, была убрана скромно и просто. В глубине ее, под эстрадою, возвышался бюст Пушкина, на фоне венков и гирлянд; у бюста стояла кафедра. Эстраду занимал длинный, покрытый красным сукном стол, за которым сидели члены Общества. На этой эстраде, за этим столом, в эту минуту помещалась вся слава и гордость русской литературы. Никогда и нигде, ни до, ни после этих «чтений», у нас не было такого блестящего, исторически знаменитого собрания писательских светил первой величины. Здесь были налицо чуть не все авторы, составляющие хрестоматию новой и новейшей русской литературы. Здесь были корифеи и могикане литературной производительности пятидесятих и шестидесятих годов, создатели и проводники новых идеалов, новых течений, новых гуманитарных и художественных требований, новой манеры письма, новых красок, нового языка; здесь были лучшие общественные люди, наиболее заслуженные писатели, имена которых сияли в литературе и произносились в обществе как магические слова. Для очень многих было счастьем, навсегда в жизни достопамятным моментом, подойти к ним, видеть их, слушать их. Председательское место занимал покойный С. А. Юрьев, уже белый старец, живой и приветливый, руководивший заседаниями с академическим навыком и тактом, с изысканною любезностью и предупредительностью. Его ясное, открытое лицо светилось чувством великого и редкого внутреннего удовольствия. Тут же сидели: коренастый, широкоплечий, богатыря собою напоминавший Аксаков, цветущий и в старости бодростью и мощью своего пламенного темперамента, — коренной русак московской складки, с светлыми, проницательными и тонкими глазами в золотых очках, великолепный трибун, уверенный и в своем таланте, и в своей популярности; несколько согбенный, развинченный докучливыми нервными недомоганиями Тургенев, с лицом усталым, но с взглядом выразительным и ярким, полным оживления и любопытства, радости и торжества; он чувствовал и видел, что все его признавали первенствующим в этой компании. Тут же можно было видеть очень тучного, страдавшего одышкой, на вид осунувшегося и вялого Писемского; ему было все время жарко и он кашлял коротким и частым кашлем с флегматическим хрипом; худого, пергаментно-желтого, скрюченного болезнью Достоевского; впалые щеки горели у него лихорадочным румянцем, губы были сухие, потрескавшиеся, глаза, впалые и тусклые, глядели, как будто никого и ничего не замечая, куда-то вдаль, в глубь отвлеченной мысли и испытующего стра-

дательного чувства; лицо у Достоевского было неподвижное, суровое и серьезное — лицо аскета или покойника. Тут же сидели благодущный и благожелательный, всеми довольный Островский; молчаливый Майков, с широко по близорукости открытыми и вперенными глазами; старый романтик и в позах, и в движениях, и в декламации Яков Полонский; величественно красивый, с типичною наружностью длиннокудрого поэта Плещеев, профессор Тихонравов¹ и др. Никому из них не суждено было дожить до нынешнего пушкинского юбилея. Раньше других скончались Достоевский (1881), Писемский (1881) и Тургенев (1883); последними сошли в могилу Майков и Полонский. В зале, в первом ряду кресел, заняли места первые гости на московском празднестве — дети Пушкина. Они съехались все. Их было четверо: две дочери поэта и два сына. Одна из дочерей, как известно, была замужем, под фамилией графини Мерецберг, морганатическим браком, за одним владетельным немецким князем; она держала себя с аристократическою церемонностью и обособленностью; это была дама очень высокого роста, по возрасту — на склоне от средних лет к пожилым годам; ее меньшая сестра, довольно близко напоминавшая свою мать, Наталью Николаевну Пушкину, была замужем за генералом Гартунгом. Старшему сыну поэта, Александру Александровичу Пушкину, кавалерийскому полковнику, командиру Нарвского гусарского полка, было тогда под сорок. Высокого роста, худощавый брюнет, он значительно менее походил на своего отца, чем его брат, Григорий Александрович Пушкин, помещик, владелец Михайловского. Публика вообще находила, что по наружности все дети поэта более напоминают мать, чем отца. В первых рядах кресел сидели и петербургские делегаты: академик Сухомлинов, С. В. Максимов, Краевский, Вейнберг, Гаевский², Кони, Таганцев³, Суворин, Г. З. Елисеев, Стояновский⁴ и др.

Вступительное к первому чтению слово произнесено было председателем собрания. С. А. Юрьев приступил к нему «со смущением, полным благоговения, перед величием настоящего празднества». Оно было сказано с большим чувством, красивым и звучным, слегка риторическим языком. Он видел в Пушкине поэта, который «переживал всё, что может и как может чувствовать русский человек, от благоговейной любви к нашей седой старине до пламенного сочувствия к общечеловеческим сторонам реформ Петра Великого; от глубокого восприятия в свое сердце смиренного нравственного идеала простого русского человека, со дна души которого он поднял образ старца Пимена, до восторженного увлечения неукротимо вольнолюбивыми идеалами Байрона, исполненными блеска и силы». Прославляя Пушкина, главным образом, как почвенного, народного поэта, Юрьев закончил свою речь следующим горячим воззванием к аудитории: «Войдем же в святыню храма, воздвигнутого

нашим великим поэтом, который громко зовет теперь к нам: не угашайте духа и действуйте, и все прочее приложится, а жизнь проникнется правдою и красотою; оденется она и озарится солнцем свободы, исполненной братской любви друг к другу. Не угашайте духа!» Благородный и пылкий оклик старого писателя, эстетика и гуманиста, понравился всем и произвел впечатление. Юрьеву хлопали долго и дружно.

Его сменил французский делегат, известный профессор славянских наречий в Сорбонне, г. Луи Леже. Он прочел свою речь, написанную *по-русски*. Быть может, это было первое, нерешительное и робкое слово в пользу сближения Франции с Россией. Оно было сказано в честь Пушкина, в очень милой форме, с французскою утонченною любезностью и находчивостью. Кстати, г. Леже сообщил, что французским министром народного просвещения предложены академические «пальмы» трем представителям в Москве русской литературы, науки и русского искусства — С. А. Юрьеву, Н. С. Тихонову и Н. Г. Рубинштейну. Затем были прочитаны три послания — все на имя Тургенева — от трех европейских знаменитостей — французской, немецкой и английской. Виктор Гюго в нескольких великолепных словах заявлял, что он духом гостит в Москве во время литературного праздника. Романист Бертольд Ауэрбах приветствовал Пушкина, как гения, принадлежащего не только русской, но и мировой литературе и имевшего Гете своим провозвестником. Наконец, Теннисон, британский «придворный поэт-лауреат», официальный шеф и представитель английского Парнаса, прислал свои наилучшие симпатии и чувства. После этого наступила очередь Тургенева. Едва он поднялся из-за стола, чтобы направиться к кафедре, как ему была устроена необыкновенно горячая, проникнутая почти страстным возбуждением публики, овация. Все встали с мест и хлопали, долго, очень долго хлопали. Это был внезапный и неудержимый взрыв благодарности и сочувствия. У Тургенева, сильно взволнованного, слегка дрожали руки; он кланялся во все стороны низким поясным поклоном и белый, всем знакомый, локон-хохол его своеобразной шевелюры то падал и прикрывал высокое и еще гладкое, пощаженное морщинами чело, то отбрасывался на свое обычное место встряхивающим прическу движением головы. Тургенев выпрямился у кафедры и вдруг точно расцвел. Глядя на него, казалось, что у этой фигуры голова Сократа посажена на плечи Атласа. На крупных розовых губах заиграла необыкновенно приятная, осмеливающая и ласкающая улыбка, а в глубоких, мягких, задумчивых и добрых глазах виднелся гениальный автор таких чарующих, таких трепетных и чистых женских образов и типов. Голос у Тургенева был, как известно, тихий, грудной, далеко не соответствовавший его массивному сложению. На первых порах он поражал своим контрастом с наружностью. Говорил и читал автор «Дворянского гнезда» превос-

ходно — без аффектации и декламации, но как великий художник, с бесподобною отделкою музыки, оттенков и поворотов читаемого текста или живого слова. Речь его была большая. Впоследствии она заняла в *«Вестнике Европы»* десять страниц. Тургенев разбирал Пушкина как нашего первого поэта-художника, в котором «самая сущность и все свойства его поэзии совпали со свойствами, с сущностью русского народа». В конце своей весьма изящной, колоритной и образной речи, изобиловавшей множеством глубоких и новых, подчеркивавшихся аплодисментами слушателей замечаний, истолкований и мыслей, оратор высказал надежду, что «всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение любви к поэту, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком». Овация повторилась и еще сильнее предыдущего разыгралась, когда всем, всем без исключения одинаково дорогой и любезный писатель сошел с кафедры.

Его место занял другой, по наружности колосс — Яков Полонский, прочитавший свое стихотворение в честь Пушкина. Оно ошеломило слушателей красотою и гармониею. Стихи производили впечатление нежных и сладких аккордов на арфе. Слово тут сливалось с мелодиею, ласкало слух, восхищало его. Стихотворение начиналось так:

Пушкин!.. Это — возрождение
Русской музыки, воплощенье
Наших трезвых дум и чувств;
Это — не запечатленный
Ключ поэзии — священный
Для поклонника искусств.
Это — эллинов служенье
Красоте — проникновенье
В область Олимпийских муз,—
Это вещего баяна
Струнный говор... месть Руслана
За поруганный союз...

Это арфа серафима
В час, когда душа палима
Жаждой веры в небеса...
Это — шорох Нереиды
На заре, в волнах Тавриды...
И русалок голоса...
Это — в сумерках Украины
Прелесть чародейной тайны,—
Ночь и — Лысая гора...
Это — старой няни сказка,—
Это — молодости ласка...
Жажда правды и добра...

Зала была в восторге. Посвящение Полонского имело огромный успех. Читал, между прочим, и Писемский. Это было его последнее появление на эстраде. Его встретили очень тепло и дружно. Но ему уже серьезно нездоровилось, и он — прекрасный чтец, один из лучших, если не лучший чтец своего времени, — читал с некоторым усилием. Его сообщение рассматривало красоты пушкинского творчества и его величавую простоту. Оно было заключено отрывками из *«Капитанской дочки»*, при воспроизведении которых в Писемском сказался прежний мастер.

Наконец, пришел момент — это было уже на втором «чтении» — и для кульминационного подъема энтузиазма публики. Зала была переполнена. Особенно много собралось, несмотря

на вакационное время, молодежи. Она заняла хоры и все переходы. В креслах теснились как могли, так что на двух стульях сидело трое лиц. Пришла очередь Достоевского. Он взошел на кафедру взволнованный и бледный. В нем чувствовался вдохновенный, воинственно настроенный проповедник и фанатик, беззаветно верующий в себя, в свою миссию и свои откровения. Орган у Достоевского был от природы слабый, жидкий, но читал он, подобно Писемскому и Островскому, прекрасно — плавно и весьма выразительно. Зала вся ушла в слух и замерла. Разобрав деятельность Пушкина по периодам (трем) и с удивительною мощью анализа и проникновения осветив фигуры Алеко (в «Цыганах»), Евгения Онегина — тип русского скитальца, мучающегося мировую тоскою, которому, чтобы успокоиться, нужно всемирное счастье, и Татьяны, как «апофеоза русской женщины», Достоевский высказал, что Пушкин в третьем периоде своего творчества явился даже чудом. «В европейской литературе нет гения, который обладал бы такою отзывчивостью к страсти всего мира». Пушкин обладает этим даром, и в этом заключается его высокое значение как русского народного поэта. «Всемирность, общечеловечность — цель русской народности; стать русским — значит, в конце концов, стать братом всех людей, *всечеловеком*. Историческое призвание России — изречь слово примирения, указать исход европейской тоске. Пусть наша земля — нищая в экономическом отношении, но почему же не ей суждено сказать последнее, наивысшее слово истины? . . .»

Этот финал покрыт был невиданною у нас, беспримерною овацією. С уверенностью можно было сказать, что стены залы московского Благородного собрания никогда не оглашались такими рукоплесканиями. То, что произошло в наэлектризованной публике, трудно описать. Все вскочили с мест. Писатели, окружив лектора, лобызались с ним. Публика со всех сторон неудержимо рвалась к Достоевскому. Девушки, в состоянии, близком к истерике и экстазу, плакали, хватали Федора Михайловича за руки, целовали их. Все точно проснулось от какого-то волшебного сна, сполна завладевшего всем существом духа, и смотрели друг на друга с недоумением и умилением. Дальше идти в выражении оратору наибольшего восторга, в желании и намерении слиться с ним воедино было некуда. Достоевский стоял у кафедры недвижно, как изваяние. По-видимому, он не думал и не ждал, что так сильно всколыхнется это человеческое море. Очень взволнованный и очень бледный, счастливый и точно испуганный, он смотрел застывшим, неподвижным, действительно «внутренним» взором, который, казалось, никого не видел, ничего не замечал. Худошавая, костлявая рука его медленно растирала лоб, на котором выступили капли нервного пота. . .

СМЕРТЬ ПОХОРОНЫ

А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ

Это очень важное свидетельство второй жены писателя Анны Григорьевны Достоевской (1846—1918) буквально о последних днях, часах и минутах жизни великого русского писателя. Вот почему здесь необходим тщательный и подробный комментарий.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1881 ГОДА

Я подарила Федору Мих(айловичу) на Рождество 1880 г. за мес(яц) до его смерти — раму для Дрезд(енской) Мадонны.

В год нашей свадьбы портмоне с орденской лентой.

После приезда в Петерб(ург) бювар на стену.

1875 чернильницу и подсвечник.

1878 бронзов(ый) подсвечник.

Пред Пасхою 1880 раму для его черного портрета (он сам увидал).

Письменный стол.

Шкаф для книг 1878.

Продолгов(атый) стол орех(овый).

Серьги и брошь из янтаря 1874?

Подарки, привезен(ные) Федею из-за границы.

Пред свадьбой на именины браслет, в 1879 г. бинокль, Феде для черчения

в 1875 черную материю,

1876 черепах(овую) гребенку и веер и красный ящик для перчаток,

в 1878 из Москвы 6 рубашек от Море по 10 руб.,

в 1875 г. из Пет(ербурга) 3 руб(ашки) полотн(яные),

в 1878 г. 8-го декабря брилл(иантовые) серьги от Пантелеева.

в 1879 г. хотел(...) ¹.

1872 подарил серьги золотые с жемчугом к 30 августа.

На какое-то Рождество 1878? филигранов(ую) коробочку.

Вместе покупали черное барх(атное) больш(ое) пальто.

Красный платок, большой ковер, шкаф для вещей, буфет, мебель, красный фарф(оровый) сервиз (из 4 вещей и подноса).

Купили вместе большое кресло пред пис(ьменным) столом

Расшифровку стенографических записей из этой записной книжки нам помогла сделать стенографистка Ц. М. Пошеманская. Расшифрованные места даются в квадратных скобках, а пропущенные и восстановленные — в угловых.

(в день объявления войны), папин диван, на котором он умер. Этажерку мне.

Любил бронзов^{ые} небол^ьшие подсвечники и чернильницу.

Любил носить узенькие шелковые галстучки, прямые, без машинки и сам делал бант. Прежде, в первые наши годы, носил цветные широкие галстуки и любил ярко-красный цвет.

Называл цвет м а с а к а ². Не любил серого цвета и вообще неопредел^{енных} цветов. Хотел, чтоб я сделала себе ярко-зеленое платье, а про мои серые платья говорил, что цвет как заборы красят.

Про Лилю ³ часто говорил: я видел ее в первую минуту, когда она родилась, и тотчас же увидел, что она на меня похожа.

Про Соню ⁴ говорил, что она была очень хорошенькая.

Федя ⁵ родился 16 июля: Ф^едор М^ихайлович говорил, что дал себе слово, если Федя родился бы 15-го ночью, назвать его Владимиром.

Пред рождением Леши ⁶ мы не знали, как назвать его; я хотела назвать Иваном, а Ф^едор М^ихайлович Степаном, в честь родоначальника рода Достоевских ⁷.

Первым вопросом, когда он приходил пить кофе, был: «Где дети?»

Про Федю несколько раз говорил: «Если Федя умрет, я застрелюсь». Называл его, когда поднимал ночью: «У, батюшка! Какой ты тяжелый! Ишь, разоспался!». А если тот начинал говорить во сне, то Ф^едор М^ихайлович мигом приходил и говорил: «Ну, знаю, знаю, ишь разговорился». Иногда Федя, сидя [на горшке], начинал читать вслух Богородицу и читал ее до конца. Ф^едор М^ихайлович очень этому смеялся. Когда же Федя долго [не п^исал], то Ф^едор М^ихайлович говорил: «Ах, Федя, Федя!»

Обещал Феде свою щетку. «Я себе куплю новую, а эту подарю тебе, а ты чисти свое платье». Федор Мих^айлович ужасно был чистоплотен, чистил платье, когда его надевал, потом чистил, когда снимал его пред тем как повесить в шкаф.

Купил папиросы, которые набивал сам, смешивая два сорта. Саатчи и Мангуби Дивес средний и Лаферм. $\frac{1}{4}$ фунта 80 коп. После поездки в Москву на Пушкинское торжество он бросил папиросы и курил сигары, уверяя, что гораздо меньше теперь кашляет. Сигары были хорошие, дорогие, 25 штук 6 руб. и дороже. В Москве Лентовский ⁸ потчевал его сторублевой сотня, т. е. в один рубль.

Когда куда уезжал, то последнюю ночь был очень занят, именно разбирал бумаги, откладывал их в разные пачки, которые надписывал: «текущие», «неважные» и т. д. и очень заботился о том, куда положить свою рукопись; вообще же успокаивался лишь тогда, когда укладывал свой маленький чемодан. А в чемодан укладывал след^{ую}щее: ночная и дневн^ая рубашка, чулки и платки, свои галстуки и перчатки, туфли, пе-

пельницу, свои портсигары (в них ножницы и ножик), щетку, газеты. А в нижнем этаже всегда укладывал свои папиросы в жестян<ом> ящичке, свой эмский стакан и разные мелочи, подарки, которые привозил нам из-за границы.

Летом 1881 в ночь с 9 на 10 июля видела во сне, что у Федор<а> Мих<айловича> вдруг поседела голова. Я ему говорю: «Федя, посмотри, как ты поседел?» Он отвечает: «Неужели ты только теперь заметила, я давно поседел».

Еще раньше в Петерб<урге> видела, что он мертвый лежит на столе и покрыт золотою парчой; вдруг свеча падает и парча загорается, и я вижу, что огонь быстро пробирается и достигает бороды. Я понимаю, что загорается борода, с нею и все лицо, хочу кричать о помощи, но голосу нет и я в ужасе просыпаюсь.

Еще прежде на первой неделе, именно со вторника на среду после поездки к Вагнеру⁹, видела, что он сидит или лежит и вдруг подымается, вероятно, из гроба, но с таким странным лицом, что я закричала и долго продолжала кричать, пока не разбудила меня мама. Проснувшись, я спрашивала себя, чего же я испугалась и какое у него было лицо. Лиля, лежавшая рядом, как это ни странно, не слыхала моего отчаянного крика. Проснувшись на разговор, она стала спрашивать и, узнав, что я видела папу во сне, сказала, что она его тоже представляет, и что у него теперь печальное и темное лицо. Тут я разом поняла, что у папы было именно печальное и темное лицо.

Родился в Мариинской больнице в Москве, в правом флигеле, внизу, окно на двор, теперь там отделение для приходящих малолетних. Затем переехали в левый флигель, где и жили до отставки отца. Для Мих<айла>¹⁰ и Фед<ора> Мих<айловича> была темная комната, учились они в зале, где и сидели, уткнувши носы в свои книги. Но лишь только отец уезжал на практику, то бросали книги и шли к матери, которая всегда сидела в гостиной, и там все садились за круглый стол; дети читали что-нибудь вслух, а мать работала. Отец был угрюмый, нервный, подозрит<ельный>, ревнивый.

Рядом с Дост<оевскими> в правом флигеле жили Щуровские¹¹. За больницей есть огром<ый> тенистый сад, куда и ходил гулять Фед<ор> Мих<айлович>, пока не приобрели имение.

Нянька была Алена Фроловна, толстая, не старая еще женщина, рассказывала сказки про Остродума, очень хорошая женщина, чрезв<ычайно> любившая детей и их защищавшая от отца. Умерла в богадельне, куда ее поместили Куманины¹². Мать Ф<едора> М<ихайловича> умерла в 1837 г. 27 февр<аля>, а в апреле отец повез их в Петерб<ург>¹³. Отец умер в 1839 г. Сначала их всех учил Suchard, который потом переименовался в Драшусова, сделав свою фамилию наоборот Suchard-drachus-off, сыновья кот<орого> были пот<ом> известны. А затем Фед<ор> Мих<айлович> был помещен в пансион Чермака, ко-

т(орый) помещался на Басманной, рядом с Басманной частью, ныне г-на Алексеева.

По субботам ездили братья уроки из математики к Ламовскому¹⁴.

Пред поездкой в Петер(бург) Куманина свезла Мих(аила) и Фед(ора) Достоев(ских) на богомолье в Сергиев Посад и потом говорила, что они всю дорогу декламировали и читали ей стихи.

Сверстников бывавших не было.

Александра Николаевна¹⁵, старушка, рассказывала тысячу и одну ночь про Аль-Рашида, и когда начинала рассказывать, то дети так и не отпускали ее от себя.

Тише! Тише! Кричал он в Старой Руссе, когда очень шумели во время его сна.

Когда диктовал, то говорил «на другой строчке», «разговорно», «не разговорно». Восклицательный знак, вопросительный, знаки любил, чтоб ставили как можно ближе, решительно около самого слова, напр(имер) «дело» и всегда настаивал на этом.

Бывал очень доволен, когда продиктованное было готово к его вставанью.

Любил из Вал(ьтера) Скотта — Эдинбургскую темницу и Роб Рой. Из Диккенса Оливер Твист, Никльби, Лавка древностей. Теккерей не любил. Из Бальзака Кузен Понс, Кузина Бетта.

Прежде чем лечь спать, он долго приготавливался, часа два, именно сажал детей, поил их, ужинал, осматривал, заперты ли все двери, ходил [кое-куда, мыл зубы], проделывал гимнастику, молился, приготавливал воду, спички, свечку и часы недалеко от того места, где он спал, перестилал постель и затем уже ложился, закутываясь головой в простыню и покрываясь двумя одеялами, тканевым и байковым, а сверху накрывая старым пальто только ноги. Спал на спине, если спал на левом боку, то очень кашлял?

Любил советовать тереться медом с солью.

Корабль не круглый, не продолговатый, а четырехугольный, такой, чтоб ни за что плавать не мог. Дно должно быть непременно вогнутое. Машину устроить такую, чтоб отопление стоило не менее 100 тыс. в месяц. Чтоб на этот корабль пошло как можно более бронзы, малахиту. Пустить в море для доказательства Европе, что наше миролюбие. Но чтоб возить этот корабль, устроить по берегам желез(ную) дорогу и чтоб 9 паровозов возили его, а на время войны причалить к берегу. Этот корабль предназначался для перевезения посольства и кокоток высшего полета.

Боялся, что не пропустят¹⁶.

Не любил маленьких портретов. Дорогой, по жел(езной) дороге имел отличный аппетит и бывало непременно поужинает

и в Новгороде, и в Чудове. В вагоне дремал, а иногда и спал.

А ведь ты славная у меня, Аничка.

Для детской книжки: Неточка Незван(ова). Коля Красот(кин). Смерть Илюшечки. Мальчик у Христа. Мужик Марей. Столетняя. Маленький герой.

Боялся грустного впечатления.

Боялся, чтоб детей не раздавили.

А вот я хочу до Вас добратся.

На морозе у него кололи пальцы под ногтями, и это случилось при самом легком морозе. У Феди то же самое. За последнюю зиму с мороза у него иногда распухало лицо, вернее щеки.

У г л ь пылающий огнем он.

Глаголом ж г и сердца людей.

И по-те-кут богатства.

И в ы р в а л (как можно резче) грешный мой язык ¹⁷.

В четверг? ¹⁸ был Мих(аил) Мих(айлович) ¹⁹, просидел весь вечер, Фед(ор) Мих(айлович) был очень [недоволен], что он сидит. В пятницу был Поляков ²⁰, привез деньги, Фед(ор) Мих(айлович) был очень разговорчив. Вечером мы заговорили о том, куда ехать, и он говорил о мечтах.

В Детскую Книгу хотел Неточку, Колю Красоткина, Смерть Илюшечки, Мальч(ик) у Христа, Мужик Марей, Мален(ький) герой?

Но находил лишь, что впечатление на детей будет грустное.

Ничего не было труднее для него, как садиться писать, раскачиваться.

Писал чрезвычайно скоро.

Лилька-Килька любил ее называть.

Заваривал чай, сначала споласкивал чайник горячею водой, клал 3 ложечки чаю (причем непременно требовал «свою» ложку, она так и называлась «папиной ложечкой») и наливал лишь 1/3 чайника и закрывал салфеточкой; затем минуты через три дополнял чайник и тоже накрывал. И наливал чай лишь тогда, когда самовар переставал кипеть. Наливая себе чай, папа непременно смотрел на цвет чая, и ему случалось очень часто то добавлять чаю, то сливать в полоск(ательную) чашку чай и добавлять кипятком; часто случалось, что унесет стакан в свой кабинет и опять вернется, чтоб долить или разбавить чай. Уверял: «Нальешь чай, кажется хорош цветом, а принесешь в кабинет, цвет не тот». Клал два куса сахара.

В Подростке очень ценил сче(ну) — рассказ о сне.

В Идиоте.

В Карамаз(овых) Великого Инквизитора, смерть Зосимы, сцена Дмитрия и Алеши (рассказ о том, как Катерина Иван(овна) к нему приходила). Суд, две речи. Исповедь Зосимы, похороны Илюшечки. Беседа с бабами. Три беседы Ивана с Смердяков(ым), чорта.

Столетняя, Мальчик у Христа, Марей, рассказ Мармеладова.

Воскресенье, только что встал, как пришел Майков²¹, говорили об окончании Дневн<ика>²², о февральском Дневн<ике>, что хочет писать. О собрании, бывшем у Грота по поводу того, куда девать остаток от Пушк<инского> памятника²³. Пришел Орест Миллер²⁴, пришла Катерина Ип<п>олитовна²⁵. Затем разговор о перемене программы и о том, чтоб ему не читать Онегина²⁶, которого прочтет вместо него Герард²⁷ с <Лауниц>²⁸. Фед<ор> Мих<айлович> был недоволен, почти обижен, но затем мы стали его уговаривать, чтоб он выбрал другое, и он мало-помалу согласился. Выбрал <...>²⁹.

Ушел Майков, Фед<ора> Мих<айловича> вызвала я проститься с Катер<иной> Ип<п>ол<итовой>. Та ему сказала, что он будто сердитый. Он очень удивился и сказал ей: вот лучше не жить с людьми; тут Бог знает, как занят человек, ему тяжело и грустно, и люди тотчас придумают, что он сердится. Да ведь я пошутила, ответила ему К<атерина> И<пполитовна>. Затем пошел гулять до обеда, именно поехал в типографию отдать последний листок Дневника, прося завтра же прислать корректуру. Воротился в 1/2 7-го, мы в это время сходили на полчаса к Кашпиревой³⁰ и воротясь сели обедать. За обедом все время говорили о Пиквикс<ком> клубе, вспоминали все подробности, рассказывали ему, а затем я спросила, кто же был этот актер. Мистер Джингль³¹, сказал Фед<ор> Мих<айлович>. После обеда пошел пить свой кофей, а затем сел писать свое письмо к Каткову³², а написав, позвал меня и прочел его мне. Между прочим, он упомянул, что, может быть, это его последняя просьба, я на это со смехом сказала, что вот будешь писать опять Карамазов<ых>, опять будем просить вперед. Вечер ходил гулять, а затем [было дело]³³.

Читал детям Тараса Бульбу, Капитанскую дочку, Выстрел, Метель. Всего Репетилова прочел, Горе от ума, Бородино. Последнее он прочел детям Тамань. Летом он начал читать Разбойников Шиллера. Детям он никогда не читал из своего.

При отпевании служил литургию преосвященный Нестор, епископ Выборгский, архимандрит Симеон (наместник), (лично просил) и Дмитрий архимандрит³⁴.

На отпевании вышли: ректор дух<овной> акад<емии> Янышев, архимандрит Иосиф (дух<овный> цензор); ректор духовной семинарии (все эти три лица лично просили). Кроме них был иеромонах Вениамин, архидиакон Валериан и иеродиаконы Кирилл и Евгений.

В сослужении с викарием открыл святой водой. Любил он говорить, с [насмешкой], говоря о том, что делает наше высшее духовенство.

Папа читал детям «Бедность не порок». Перчатка Жуковского, летом 1880 г. Разбойники Шиллера, причем Феде очень

не понравилось, и он заснул и почему-то назвал это сосульками. Читал Тараса Бульбу, Капитанскую дочку. Самое последнее прочел Тамань.

Ф<едор> М<ихайлович> очень чтит Св. Тихона Задонского. Чувствительный жуир, в размере Баден-Бадена или Карлсруэ³⁵.

Любил лес, пусть все продают, а я не продам, из принципа не продам, чтоб не безлесить Россию. Пусть мне выделяют лесом, и я его стану растить и к совершеннолетию детей он будет большим.

В пятницу 23 янв<аря>, когда он выражал свою заботу о моем здоровье, я сказала ему: отпусти ты меня с детьми в Ревель, а сам поезжай в Эмс. Когда вернешься, то вместе и поедem доживать лето в Старую Руссу, на три недели, так как придется из-за детей раньше вернуться. — А, так ты так хочешь, ну так и поезжай, а у меня на лето были совсем другие мечты. — Какие же мечты, скажи мне. — А вот мои мечты: теперь у нас есть кой-какие деньги, да Дневник даст кое-что, наберется тысяч 12—15, мы и купим то подмосковное <имение>, о котором тебе писали прошлым летом. Чего не достанет, то я займу, право, займу, этак тысяч пять, если не здесь, то в Москве, напр<имер>, у Лаврова³⁶. Он даст мне наверно, и мы отлично их выплатим ему потом. Ну так поеду в Эмс, а ты поедешь в имение и будешь там хозяйничать, проживем до осени, а там сюда. Ты и дети отлично поправитесь.

Всегда мечтал об имении, но непременно спрашивал: есть ли лес? На пахоту и луга не обращал внимания, а лес, хотя бы небольшой, в его глазах составлял главное богатство имения.

Хотел купить в Тверской, Московской, Тульской, Орловской, Тамб<овской>, но ни за что ни в Курской, ни в Харьковск<ой>, ни в Малороссии. Не любил дуба, а любил листв<енный> лес, не расчищенный, а скорее запущ<енный>, разросшийся.

Фед<ор> Мих<айлович> с особенным чувством припоминал слова Лешеньки, сказанные им накануне его смерти: «Наш папа добий, он мне гостинцу дал».

Не любил, когда его спрашивали, как его здоровье, всегда сердился. Часто говорил: говорят про меня, что я угрюм и сердит, а они не знают того, что мне дышать нечем, что у меня воздуху не хватает, что я задыхаюсь. Я дышу как бы через платок.

Вы на меня сердитесь.

Когда?? спрашивал он удивленным тоном. [Когда я заваривала чай, он говорил мне]: «Ах, [как я несчастен]» таким милым тоном отчаяния, что я принималась его еще больше [целовать].

Когда мы поздно ложились, то он торопил: ложитесь скорей, когда же я буду заниматься? Теперь 11, два часа мне для при-

готовления, два на работу, и я просплю не более 7 час(ов).

Когда дети ложились спать, то кто-нибудь из них кричал: папа, Богородицу читать! Он приходил и читал над ребенк(ом) Б(огородицу) и затем говорил несколько ласковых слов, целовал в лоб или в губы и уходил, говоря: ну, спите, спите.

Любил икру, швейцарс(кий) сыр, семгу, колбасу, а иногда балык; любил иногда ветчину и свежие горячие колбасы. Всегда покупал на углу Владим(ирского) и Невского закуски и гостинцы и непременно заезжал к Филип(п)ову за калачом или за булкой к обеду, а иногда привозил детям баранков. Булку клал в карманы шубы, и иногда было очень трудно ее вытащить. Чай любил черный в 2 р. 40 и всегда его покупал у Орловского, против Гостиного Двора. Любил тульские пряники. Чтоб меня порадовать, приносил иногда мне копченого сига, а незадолго до своей смерти, недели за три принес миног.

Я требую от Лили цвета лица.

Таков ли я был расцветая. Отцветая, ты лучше, чем когда ты расцветал.

И я тоже сирота.

Любил, чтобы спички были наготове, любил совершенно черные чернила и хорошую толстую бумагу.

Я так хочу — одно из его слов.

Что она мне говорит? [Иногда бранился].

Говорил Феде: не смей ходить около лошади.

Любил пастилу белую, мед непременно покупал в посту, киевское варенье, шоколад (для детей), синий изюм, виноград, пастилу красную и белую палочками, мармелад и также желе из фруктов.

Пил красное вино, рюмку водки и перед сладким полрюмки коньяку. Любил очень горячий кофе, который бы кипел и с своей чашкой уходил в свою комнату, в левой руке неся подсвечники и салфетку, а в правой — чашку. Любил оставаться с своей чашкой некоторое время один и был недоволен, когда его в это время тревожили разговорами. Обед кончался в 7, и он любил до 8 или 1/2 9-го просидеть один, а затем одевался и шел гулять, или пройтись куда-либо, или же поехать куда-нибудь в гости; но в гости не любил приезжать позже 9 и самое позднее в 1/2 10-го. Сидел в гостях до 12, иногда до 1/2 1-го, ночью в час ночи непременно был дома. Переодевался очень долго в свое старое пальто.

Если кто заболел хоть немного, он говорил: доктора, доктора.

Это надо записать.

Посадить надо. Ах, Феденька, Феденька, какой ты тяжелый.

Обедать! Обедать!

Под Новый год, 30 и 31 дек(абря) он сводил счета по продаже в том году наших изданий и был донельзя доволен, если книги шли хорошо.

Когда был маленький, мать называла его Федашей.

Любил Сикст<инскую> Мадонну, Zinsgroschen Тициана и Золотой век Асис и Галатея, сам назвал Золот<ым> веком ³⁷. Не любил Гольбейнов<скую> Мадонну ³⁸.

Не свежа голова.

А вот я сам начну учить Вас арифметике (собрал учебники). [И когда Федя долго не писал, то Федор Михайлович говорил]: «Ах, Фединька, Фединька, как ты меня мучаешь». Прогонял детей прочь от самовара.

А вот я тебе прочту и прочел начало «Дневника». Не скучно ли, не есть ли тут повторение. Я сказала, что совсем не скучно, но что, разумеется, есть многое старое, что иначе и быть не может, так как он проводит свою идею о русск<ом> народе и о православии, что круг читателей у него новый и что для тех надо бы выяснить <...> ³⁹. Он остался очень доволен.

Любил, чтоб его слушали, когда [читает рукопись] и уж ничем другим в это время не занимались; малейший жест сердил и беспокоил его.

1-го января были в театре на Сидоркином деле ⁴⁰, очень был доволен.

Во вторник была Штакеншнейд<ер> ⁴¹, Орест Миллер, ходила за виноградом, ел икру с бел<ым> хлебом, пил молоко. Был Кошляков ⁴², а после него Бретцель ⁴³, разъехались. Ходил кой-куда, освежали комнату. Вечером Верочка ⁴⁴ и Павел Александр<ович> ⁴⁵. Рано легли, пил много лимонаду, сделанного мамой, часто.

Во вторник боялся, что съедят весь виногр<ад>, а когда принесли еще винограду, то просил меня есть.

Eugenie Grandet.

Февр<альский> выпуск Философу и о том, как они провалили классицизм ⁴⁶.

Единбургская темница, Роб Рой. Оливер Твист. Николас Никльби.

Во вторник вечером перед его сном я ходила наверх попросить господина не ходить, так как эта вечная ходьба очень его беспокоила. Господин перестал.

Вечером до Кошлякова диктовал мне письмо к Гейден с историею его болезни ⁴⁷.

Григорович ⁴⁸ в день смерти. Утром, пока я ездила в типогр<афию>, был Покровский ⁴⁹, потом Майков, Рыкачева ⁵⁰, Ор<ест> Милл<ер>, Кашпирева, Павел Алекс<андро-вич>. Мих<аил> Михайлович, Григорович, Майков и Анна Иванов<на> ⁵¹.

Когда я предложила ему, по совету Кошлякова, нанять студента для присмотра за ним, он согласился, но говорил, как я Вас разоряю.

Названия романов женские, на распутьи, на пути, на перекрестке, у пристани ⁵².

Если его что-либо очень затрудняло при переправках, то начинал ладонью левой руки сильно ерошить волосы на левом виске, снизу вверх.

Сидел облокотясь на кресло, положив правую ногу на левую и слегка потрясая ногой, засунув под колени левую руку.

Писаньки, у батюшка, Липа, когда Федя говорил ночью, ну знаю, знаю, все рассказал Федульчик.

Je vous aime tendrement, et moi saussi tendrissimo⁵³. Приходи, если хочешь. Eh bien⁵⁴. А l'instant(?). [Я хочу до тебя] добраться. Приходи-ка.

Кашлял очень [во время дела]. Я заметила ему.

Когда причастился, то стало легче и голове и груди, голова прояснилась.

[Иногда мне вдруг кричал из своей комнаты]: Ты спишь, нет, до свиданья, я тебя люблю. И я тебя также.

Евангелие⁵⁵. Ездил в типографию. Меня бы теперь хоронили. Сердился насчет чаю. Это раздражительность. Попроси, чтоб он приехал (Кошлаков).

Видишь, не удерживай⁵⁶. Диктовал Дневн<ик>, вычеркни, что найдешь возможным. Кто пришел. Прочти «Новое Время», что сказано обо мне, 2 раза⁵⁷. Не скучал.

Конец, конец, зальет⁵⁸. Если б моя прежняя мнительность. Читала «Новое Время». Вторник. Любопытствовал, кто приходит, продиктовал бюллетень⁵⁹.

Попросил зубы вымыть, завел часы, причесался, зачем я не в ту сторону.

О студенте взять его. Сколько на меня истратили. [Я причастился, исповедался, а все-таки не могу равнодушно подумать о сестрах]. Какие они несправедливые⁶⁰. Я поздравила его с принят<ием> Св. Таин., но он сказал, что еще не причащался, сомневался и спросил свящ<енника>, хорошо ли он сделал, что причастился, а вдруг он выздоровеет. Джой⁶¹, письмо Каткову⁶², Миллер, Майков, Катер<ина> Ип<п>олитовна, просил прощ<ения>, любил [уважал, изменял лишь мысленно, а не на деле], виноград алмерт и клюква в сахаре, киевское вар<енье>, чулки, панталоны.

Это была лишь раздражительность, не ветри<?>, какая мучительная длинная ночь, только теперь я понял, что еще кро-воиз<лияние>, и я могу умереть. Дай ему сигару.

В день смерти беспокоился о печке, хорошо ли ее закрыли, пусть Марья⁶³ придет. Ты еще не пообедала? [спросил это два раза].

Недружелюбно встретил незнак<омого> доктора⁶⁴. Не хотел звать Пашу⁶⁵, качал головой, чтоб тот не смотрел в щелку. Позвал Пашу, рассердился и отдернул руку, когда тот ее поцеловал.

Все деньги твои, нотариус подписал повестки, подписал доверенность (как бы не обидеть детей).

Автор воспоминаний — известный историк литературы Александр Корнильевич Бороздин (1863—1918), профессор петербургского историко-филологического института, автор популярных книг: «Литературные характеристики. Деятнадцатый век» (СПб., 1903—1907), «Учебная книга по истории русской литературы» (2-е изд. Пг., 1914) для 5—8 классов гимназий и «Многострадальная книга (Путешествие А. Н. Радищева из Петербурга в Москву)» (М., 1906). См. о нем: Русские писатели 1800—1917. Биограф. словарь. Т. I. М. 1989. С. 315—316.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Тридцать лет прошло уже с того дня, как мы, придя в школу¹, услышали о кончине Ф. М. Достоевского. Впечатление было чрезвычайно сильное: мы поняли, что от нас ушел человек совсем необыкновенный, такой, подобно которому мы указать в наше время никого не могли. Достоевский был для нас не просто великий писатель, это был учитель, к голосу которого мы в последние годы его жизни привыкли прислушиваться, как к властному слову, указующему единственно правильный путь жизни и деятельности. Мы жили в ту счастливую эпоху, когда еще действовал целый ряд виднейших писателей, создавших славу нашей литературы. Жив был Тургенев, которого только недавно чествовали в Москве при открытии памятника Пушкину, один из обаятельнейших художников слова, писатель, произведения которого чаровали нас своей музыкальностью и пластичностью; мы привыкли любоваться этим красивым старцем, видя его на редких литературных вечерах или встречая его каждый день во время его внутренней прогулки по Невскому пр., от Морской до Гостиного двора, но он оставался для нас только писателем и не был тем человеком, к которому мы шли бы за поучением, за словом, разрешающим для нас важнейшие жизненные вопросы. Рядом с ним были другие художники — Гончаров, Островский, Писемский, Майков, Полонский, но они стояли от нас еще дальше. Был, наконец, один из величайших мировых гениев, художников, который сразу покорял нас своей силой, Л. Н. Толстой, но в это время мы еще не видели в его созданиях отклика на те моральные и общественные запросы, которые нас волновали. Таким образом, Достоевский был для нас тем дорогим человеком, который каждым своим словом вызывал в нас целую бурю запросов, который отвечал на наши молодые порывы и открывал нам широкие горизонты нашей будущей общественной работы. Образ Коли Красоткина, представленный им в его последнем большом романе, был нам родной, и каждый из нас хотел подходить к этому прекрасному типу. . .

От этого учителя мы услышали в последние годы некоторые суровые уроки. Наши старшие товарищи, сознавая свой не-

оплатный долг перед народом, шли на служение ему, вступили в неравную борьбу с темными силами реакции, быть может, при этом доходили до крайностей и ошибок, и человек, когда-то пострадавший за свои политические убеждения, обращался к ним со словом, в котором звучало порой самое, по-видимому, резкое суждение. В ответ на горячие порывы наших старших товарищей мы слышали от Достоевского суровые слова: «Смирись, гордый человек», и в этих словах нам чуялась глубокая правда, особенно для нас, так как за редчайшими исключениями мы думали, что не народу у нас, а нам у народа следует учиться. Конечно, учиться у народа мы хотели именно тому нравственному пониманию целей жизни, которое, по словам нашего великого учителя, было в нем так высоко и сильно, что должно было содействовать нашему моральному возрождению, и с этой точки зрения для нас был полон живого смысла призыв, раздававшийся в одном из его последних «Дневников»: «Одному смирись, а другому гордись». Мы понимали, что нам надо смириться перед «правдой народной», но мы знали, что носитель этой правды находится в ужасном положении, несмотря на то, что недавно только вышел из рабского состояния. Ему служить, этому великому народу, полному высочайших нравственных запросов, этому нашему «сеятелю и хранителю», этому действительно «униженному и оскорбленному», и вместе с тем у него учиться — вот, казалось нам, к чему призывает нас Федор Михайлович, глубоко понявший наш народ во время своей каторги, и эта его каторга была для нас, пожалуй, лучшим подтверждением правды его вещего слова. Никогда не забыть мне того литературного вечера, на котором Федор Михайлович читал нам главу «Мальчики» из «Братьев Карамазовых»: перед нами на эстраде был человек, рассказывавший о нас самих, и наши лучшие порывы морально-общественного свойства находили освещение в словах этого пророка-художника.

И вот его нет! Трудно теперь передать то настроение, которое нами испытывалось, когда мы шли за его гробом. Мы хоронили самого для нас дорогого человека, и для нас еще не могла наступить пора серьезного критического отношения к его творчеству... Эта пора критики и научного исследования была далеко впереди. Теперь прошло уже 35 лет с этого момента, и такое научное исследование начинается: для нового поколения Достоевский уже имеет иное значение. Новое поколение уже не ищет в его произведениях ответа на запросы минуты, оно видит в нем такого же вождя духа, какими представляются другие мировые гении, и для этого поколения наступило уже время серьезной научной работы над произведениями нашего незабвенного учителя. В этой работе мы можем пожелать им успеха, при котором ярко выяснится истинный облик одного из величайших гениев, которых дала миру наша родина.

В Российской национальной библиотеке хранится архив Юлии Ивановны Фаусек (урожденной Андрусовой) (1863—1941?), известной деятельницы дошкольного воспитания, жены профессора зоологии Петербургского университета В. А. Фаусека. Это еще одно свидетельство человека, провожавшего в последний путь великого русского писателя.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОХОРОНАХ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Еще одно событие оставило по себе память навсегда. Это — похороны Достоевского 1 февраля 1881 года. Он умер в конце января (кажется, 28-го). Вся учащаяся молодежь перебивалась у него на квартире. И день, и ночь до самых похорон студенты и студентки дежурили у его гроба. Среди распорядителей похоронами был писатель Григорович. Помню, группа студенток, среди которых была и я, стояла на улице (Кузнечный пер.) у дома, где жил Достоевский, в ожидании распоряжений относительно порядка распределения молодежи на завтрашних похоронах. К нам подошел Григорович. Рассказывая, в каком порядке должны мы идти в процессии, он машинально схватил меня за пуговицу моего пальто и во все время своей речи тербил ее. Смешно вспомнить теперь, но тогда, придя домой, я отрезала эту пуговицу и спрятала в коробочку. Пуговица, которую держал писатель! (Я впервые увидела тогда живого писателя). Понятно, что она должна была покоиться неприкосновенной, а не изнашиваться на пальто. Только десять лет тому назад попалась мне, как-то случайно сохранившаяся, эта коробочка с пуговицей и двумя лавровыми листочками — одним из венка Достоевского, другим из венка Гаршину (я взяла их на память), и я сожгла ее в печке.

Помню, какое незабываемое впечатление произвели на меня похороны Достоевского. Тихо, торжественно подвигалась процессия, сопровождаемая массой народа, к Александро-Невской лавре. Никакой полиции, ни одного городского, ни конного, ни пешего. Студенты и студентки различных учебных заведений, держась за руки, образовали цепь вокруг всей процессии. Так и дошли до самых ворот лавры.

ЗАПИСКА НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА О ПОХОРОНАХ ДОСТОЕВСКОГО — ИЗ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ 1 ФЕВРАЛЯ 1881 г.

...Вчера принесли в Лавру тело покойного Достоевского, чтобы ныне отпеть и похоронить. Провожавшего народа было бесчисленное множество. Кажется, подвигся весь Петербург. Все учебные заведения — мужские, женские, высшие, нижние, разные общества, цехи и пр. и пр. и все с громаднейшими венками и надписями на высочайших шестах. Ход шел по Невскому; начался в 10 часов и едва к 4-м добрался до Лавры. И дарям таких почестей еще не оказывали! Дай Бог, чтобы за этой церемонией не крылось чего-нибудь посерьезнее венков и надписей.

В разделе «Счастливый брак. Литературные выступления. К последней вершине» в настоящем издании опубликованы воспоминания писателя Александра Васильевича Круглова (1853—1915) «Простые речи».

ПЕСТРЫЕ СТРАНИЧКИ

(Из литературных воспоминаний)

Ужасное известие: «умер Достоевский» поразило меня, как громом, и на время, что называется, подшибло крылья. . . Мало зная как человека, я безгранично любил Ф. М. как писателя, можно сказать, я его любил более всех. . .

Не меня одного поразила смерть Достоевского. Все почувствовали страшную потерю. Для многих, по верному выражению Н. Н. Страхова, со смертью Достоевского сошла в могилу огромная доля, чуть не половина наличной литературы. Сколько было людей, для которых эта утрата была незаменима. Достоевский именно не был просто частью петербургской литературы, а скорее ее противовесом, контрастом. Он не был поклонником минуты, не плыл по ветру, а всегда являлся писателем независимым, следовал своим собственным мыслям. Он не потворствовал модным направлениям, ходячему литературному настроению. Это верно, и за это-то многим он был дорог, за это-то и я любил его безгранично.

Никогда еще не хоронили писателя так торжественно, как Достоевского. Это было явление, которое действительно всех поразило. Самые горячие поклонники великого романиста не ожидали того, что произошло. Проводить останки писателя, которого считали когда-то ретроградным, которого обливали ушами грязи либералы из «Дела», собралась многотысячная толпа. В погребальной процессии, при выносе гроба из квартиры в церковь Святого Духа, в лавре, было несено около 70 венков, пели 15 хоров певчих. «Каким образом составила такая громадная манифестация?» — спрашивает Страхов. Очевидно, она составила вдруг, без всякой предварительной агитации, без всяких подготовлений, уговоров и распоряжений, потому что никто не ожидал смерти Достоевского, и время было очень короткое для каких-либо обширных приготовлений. . . Создалось все вдруг, ибо смерть учителя поразила всех, заставила смолкнуть другие соображения и отозвалась в душе русских людей. Умер не только романист-художник, но и учитель!

Масса провожавших была разнообразна. Тут были люди различных классов, возрастов и взглядов. Много, очень много молодежи, которой не льстил усопший, а горячо нападал на ее

заблуждения, любя ее всем сердцем. Лучшие из молодежи это уже поняли, ценили и также горячо любили его.

Да, это были «национальные русские проводы национального русского писателя». Не кружок провожал своего человека, а вся Россия — своего писателя и наставника. Двадцатитысячная толпа народу шла за гробом; погребальная процессия растянулась на две версты. Гроб несли на руках почитатели покойного и его сотоварищи-писатели. Целая аллея венков, высоко поднятых, терялась вдаль. Это было море зелени. Из венков выдавались особенно: венок от инженерного училища, от «Славянского общества» и от «Русской речи». От инженерного училища, где учился Достоевский, был роскошный венок, на верху которого качался широкий пальмовый лист. На роскошном венке от «Славянского общества» была надпись: «Русскому человеку»; к венку с обеих сторон примыкала гирлянда длиною в 30 сажень; она окружала гроб и неслась на траурных шестах.

От «Русской речи» мы (я и Л. К. Попов, деятельный сотрудник журнала) несли большую трехцветную русскую хоругвь, из оранжевого, белого и черного цветов с большим лавровым венком, с надписью посередине «Достоевскому», а внизу «От редакции журнала „Русская речь“».

Хоругвь была очень тяжела, и нам нести ее было трудно. На помощь явилось много охотников.

В церкви наша хоругвь была внесена на хоры и поставлена так, что она сверху осеняла гроб Достоевского. Это вышло очень торжественно и знаменательно. Мне невольно вспомнился тот момент, когда на Пушкинском празднике Достоевский взошел на кафедру, а сзади его, как рамку, держали венок. Тогда венчали живого Достоевского, а теперь венчали его мертвого — та же Россия.

Я не буду описывать подробно похорон — кто не помнит этого? Но нельзя не отметить еще раз того порядка, какой царил все время, несмотря на многотысячную толпу и на то, что «полиции совсем почти не было». С свинцовой тяжестью на сердце возвращался я с похорон, с сознанием, что не скоро будет другой, который заменит нам Достоевского.

ПРИМЕЧАНИЯ

ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ

З. А. ТРУБЕЦКАЯ

ДОСТОЕВСКИЙ И А. П. ФИЛОСΟФОВА

Впервые эти воспоминания напечатаны С. В. Беловым в журнале «Русская литература», 1973, № 3. С. 116—118. В настоящем издании печатаются с уточнениями. Вторая часть воспоминаний З. А. Трубецкой — запись бесед с ней автора этих строк в Париже в июне 1991 г. — публикуется впервые.

¹ Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940, Отвоцк, под Варшавой), известный критик и публицист.

² Письмо Н. Н. Страхова к Л. Н. Толстому от 28 ноября 1883 года (см.: *Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым*. Т. 2. СПб., 1914. С. 307—310). Историю этой клеветы Страхова подробно исследовал и убедительно опроверг В. Н. Захаров в своей книге «Проблемы изучения Достоевского» (Петрозаводск, 1978), хотя она и не нуждается в опровержении, так как «гений и злодейство — две вещи несовместные».

³ Осенью 1879 г. А. П. Философова была выслана из России и выехала вместе с семьей в Висбаден. Александр II сказал ее мужу: «Ради тебя она выслана за границу, а не в Вятку» (*Сборник памяти А. П. Философовой*. Т. I. Пг., 1915. С. 334).

⁴ Сохранилось 5 писем Достоевского к А. П. Философовой.

⁵ Тыркова Ариадна Владимировна (1869—1962), писательница.

⁶ Владимир Дмитриевич Философов (1820—1894), статс-секретарь, главный военный прокурор, член Государственного совета, муж А. П. Философовой.

⁷ См. об этом: М. С. Альтман «Еще об одном прототипе Федора Павловича Карамазова» // Вопросы литературы, 1970, № 3. С. 252—255.

⁸ См. примеч. 1.

⁹ Алеша Достоевский умер в 1878 г. в трехлетнем возрасте от припадка эпилепсии.

В. М. КАЧЕНОВСКИЙ

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

Печатаются по газете «Московские ведомости», 1881, 31 января, № 31.

¹ Михаил Тимофеевич Каченовский (1775—1842), историк, с 1837 г. — ректор Московского университета, с 1841 г. академик, в 1805—1830-е гг. — редактор «Вестника Европы».

² Профессор Московского университета, математик, астроном Дмитрий Матвеевич Перевошиков (1790—1880).

³ Адъюнкт римской словесности Московского университета и магистр словесных наук, известный филолог, автор трудов по античной и древней русской литературе, в том числе «Теории русского стихосложения» (1837).

⁴ Клавдий Маркович Романовский, учитель географии и истории, надворный советник, «любимец класса», преподавал «по старинному, в зубрежку: отсюда — досюда» (А. М. Достоевский. Воспоминания. Л., 1930. С. 117).

⁵ Александр Михайлович Ламовский (или Ломовский; ум. в 1893 г.), товарищ Ф. М. Достоевского по пансиону Л. Чермака. Г. А. Федоров предполагает, что, возможно, под воспоминаемым Аркадием Долгоруким в романе «Подросток» товарище его по гимназии Лавровском подразумевается Ламовский (Г. А. Федоров. Пансион Л. И. Чермака в 1834—1837 гг. (по новым материалам)//Достоевский. Материалы и исследования. Т. I. Л., 1974. С. 250).

⁶ Мильтгаузен Федор Богданович (1820—1878) стал профессором Московского университета, специалистом по финансовому праву.

⁷ Александр Данилович Шумахер (1820—1898), ставший впоследствии сенатором, вспоминал о пансионе Л. Чермака: «По окончании домашнего учения, под руководством отца, я поступил в средние классы одного из лучших в то время в Москве частных пансионов с полным гимназическим курсом и даже обоими древними языками, именно в пансион, содержавшийся чехом Чермаком. Там я имел сверстниками несколько воспитанников, получивших впоследствии более или менее громкую известность» (Шумахер А. Д. Поздние воспоминания о давно минувших временах//Вестник Европы, 1899, № 3. С. 94).

⁸ Ошибка. В эти годы у Л. Чермака учился старший сын Д. М. Перевошикова — Василий (см.: Г. А. Федоров. Пансион Л. И. Чермака в 1834—1837 гг. (по новым материалам)//Достоевский. Материалы и исследования, т. I. Л., 1974. С. 248).

⁹ Неточно. Это было в 1837 г.

АРЕСТ. ЭШАФОТ. КАЗНЬ

В. А. ПИНЧУК

ИЗ ЖИЗНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Печатается по газете «Киевский листок», 1881, 11 февраля, № 12.

¹ См. газ. «Русь», 7 февраля, № 13.

² Достоевский был арестован в апреле 1849 г.

³ Адрес точный, но дом принадлежал Шиллю.

⁴ Это абсолютно противоречит рассказу самого Ф. М. Достоевского о своем аресте, который он записал 24 мая 1860 г. в альбом дочери своего друга А. П. Милюкова О. А. Милюковой: «Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 год) я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час, я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные

и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатичный голос: «Вставайте!».

Смотрю: кварталный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами.

— Что случилось? — спросил я, привстав с кровати.

— По повелению...

Смотрю: действительно «по повелению». В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля... «Эге! да это вот что!» — подумал я.

— Позвольте же мне... — начал было я...

— Ничего, ничего! одевайтесь... Мы подождем-с, — прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться; не много нашли, но все перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности: он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер, по его приглашению, стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было.

На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и наконец кивнул подполковнику.

— Уж не фальшивый ли? — спросил я...

— Гм... Это, однако же, надо исследовать... — бормотал пристав и кончил тем, что присоединил и его к делу.

Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее, Иван... (Достоевский. Полн. собр. соч. Т. 18. Л., 1978. С. 174—175).

⁵ Это было в декабре 1849 г.

ИВ. ВУИЧ

ДНЕВНИК

Печатается по газете «Порядок», СПб., 1881, 18 февраля, № 48.

¹ Ошибка. К смертной казни были приговорены все петрашевцы.

² Неточно. В Сибирь отправился сразу один М. В. Петрашевский.

А. Н. ПЛЕЩЕЕВ

[ВОСПОМИНАНИЯ]

Печатается по газете «Молва», СПб., 1881, 19 февраля, № 50.

¹ А. И. Пальм был освобожден прямо на плацу, лишь с переменой гвардейской службы на армейскую.

И. АР-ЕВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

Печатается по газете «Петербургский листок», 1881, 31 января (12 февраля), № 22.

¹ Петр Андреевич Карепин (1796—1850), муж сестры Ф. М. Достоевского, Варвары Михайловны, опекун детей М. А. Достоевского.

² Чиновник особых поручений в министерстве внутренних дел И. П. Липранди (1790—1880), предложивший провести операцию по разоблачению революционного кружка петрашевцев. См. о нем: Н. Я. Эйдельман «Где и что Липранди?»//Пути в неизвестное. М., 1972. Сб. 9. С. 125—158; Ю. М. Курочкин. Приключения «Мадонны»; Страницы краеведческих поисков. Свердловск, 1973. С. 35—58.

³ Федор Петрович Гааз (1780—1853), русский врач, главный врач московских тюрем (с 1828 г.), добился улучшения содержания заключенных, организации тюремной больницы (1832), школ для детей арестантов. Ф. П. Гааз мог послужить первым толчком к созданию образа бескорыстного Льва Николаевича Мышкина, т. к. Достоевский в романе «Идиот» называет его имя, а в черновиках к «Преступлению и наказанию» с именем Гааза связывается проблема нравственного идеала. См. о нем: А. Ф. Кони. Доктор Ф. П. Гааз.//Вестник Европы, 1887, № 1; И. Т. Тарасов. Друг несчастного человечества. М., 1909.

⁴ Ошибка. К расстрелу.

⁵ Михаил Николаевич Муравьев (1796—1866), граф, государственный деятель, в 1857—1861 гг. министр государственных имуществ, в 1863—1865 гг. генерал-губернатор Северо-Западного края.

⁶ Возможно, это относится к периоду увлечения Достоевского А. П. Сусловой, но в целом это неверная оценка «нравственного состояния» писателя в послекаторжный период.

⁷ Тоже неверно — см., например, «Воспоминания» А. М. Достоевского (Л., 1930), но, возможно, слова эти объясняются тем, что Достоевский рано потерял мать и отца.

КАТОРГА

М. Д. ФРАНЦЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ

Печатается по журналу «Исторический вестник», 1888, № 6. С. 628—630.

¹ Неточно. Достоевский, С. Ф. Дуров и И. Л. Ястржембский прибыли позже.

² Наталья Дмитриевна Фонвизина (1805—1869), жена декабриста М. А. Фонвизина, последовавшая за ним в Сибирь, по одной из версий послужила А. С. Пушкину прототипом Татьяны (см.: С. Кайдаш. Сильнее бедствия земного. М., 1983. С. 109—129). В 1850 г., находясь на поселении в Тобольске, добилась свидания с находившимися в пересыльной тюрьме петрашевцами (об этой незабываемой встрече Достоевский вспоминал в «Дневнике писателя» за 1873 год). Фонвизина через знакомых в Омске поддерживала переписку с Достоевским и С. Ф. Дуровым (см. о ней в Литнаследстве. Т. 60. Кн. 1. С. 615—628).

³ Генерал-губернатор Западной Сибири в 1850—1853 гг. князь П. Д. Горчаков (1789—1868).

⁴ Иван Викентьевич Ждан-Пушкин (1813—1872), генерал-майор, с 1842 по 1862 г. инспектор классов в Сибирском кадетском корпусе в Омске, где познакомился с Достоевским и оказывал ему всевозможную помощь, стараясь облегчить его участь (см. о нем: *М. М. Громыко. Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского. 1850—1854 гг. Новосибирск, 1985*).

⁵ Иван Иванович Троицкий, старший доктор военного госпиталя, сделавший необычайно много для облегчения участи Достоевского на каторге. Писатель П. К. Мартыанов оставил следующий портрет этого человека: «Иван Иванович Троицкий [...], топором срубленный и лыком сшитый человек, действительно вполне достоин был порученного ему места. Он начал службу ординатором в одном из госпиталей новгородского военного поселения (кажется, в Старой Руссе) и во время бунта поселян, в 1831 году, избежал смерти по любви к нему подчиненных солдат; он переоделся в солдатское платье и три дня исполнял, вместе с другими нижними чинами, обязанности госпитального служителя. Затем, перейдя на службу в Западную Сибирь, он достиг высокого положения штаб-доктора, благодаря своим заботам, попечительности и гуманному отношению ко всем больным без исключения, начиная с высшего начальства и кончая последним арестантом-преступником. Доброта его доходила до того, что тем же самым поселянам, которые искали его смерти в 1831 году и, по отбытии наказания, были сосланы в Сибирь, он платил при первой к тому возможности облегчением их участи и посильной помощью» (*П. К. Мартыанов. Дела и люди века: Орывки из старой записной книжки. СПб., 1896, т. 3. С. 279*). О Троицком см. также: Вайнерман В. Достоевский и Омск. Омск, 1991.

А. М. [А. И. МАРКЕВИЧ]

К ВОСПОМИНАНИЯМ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ (РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА)

Печатается по газете «Одесский вестник», 1881, 18/30 марта, № 60.

¹ Речь идет о воспоминаниях о Достоевском его друга А. П. Милюкова, которые начали печататься в № 3 «Русской старины» за 1881 г.

² Декабристы Николай Сергеевич Бобрищев-Пушкин (1800—1871) и Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин (1802—1865).

³ Достоевского привезли в Тобольск 11 января 1850 г.

⁴ После каторги и ссылки петрашевец Феликс Густавович Толль (Толь) (1823—1867) стал писателем, педагогом и критиком детской литературы (см. о нем: *Б. Козьмин. Литература и история. М., 1969. С. 184—225*).

В. АБЕЛЬДЯЕВ

ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Печатается по газете «Московские ведомости», 1891, 29 января, № 29.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ
(СО СЛОВ А. ЮЖНОГО)

Печатается по газете «Кавказ», Тифлис, 1882, 13 февраля, № 40; 14 февраля, № 41.

¹ Берг — владелец разнообразных петербургских аттракционов. Ср. в романе Достоевского «Преступление и наказание»: «...Говорят, Берг в воскресенье в Юсуповом саду на огромном шаре полетит...»

² Речь идет о польских повстанцах.

³ Василий Григорьевич Кривцов (1804—1861), плац-майор омского острога, изображенный Достоевским в «Записках из Мертвого дома» под прозвищем «Восьмиглазый». В первом письме к брату после выхода из Омского острога Достоевский писал о Кривцове: «Каналья, каких мало, мелкий варвар, сутяга, пьяница, все, что только можно представить отвратительного» (см. о нем в кн. В. Вайнермана «Достоевский и Омск». Омск, 1991).

⁴ В письме к младшему брату писателя Андрею Михайловичу от 16 февраля 1881 г. друг молодости Достоевского врач А. Е. Ризенкамф также утверждает, что плац-майор Кривцов «подверг его телесному наказанию». Однако анализ других, совершенно разнотипных свидетельств позволяет со всей определенностью утверждать, что Достоевский на каторге все же не подвергался телесному наказанию (см. об этом: М. М. Громыко. Сибирские знакомые и друзья Ф. М. Достоевского. 1850—1854 гг. Новосибирск, 1985). Свидетельство А. К. Рожновского о том, что Достоевский подвергался на каторге наказанию розгами, опровергает также старший адъютант Омского корпусного штаба Н. Т. Черевин (см. «Русская старина», 1889, № 2. С. 318).

О. А. НОВИКОВА

ДЕПУТАТ ОТ РОССИИ. ВОСПОМИНАНИЯ И ПЕРЕПИСКА. 1880—1885

Печатается по журналу «Русская старина», 1913, № 11. С. 379—380.

¹ Английский журналист, биограф О. А. Новиковой. См.: В. Стэд. Депутат от России. Воспоминания и переписка О. А. Новиковой. Пер. с англ. Пг., 1916.

² Карлейль Томас (1795—1881), английский историк и философ.

³ Достоевский родился в 1821 г.— умер в 1881 г.

⁴ Старший брат писателя М. М. Достоевский, тоже посещавший «пятницы» Петрашевского, в результате следствия и показаний Ф. М. Достоевского был признан невиновным и отпущен на свободу, хотя негласный надзор за ним сохранялся до конца жизни.

Н. М. ЯДРИНЦЕВ

ДОСТОЕВСКИЙ В СИБИРИ

Печатается по «Сибирскому сборнику», 1897, вып. IV. СПб., 1897. С. 397—399.

ССЫЛКА. ПЕРВЫЙ БРАК.

Н. Ф. КАЦ

[ВОСПОМИНАНИЯ]

Печатается по газете «Степной край», Омск, 1896, 17 марта, № 21 — статья К. «Заметка о пребывании Ф. М. Достоевского в Семипалатинске».

¹ Речь идет о Н. Ф. Каце. См. далее «Заметку о жизни Достоевского в Семипалатинске» и работу А. В. Скандина «Достоевский в Семипалатинске».

Н. ЯКОВЛЕВ

ЗАМЕТКА О ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

Печатается по газете «Сибирь», СПб., 1897, 11 июля, № 80.

¹ Точнее Хоме(я)нтовский Михаил Михайлович, бригадный генерал, с 1859 г. начальник провиантской комиссии во Владимире. См. о нем: А. Е. Врангель «Воспоминания о Достоевском в Сибири. 1854—56 гг.». СПб., 1912. С. 29—30.

² Г. Белих(к)ов, подполковник, командир 7-го линейного Сибирского батальона, в котором Достоевский служил рядовым, много сделавший для облегчения участи писателя. Растратив батальонные деньги, Белихов застрелился (см.: А. Е. Врангель «Воспоминания о Достоевском в Сибири. 1854—56 гг.» СПб., 1912. С. 25—26). Возможно, Белихов послужил первым толчком к созданию образа Дмитрия Карамазова.

³ Николай Никифорович Коври(ы)гин (1809—?), подполковник, горный ревизор при военном губернаторе Западной Сибири. О его взаимоотношениях с Достоевским см.: В. Ф. Гришаев. К пребыванию Достоевского на Алтае//Достоевский. Материалы и исследования, т. VI. Л., 1985. С. 195—196.

⁴ Ссылный поляк Карл Иванович Ордынский стал затем казначеем 7-го линейного Сибирского батальона в Семипалатинске.

⁵ Достоевский венчался с Марией Дмитриевной Исаевой (1824—1864) в Кузнецке в феврале 1857 г.

⁶ Это противоречит «Воспоминаниям о Достоевском в Сибири. 1854—56 гг.//Две любви Ф. М. Достоевского». СПб., Андреев и сыновья, 1992.

⁷ Эпизод, вошедший в роман «Идиот», с князем Львом Николаевичем Мышкиным.

Н. В. ФЕОКТИСТОВ

ПРОПАВШИЕ ПИСЬМА ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА ДОСТОЕВСКОГО

Печатается по журналу «Сибирские огни», 1928, № 2. С. 119—125.

¹ См. далее в наст. изд. воспоминания Б. Г. Герасимова.

ВСТРЕЧА С ДОСТОЕВСКИМ

(ИЗ МОИХ ПОЕЗДОК ПО АЗИАТСКОЙ РОССИИ)

Печатается по газете «Туркестанские ведомости», Ташкент, 1893, 14 (26) февраля, № 12.

¹ Петрашевец Рафаил Александрович Черносивтов (1810—1868) по конфирмации был отправлен в Кексгольмскую крепость.

² Густав Христианович Гасфорт(д) (1794—1874), генерал-губернатор Западной Сибири (1851—1860) и командующий отдельным Сибирским корпусом, с 1861 г.—член Государственного совета. См. о нем: Бабков И. Ф. Воспоминания о моей службе в Западной Сибири: 1859—1875. СПб., 1912; Семенов-Тянь-Шанский П. П. Путешествие в Тянь-Шань. М., 1958.

³ Стихотворение, начинавшееся словами «Когда настала вновь для русского народа/Эпоха славных жертв двенадцатого года», известно под заглавием «На первое июля 1855 года» (Первое июля 1855 г.—день рождения императрицы Александры Федоровны).

⁴ См. это стихотворение в Полн. собр. соч. Т. 2. Л., 1972. С. 407—408.

⁵ Стихотворение было передано через Г. Х. Гасфорта военному министру с просьбой «повергнуть его к стопам ее Императорского Величества вдовствующей Государыне Императрице» (Литнаследство. Т. 22—24. С. 711).

⁶ Коронация Александра II.

⁷ См. примеч. 5.

П. М. КОШАРОВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ДОСТОЕВСКОМ

Печатается по газете «Томский листок», 1897, 10 августа, № 172.

¹ См. об этом книгу П. П. Семенова-Тянь-Шанского «Путешествие в Тянь-Шань» (М., 1947).

² См. о нем в кн. А. Е. Врангеля «Воспоминания о Достоевском в Сибири. 1854—56 гг.»//«Две любви Ф. М. Достоевского». СПб., Андреев и сыновья, 1992.

³ Точнее Хоментовский.

⁴ Здесь и далее неточно дается фамилия М. В. Петрашевского.

⁵ 22 декабря 1849 г. на Семеновский плац привезли 21 петрашевца, приговоренных к расстрелу. См.: Б. Ф. Егоров. Петрашевцы. Л., 1988. С. 193.

⁶ Сразу после казни в Сибирь отправили одного Петрашевского.

А. В. СКАНДИН

ДОСТОЕВСКИЙ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

Печатается по журналу «Исторический вестник», 1903, № 1. С. 202—216.

¹ Артем Иванович Гейбович (умер в 1865 г.), ротный командир 7-го линейного Сибирского батальона, непосредственный начальник Достоевского. Отношения Достоевского с Гейбовичем носили дружеский характер (см.

воспоминания дочери Гейбовича З. А. Сытиной о знакомстве ее отца с Достоевским в «Историческом вестнике», 1885, № 1). О Гейбовиче см.: Н. П. Ивлев. И оживают биографии. Записки краеведа. Алма-Ата, 1983. С. 167—178.

² Большой почитатель Достоевского журналист, писатель и переводчик Михаил Андреевич Загуляев (1843—1900) посвятил ему рассказ «Бедовик» («Русский мир», 1861, № 94) и повесть «Скороспелки» («Огонек», 1880, № 46—52).

³ В 1857 г. Достоевский, рекомендованный М. Н. Каткову в его журнал «Русский вестник», начал переговоры с ним о напечатании «большого романа», однако роман не был написан.

⁴ В 1859 г. в журнале Г. А. Кушелева-Безбородко «Русское слово» была напечатана повесть Достоевского «Дядюшкин сон». Р. Г. Назиров предполагает, что благодаря своей щедрости и благотворительности, Кушелев-Безбородко некоторыми личными чертами послужил прототипом князя Мышкина в «Идиоте» («Русская литература», 1970, № 2, С. 115—120).

⁵ См. «Исторический вестник», 1885, № 1.

⁶ Рассказ «Маленький герой» (первоначальное название «Детская сказка») создавался в Петропавловской крепости.

⁷ Александр Карлович Дометти.

Б. Г. ГЕРАСИМОВ

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

Печатается по газете «Русская речь», Новониколаевск, 1919, 22 февраля, № 38.

¹ Точнее Хоментовским.

² В замужестве Мамонтова.

³ А. Е. Врангель подробно рассказывает об этом в своей книге «Воспоминания о Достоевском в Сибири. 1854—56 гг.» (СПб., 1912).

⁴ Неточно. В 1857 г. Достоевскому было 36 лет, а М. Д. Исаевой — 33 года.

⁵ Точнее Лепухина.

⁶ Точнее Бахиревых.

Б. Г.-в [Б. Г. ГЕРАСИМОВ]

ДОСТОЕВСКИЙ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

[СТАТЬЯ ПЕРВАЯ]

Печатается по журналу «Сибирские огни», 1924, № 4. С. 140—150.

¹ Речь идет о книге друга Достоевского, писателя и критика Александра Петровича Милюкова (1817—1897) «Литературные встречи и знакомства». СПб., 1890.

² Ошибка. Не с родителями Достоевского, а с его родными.

³ Неточно. Достоевский познакомился с Чоканом Валихановым в Омске.

⁴ Неточно. Автором книги «Сибирь и ссылка» (название подлинника «Сибирь и система ссылки», 1891) был американский журналист Джордж Кеннан (1845—1924).

Б. Г.-в [Б. Г. ГЕРАСИМОВ]

ДОСТОЕВСКИЙ В СЕМИПАЛАТИНСКЕ

[СТАТЬЯ ВТОРАЯ]

Печатается по журналу «Сибирские огни», 1926, № 3. С. 124—144.

¹ Новые данные об отце М. Д. Исаевой Д. С. Константе см. в статье Н. И. Левченко «Круг семипалатинских знакомых Ф. М. Достоевского (1854—1859)»//Достоевский и современность (Материалы Достоевских чтений). Семипалатинск, 1989. С. 77—78.

² Новые данные о нем см. в указанной выше работе Н. И. Левченко.

³ Вергунов перевелся учителем в Семипалатинск в августе 1857 г.

⁴ Э. И. Тотлебен был генерал-адъютантом.

⁵ Речь идет об Артуре Гергее (1818—1916), главнокомандующем венгерской национальной Армией в период революции в Венгрии 1848—1849 гг.

⁶ Это не совсем объективная характеристика Г. Х. Гасфорта, во всяком случае, по отношению к Достоевскому. Именно Гасфорт ходатайствовал о производстве Достоевского в унтер-офицеры, прапорщики и об отставке его.

⁷ Б. Г. Герасимов несколько утрирует быт Семипалатинска тех лет. О культурном фоне Семипалатинска времен ссылки Достоевского см.: И. Стрелкова «О Семипалатинске подробнее...»//Огонек, 1985, № 11, 12.

В. Ф. БУЛГАКОВ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В КУЗНЕЦКЕ

Печатается по газете «Сибирская жизнь», Томск, 1904, 10 октября, № 221.

¹ У М. Д. Исаевой был один сын — Паша Исаев.

² Это неточно. Венчание было в 1857 г., а Достоевский родился в 1821 г., а М. Д. Исаева — в 1824 г. См.: Л. И. Иванова. Новые сведения о первой жене Ф. М. Достоевского//Сов. архивы, 1991, № 6. С. 89—90.

ПЕРВАЯ ВЕРШИНА. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

А. И. МАРКЕВИЧ

ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Печатается по газете «Одесский вестник», 1881, 10 (22) февраля, № 32.

¹ Речь идет о живущем в Москве муже сестры Достоевского Веры Ми-

хайловны Александре Павловиче Иванове (1813—1868). Скорее всего, эта встреча произошла во второй половине июня 1861 г., когда Достоевский на десять дней ездил в Москву.

Н. Н. ФИРСОВ

В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «РУССКОЕ СЛОВО»

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ШЕСТИДЕСЯТНИКА)

Печатается по журналу «Исторический вестник», 1914, № 6. С. 897—899.

¹ Это могло быть позже, в 1860-е гг., т. к. в конце 1858 или в начале 1859 г. Достоевский был еще в Семипалатинске.

² Достоевский начал ездить в Старую Руссу с 1872 г.

³ Речь идет о журналисте и публицисте Григории Евлампиевиче Благосветлове (1824—1880).

⁴ Имеются в виду высказывания Д. И. Писарева об утилитарной роли искусства, отрицавшего «чистое искусство» и считавшего, что «сапоги выше Пушкина».

Н. Ф. БУНАКОВ

ЗАПИСКИ. МОЯ ЖИЗНЬ, В СВЯЗИ С ОБЩЕРУССКОЙ ЖИЗНЬЮ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ. 1837—1905

Текст печатается по отдельному изданию книги Н. Ф. Бунакова. СПб., 1909.

¹ Это было в конце 1861 г.

² Поэт Платон Александрович Кусков (1834—1909) в 1861 г. печатался в журнале «Время».

³ Публицист, популяризатор, составитель книг для детского чтения Александр Егорович Разин (1823—1875), в 1861—1864 гг. постоянный сотрудник журналов «Время» и «Эпоха», прозванный А. А. Григорьевым из-за близости к революционно-материалистическим кругам Стенькой Разиным. В марте 1864 г. уехал на службу в Польшу. См. о нем: В. С. Нечаева. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». 1861—1863. М., 1972. С. 57—62; П. В. Быков. Силуэты далекого прошлого. М.; Л., 1930. С. 48—51.

В. Н. ПЕРЕТЦ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается по газете «Достоевский. Однодневная газета Русского библиологического общества», 1921, 30 октября (12 ноября).

¹ Надежда Прокофьевна Сулова (1843—1918), в замужестве Эрисман, первая русская женщина-врач, сестра возлюбленной Достоевского А. П. Суловой. Знакомство Достоевского с Н. П. Суловой состоялось в начале 1860-х гг. и перешло в дружеские отношения.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Текст печатается по «Петербургской газете», 1906, 29 января, № 28.

¹ Речь идет о писателе Григории Петровиче Данилевском (1829—1890), который напечатал в журнале «Время» в 1862—1863 гг. романы «Беглые в Новороссии» и «Воля» («Беглые воротились»).

² Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), историк, журналист.

³ Федор Николаевич Берг (1840—1909), поэт, беллетрист, журналист, в 1861—1863 гг. опубликовал во «Времени» 25 стихотворений, одно из которых — «В поле» — было посвящено Достоевскому. См. о нем: *Поэты 1860-х годов*. Л., 1968. С. 553—555.

⁴ Может быть, это был композитор А. Н. Серов, хотя ему тогда уже шел пятый десяток. А. Н. Серов познакомился с Достоевским в начале 1860-х гг., когда Ап. Григорьев привлек его к сотрудничеству в «Эпохе». (см. К. И. Званцов. А. Н. Серов в 1857—1871 гг. Воспоминания о нем. СПб., 1888. С. 17).

⁵ Знаменитый адвокат.

⁶ Сергей Михайлович Третьяков (1834—1892), брат основателя картинной галереи П. М. Третьякова.

⁷ Историк и публицист, издатель журнала «Вестник Европы».

А. Г. Ш. [А. Г. ШИЛЕ]

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ

Печатается по газете «Современная жизнь», СПб., 1906, 1/14 февраля № 19.

¹ Крупный книгопродавец и издатель. См. о нем: С. В. Белов. Издательская деятельность А. Ф. Базунова//Роль книги в демократизации культуры. Сб. науч. тр. Л., 1987. С. 61—73.

² Известный книгопродавец и издатель. См. о нем: Русский биографический словарь. Т. 9. СПб., 1903.

³ Исаков Яков Алексеевич (1811—1881), издатель и книгопродавец. См. о нем: С. В. Белов. Издатель Пушкина Я. А. Исаков//Временник Пушкинской комиссии. Вып. 21. Л., 1987. С. 173—180.

А. Г. ШИЛЕ

ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Печатается по газете «Биржевые ведомости», 1911, 27 января, № 12144, вечерний выпуск.

¹ Стихотворение Ф. Малерба „Consolation à monsieur Du Périer sur la mort de sa fille“.

² Как видно далее, это был пасынок Паша Исаев.

³ Речь идет о романе «Преступление и наказание».

4-е АПРЕЛЯ 1866 г.

(ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ)

Печатается по журналу «Былое», 1906, № 4. С. 299—300.

¹ Осип Иванович Комисаров спас Александра II от покушения Д. Каракозова.

Н. Н. ПОЛЯНСКИЙ

О ДОСТОЕВСКОМ. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается по рукописи, хранящейся в Российском государственном архиве литературы и искусства (ф. 212, оп. 1, ед. хр. 301).

¹ Вероятно, описка, т. к. летом 1866 г. Достоевскому было 45 лет.

² Ошибка. Это были добровольно взятые Достоевским на себя обязательства рассчитаться с долгами по журналам «Время» и «Эпоха» старшего брата Михаила, скончавшегося в 1864 г.

³ Это неверно. Достоевский всегда отличался большой аккуратностью в своем внешнем облике.

⁴ Об участии Г. П. Данилевского в кружке петрашевцев см. *Семевский В. И.* Петрашевцы. Студенты Толстов и Г. П. Данилевский, мещанин П. Г. Шапошников, литератор Катенев и Б. И. Утин. // *Голос минувшего*, 1916, № 11, 12.

В. ВАСИЛЬЕВ

НЕСКОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЙ О ДОСТОЕВСКОМ

Печатается по газете «Столичная молва», М., 1913, 9 декабря, № 341.

¹ Мария Александровна Иванова (1848—1929), дочь сестры писателя Веры Михайловны.

² Речь идет об Александре Петровиче Карепине (1841—?), племяннике писателя.

³ Василий Христофорович Смирнов, муж племянницы писателя М. П. Карпиной.

⁴ «Воспоминаниями» младшего брата писателя А. М. Достоевского (Л., 1930) это не подтверждается.

⁵ Описка. 22 декабря 1880 г., когда состоялась встреча Достоевского с Марией Федоровной, она еще не была императрицей.

СЧАСТЛИВЫЙ БРАК. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ. К ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРШИНЕ.

А. А. ИЗМАЙЛОВ

У А. Г. ДОСТОЕВСКОЙ

(К 35-ЛЕТИЮ СО ДНЯ КОНЧИНЫ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО)

Печатается по газете «Биржевые ведомости», 1916, 28 января, № 15350.

¹ Судя по письму А. Г. Достоевской к сыну Ф. Ф. Достоевскому от 25 февраля 1889 г. (см.: Л. Ланский. Коллекция автографов А. Г. Достоевской//Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1976. М., 1977. С. 74), эта встреча А. Г. Достоевской и Л. Н. Толстого произошла в феврале 1889 г.

² В 11-м томе Полного собрания сочинений Достоевского в 30 томах в 1974 г. глава «У Тихона» была напечатана в том виде, как она была подготовлена автором для печатания в «Русском вестнике».

³ Речь идет о вышедшей в 1868 г. в Вюрцбурге на французском языке книге Пауля Гримма «Тайны царского двора времен Николая I», в которой дана фантастическая картина деятельности кружка петрашевцев. Об этой книге и о резко отрицательном отношении к ней самого Достоевского см.: Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1936. С. 236—240.

⁴ См. о ней: Л. Ф. Достоевская. Достоевский в изображении своей дочери/Вступит. ст., подгот. текста к печати и прим. С. В. Белова. Пер. с нем. Е. С. Кибардиной. СПб., Андреев и сыновья, 1992.

М. Н. СТОЮНИНА

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ДОСТОЕВСКИХ

Печатается по газете «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1955, 1 мая, № 15709.

¹ Речь идет о книге философа Сергея Николаевича Булгакова (1871—1944) «Венец терновый. (Памяти Достоевского)». СПб., 1907.

² О смерти от простуды дочери Сони А. Г. Достоевская подробно рассказала в своих «Воспоминаниях» (М., 1987).

³ Вдова А. К. Толстого, литературный салон которой часто посещал в конце своей жизни Достоевский. См. об этом: Л. Ф. Достоевская. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., Андреев и сыновья, 1992.

А. В. КРУГЛОВ

ПРОСТЫЕ РЕЧИ

(ПАМЯТИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО)

Печатается по газете «Русское чтение», СПб., 1901, 10 ноября, № 90.

¹ А. Г. Достоевская пишет об этом в своих «Воспоминаниях». М., 1987.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ

Печатается по кн.: Мещерский В. П. Мои воспоминания. Ч. 2. (1865—1881 гг.). СПб., 1898. С. 175—182.

¹ Решение Достоевского, автора романа «Бесы» (воспринятого либерально-демократической критикой как пасквиль на революционное движение и современную молодежь), стать редактором консервативного еженедельника, союз писателя с ретроградом В. П. Мещерским, непреклонно отстаивавшим феодально-дворянские привилегии, яростным противником реформ (за что и был прозван «князем-точкой»), расценивалось почти всеми петербургскими органами печати как закономерный переход Достоевского в консервативный лагерь.

² Это был известный в будущем писатель Василий Иванович Немирович-Данченко (1848/49—1936). В своих воспоминаниях «Мои встречи с Некрасовым» он упоминает о встрече с Достоевским в 1874 г. на вечере у А. Н. Майкова (см. Литер. наследство. Т. 49—50. Кн. I. М., 1949. С. 596).

³ По свидетельству А. Н. Майкова, Достоевский-петрашевец предложил ему вступить в тайное общество с целью «произвести переворот в России». (см. *Исторический архив*, 1956, № 3. С. 222—226).

П. И. КАРЕЛИН

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

Печатается по рукописи, хранящейся в Российском государственном архиве литературы и искусства, ф. 553, оп. I, ед. хр. 1077.

¹ Это не соответствует «Воспоминаниям» А. Г. Достоевской (М., 1987), которую в первый же день пропустили к мужу, хотя, возможно, это неточная передача того факта, что, как отмечает А. Г. Достоевская, вечером 21 марта 1874 г. ее не пустили к мужу.

² Ложные слухи, основанные на том, что русские предки писателя жили на территории Польши и Литвы.

³ Достоевский читал «Отверженные» В. Гюго.

⁴ Речь идет о В. П. Мещерском и о журнале-газете «Гражданин».

В. А. САВОСТЬЯНОВА (ДОСТОЕВСКАЯ)

ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧАХ СО СВОИМ ДЯДЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ

Печатается по рукописи, хранящейся в Институте русской литературы (Пушкинском доме), ф. 56, тетрадь № 1.

¹ Встреча была в конце декабря — начале января 1876 г.

² Алеша Достоевский скончался в трехлетнем возрасте от припадка эпилепсии.

³ Впоследствии Александр Андреевич Достоевский (1857—1894) стал доктором медицины.

⁴ Евгения Андреевна Рыкачева (1853—1919), жена академика Михаила Александровича Рыкачева.

И. ЩЕГЛОВ

ТРИ МГНОВЕНИЯ

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ)

Печатается по газете «Биржевые ведомости», 1911, 29 января, № 24.

¹ Речь идет об очень популярном романе Анастасии Алексеевны Вербицкой «Ключи счастья» (1909—1913).

² Это был вечер в пользу Литературного фонда в зале Благородного собрания 9 марта 1879 г. с участием Тургенева, Полонского, Плещеева, Потехина, Салтыкова-Щедрина.

³ М. Г. Савина и И. С. Тургенев читали «Провинциалку» на следующем вечере 16 марта 1879 г., где Достоевский читал пушкинского «Пророка» (см. об этом сб. «Тургенев и Савина». Пг., 1918. С. 68—69).

К. И. МАСЛЕННИКОВ

ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

(МАТЕРИАЛ ДЛЯ БИОГРАФИИ)

Печатается по газете «Новое время», 1882, 12 октября.

¹ См. Евангелие от Иоанна, гл. 5, ст. 1—8.

А. ТОЛИВЕРОВА

ПАМЯТИ ДОСТОЕВСКОГО

Печатается по журналу «Игрушечка», 1881, № 6. С. 182—183.

Н. ПРУЖАНСКИЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ. МОЕ ЗНАКОМСТВО С ФЕДОРОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ДОСТОЕВСКИМ

Печатается по газете «Новые люди», СПб., 1910, 1 марта, № 2.

¹ Речь идет об издании Г. К. Градовским в 1876—1878 гг. газеты «Русское обозрение».

² В 1876 г. генерал Михаил Григорьевич Черняев командовал сербской армией в войне с Турцией.

А. А. ПЛЕЩЕЕВ

ВСТРЕЧИ С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ

Печатается по газете «Возрождение», Париж, 1929, 7 ноября.

¹ См. также: Плещеев А. А. 30-летие со дня смерти Некрасова. Воспоминания о Некрасове//Петербургская газета, 1907, 27 декабря, № 355.

² См. об этом: Короленко В. Г. Похороны Некрасова и речь Достоевского на его могиле//Короленко В. Г. Собр. соч. Т. 6. М., 1953. С. 197—200; Плеханов Г. В. Похороны Некрасова//Плеханов Г. В. Литература и эстетика. Т. 2. М., 1958. С. 206—209.

Н. РЕПИН

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И БОСЯК

(ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ)

Печатается по «Петербургской газете», 1903, 4 декабря, № 333.

¹ См. о нем: Шевяков Мих. Мировой судья А. И. Трофимов//Петроградский мировой суд за пятьдесят лет. 1866—1916. Т. 2. Пг., 1916. С. 1461—1462.

² А. И. Трофимов, выполняя пожелание Достоевского, освободил его обидчика от всякого наказания.

С. Ф. ЛИБРОВИЧ

НА КНИЖНОМ ПОСТУ. ВОСПОМИНАНИЯ.

ЗАПИСКИ. ДОКУМЕНТЫ

Печатается по кн.: С. Ф. Либрович. На книжном посту. Воспоминания. Записки. Документы. Пг., М., 1916. С. 42—43.

¹ Эти слова приводит также Г. К. Градовский в своих воспоминаниях «Итоги» (1862—1907). Киев, 1908. С. 18.

А. А. АЛЕКСАНДРОВ

ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ

(СТРАНИЧКА ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Печатается по журналу «Светоч и дневник писателя», 1913, № 1. С. 53—56.

¹ Рохель Александр Ансельмович — директор Старорусских минеральных вод.

Д. И. СТАХЕЕВ

ГРУППЫ И ПОРТРЕТЫ

(ЛИСТОЧКИ ВОСПОМИНАНИЙ)

Печатается по журналу «Исторический вестник», 1907, № 1. С. 84—88.

¹ Достоевский ездил в Оптину пустынь — старинный монастырь возле калужского города Козельска — с Вл. С. Соловьевым с 23 по 29 июня 1878 г. См.: С. В. Белов. К Амвросию, в Оптину//Север, 1990, № 1. С. 149—154.

² Речь идет о старце Амвросии (в миру Александр Михайлович Гренков) (1812—1891).

Б. П. БРЮЛЛОВ

ВСТРЕЧА С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ

(СО СЛОВ П. А. БРЮЛЛОВА)

Печатается по журналу «Начала», 1922, № 2. С. 264—265.

¹ О дружбе Достоевского с С. В. Ковалевской и ее сестрой А. В. Корвин-Круковской см. в кн.: С. В. Ковалевская. Воспоминания и письма. М., 1961.

А. ДОГАНОВИЧ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ФЕЛЬДШЕРИЦЫ

Печатается по журналу «Наблюдатель», 1885, октябрь. С. 332—334. В РГАЛИ сохранился вариант этих воспоминаний.

К. П. ОБОДОВСКИЙ

ЛИСТКИ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Печатается по журналу «Исторический вестник», 1893, № 12. С. 773—775.

А. А. ТОЛСТАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

Печатается по кн.: Переписка Л. Н. Толстого с графиней А. А. Толстой. 1857—1903 гг. СПб., 1911. С. 25—26.

¹ В письме к Н. Н. Страхову от начала февраля 1881 г. Л. Н. Толстой откликнулся на смерть Достоевского: «Я никогда не видал этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек... Опора какая-то отскочила от меня. Я растерялся, а потом стало ясно, как он мне был дорог, и я плакал и теперь плачу» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. Т. 63. С. 43).

А. САЛЬНИКОВ

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ О ЛЮБВИ ПУШКИНА К НАРОДУ

Печатается по газете «Новое время», 1899, 13 (25) апреля, № 8307.

ЗАВЕЩАНИЕ. РЕЧЬ О ПУШКИНЕ

Н. А. ШАМИН

ВОСПОМИНАНИЯ О ФЕДОРЕ МИХАЙЛОВИЧЕ ДОСТОЕВСКОМ

Печатается по рукописи, хранящейся в Российском государственном архиве литературы и искусства, ф. 1331, оп. 1, ед. хр. 1.

КОЛОМЕНСКИЙ КАНДИД [В. О. МИХНЕВИЧ]

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Печатается по газете «Новости и биржевая газета», СПб., 1881, 1 февраля, № 30.

БУКВА [И. Ф. ВАСИЛЕВСКИЙ]

ИЗ МОСКОВСКИХ В ЧЕСТЬ ПУШКИНА ПРАЗДНЕСТВ В 1880 ГОДУ (ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ)

Печатается по газете «Русские ведомости», М., 1899, 19 мая, № 136.

¹ Впоследствии академик, известный историк литературы Николай Савич Тихонравов (1832—1893).

² Литератор Виктор Павлович Гаевский (1826—1888) в 1880 г. был председателем Литературного фонда.

³ Юрист Николай Степанович Таганцев (1843—1923)— впоследствии сенатор, член Государственного совета, почетный член Российской академии наук.

⁴ Стояновский Николай Иванович (1820—1900) в 1862—1867 гг. был товарищем министра юстиции.

СМЕРТЬ. ПОХОРОНЫ

А. Г. ДОСТОЕВСКАЯ

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА 1881 ГОДА

Печатается по рукописи, хранящейся в Институте русской литературы (Пушкинском доме). Незначительную часть записей А. Г. Достоевская застенографировала, в других оставила небольшие пропуски. Расшифровку стенографических записей из этой записной книжки нам помогла сделать стенографистка Ц. М. Пошеманская. Расшифрованные места даются в квадратных скобках, а пропущенные и восстановленные — в угловых.

¹ Далее пропуск.

² Темно-красный и сине-малиновый цвет.

³ Достоевская Любовь Федоровна (1869—1926)— дочь Ф. М. Достоевского, писательница.

⁴ Достоевская Софья Федоровна (1868— умерла в возрасте 3 месяцев), дочь Ф. М. Достоевского.

⁵ Достоевский Федор Федорович (1871—1921)— сын Ф. М. Достоевского, специалист по коннозаводству.

⁶ Достоевский Алексей Федорович (1875—1878), сын Ф. М. Достоевского, умер в трехлетнем возрасте от припадков эпилепсии.

⁷ Имеется в виду упоминаемый в литовских документах XVI века Стефан Иванович Достоевский.

⁸ Лентовский Михаил Васильевич (1843—1906)— антрепренер и артист московского Малого театра, сочинявший под псевдонимом Можаров разные оперетки и обозрения.

⁹ Вагнер Николай Петрович (1829—1907)— писатель (псевдоним Кот Мурлыка), профессор зоологии Петербургского университета.

¹⁰ Достоевский Михаил Михайлович (1820—1864)— старший брат писателя.

¹¹ Точнее Щиrowsкие — семья врача К. А. Щиrowsкого.

¹² Куманина Александра Федоровна (1796—1871), Куманин Александр Алексеевич (1792—1863)— тетка писателя и ее муж.

¹³ Неточно. Это было в мае 1837 г.

¹⁴ Ламовский Александр Михайлович (?—1893)— товарищ Достоевского по пансиону.

¹⁵ О ком идет речь, установить не удалось. Возможно, описка и речь идет об А. Ф. Куманиной или об одной из приживалок в ее доме.

¹⁶ Эта запись, а также ряд близких по смыслу записей Достоевского в записных тетрадях 1880—1881 гг. (см. «Литер. наследство». Т. 83. М., 1971), свидетельствуют о его желании в сатирическом жанре откликнуться на многочисленные проекты изменения экономического и политического положения в России после прихода к власти М. Т. Лорис-Меликова (1825—1888), ставшего в 1880 г. министром внутренних дел.

¹⁷ Выделением слов, тире между слогами и ремаркой Анна Григорьевна указала, что так читал Достоевский («он») в последние годы жизни в публичных выступлениях «Пророка» и «Скупого рыцаря» (измененная строчка «И потекут сокроища мои»).

¹⁸ Здесь и далее речь идет о последних днях жизни Достоевского. Четверг был 22 января 1881 г.

¹⁹ Достоевский Михаил Михайлович (1846—1896)— младший сын старшего брата писателя М. М. Достоевского.

²⁰ Поляков Борис Борисович (?—1884), адвокат и поверенный сестер и братьев Достоевских по делу о наследстве их тетки А. Ф. Куманиной.

²¹ Майков Аполлон Николаевич (1821—1897)— поэт, переводчик, критик.

²² То есть «Дневника писателя».

²³ Академик-филолог Яков Карлович Грот (1812—1893) был членом комитета по устройству памятника Пушкину в Москве.

²⁴ Миллер Орест Федорович (1833—1889)— фольклорист, историк литературы.

²⁵ Екатерина Ипполитовна Сниткина — жена двоюродного брата Анны Григорьевны, врача-педиатра М. Н. Сниткина.

²⁶ Достоевский должен был выступить на вечере памяти Пушкина 29 января 1881 г.

²⁷ Герард Владимир Николаевич (1839—1903)— знаменитый адвокат, часто выступавший в качестве чтеца на литературных вечерах. В первой биографии писателя (Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб., 1883) говорится о том, что Достоевский сам решил изменить программу и вместо «Евгения Онегина» читать небольшие стихотворения А. С. Пушкина.

²⁸ В объявлении о вечере в «Новом времени» сказано, что В. Н. Герард должен был читать вместе с любительницей А. Ф. Лауниц.

²⁹ Здесь пропуск. Достоевский, по свидетельству О. Ф. Миллера, согласился прочесть «Пророка», «Странника», из «Подражания Корану», «Из Данта» («И дале мы пошли — и страх обнял меня»; «Тогда я демонов увидел черный рой»).

³⁰ Софья Сергеевна Кашпирева (? — после 1917 г.)— редактор и издательница детского журнала «Семейные вечера», друг семьи.

³¹ Герой романа Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба».

³² Неточно. Это письмо от 26 января 1881 г. к редактору «Русского вестника» Н. А. Любимову, в котором Достоевский просит выслать ему остаток гонорара за напечатанный в журнале роман «Братья Карамазовы».

³³ Достоевский страдал расстройством желудка, и Анна Григорьевна обозначала это словом «дело».

³⁴ Здесь и далее речь идет о похоронах Достоевского.

³⁵ Запись связана, вероятно, с именем И. С. Тургенева.

³⁶ Речь идет о Вуколе Михайловиче Лаврове (1852—1912)— журналисте и переводчике, издателе журнала «Русская мысль», которого Достоевский в письме к Анне Григорьевне от 27/V — 1880 г. называет своим «страстным, иступленным почитателем».

³⁷ «Золотым веком» Достоевский называет картину французского художника Клода Лоррена (1600—1682)— «Асис и Галатея», находящуюся в Дрезденской галерее. Достоевский трижды возвращается к этой картине в своих произведениях: в «Бесах» («Исповедь Ставрогина»), в «Подростке» (рассказ Версилова о первых днях европейского человечества) и в «Дневнике писателя» за 1877 г. («Сон смешного человека»).

³⁸ Копия картины Ганса Гольбейна Младшего (1497 или 1498—1543), которую Ф. М. и А. Г. Достоевские видели в Дрезденской галерее в 1867 г.

³⁹ Здесь пропуск.

⁴⁰ Пьеса Д. В. Аверкиева шла в Петербурге, в Александринском театре.

⁴¹ Штакеншнейдер Елена Андреевна (1836—1897)— дочь известного архитектора А. И. Штакеншнейдера, хозяйка литературного салона. Вторник был 27 января 1881 г.

⁴² Кошляков Дмитрий Иванович (1835—1891)— терапевт, профессор Медико-хирургической академии.

⁴³ Бретцель Яков Богданович (1842—1918)— петербургский врач, лечивший Достоевского, оставил воспоминания о предсмертной болезни Достоевского (см. «Литер. наследство», Т. 86. С. 309—314).

⁴⁴ Достоевская (Иванова) Вера Михайловна (1829—1896)— сестра Ф. М. Достоевского. По свидетельству дочери писателя Л. Ф. Достоевской в ее кн. «Достоевский в изображении его дочери» (М.-Пг., 1922) и по рассказу самой Анны Григорьевны в ее письме к Н. Н. Страхову от 21 октября 1883 г. (опубликовано в кн. Л. П. Гроссмана «Жизнь и труды Ф. М. Достоевского». М.-Л., 1935), между Достоевским и его сестрой произошел бурный разговор о наследстве их тетки А. Ф. Куманиной, явившийся главной причиной, ускорившей смерть писателя. Правда, Л. Ф. Достоевская относит этот разговор к 25 января 1881 г., а Анна Григорьевна к 26 января.

⁴⁵ Исаев Павел Александрович (1846—1900)— пасынок Ф. М. Достоевского.

⁴⁶ Речь идет о члене ученой комиссии Министерства народного просвещения по естественнонаучной части философе Н. Н. Страхове, о котором Достоевский хотел говорить в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1881 г. В записных тетрадях Достоевского 1880—1881 гг. есть запись к «Дневнику» 1881 г.: «Классическая реформа. Произвели классическую реформу отвлеченно. Главное забыли, что мы не Европа». («Лит. наследство». Т. 83. С. 668). Т. И. Орнатская в публикации отрывков из записной книжки А. Г. Достоевской («Лит. газ.», 1986, 16 апр.) ошибочно приняла «Философа», т. е. Н. Н. Страхова, за студента Философа (публикатора ввело в заблуждение имя) Николаевича Орнатского (1860—1918).

⁴⁷ Это письмо к хорошей знакомой Достоевского конца 1870-х гг. графине Елизавете Николаевне Гейден опубликовано И. С. Зильберштейном в «Литер. наследстве». Т. 86. Как указывает сама Анна Григорьевна в предисловии к этому письму, оно было продиктовано ей Достоевским в день смерти.

⁴⁸ Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899)— писатель, друг Ф. М. Достоевского в 1840-е гг.

⁴⁹ Покровский Михаил Павлович (184? — до 1883)— один из руководителей студенческого революционного движения 1860-х гг., восторженный почитатель Достоевского, часто встречавшийся с ним после своей ссылки, в 1870-х гг.

⁵⁰ Рыкачева Евгения Андреевна (1853—1919)— племянница Ф. М. Достоевского.

⁵¹ Майкова Анна Ивановна (1830—1911)— жена А. Н. Майкова.

⁵² Возможно, запись связана с тем, что в январе 1881 г. в «Новом времени» Достоевский увидел рекламу романа «У пристани» своей хорошей знакомой писательницы С. И. Смирновой. «На распутьи» — роман В. Г. Авсеенко (СПб. 1871). Ср. также в романе «Бесы»: «По части русской беллетристики? Позвольте, я что-то читал... «По пути»... или «В путь»... или «На перепутье», что ли, не помню».

⁵³ Я Вас нежно люблю, и я тоже очень. (*фр.-итал.*).

⁵⁴ Ну, хорошо (*фр.*).

⁵⁵ Достоевский просил прочесть Анну Григорьевну из Евангелия, подаренного ему в Тобольске женами декабристов по дороге на каторгу.

⁵⁶ Анна Григорьевна прочла Достоевскому перед смертью открывшуюся страницу из Евангелия от Матфея: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». После того как Анна Григорьевна прочла Достоевскому эти строки, он сказал ей: «Ты слышишь — «не удерживай» — значит, я умру». (А. Г. Достоевская. «Воспоминания». М., 1981. С. 375).

⁵⁷ 28 января 1881 г. в газете «Новое время» появилось сообщение о том, что Достоевский «сильно занемог, вечером 26 января, и лежит в постели».

⁵⁸ У Достоевского лопнула легочная артерия и пошла горлом кровь.

⁵⁹ Имеется в виду вышеуказанное письмо к Е. Н. Гейден.

⁶⁰ Речь идет о спорах с сестрами о куманинском наследстве.

⁶¹ Джой (Джо) — персонаж из «Посмертных записок Пиквикского клуба».

⁶² Речь идет о письме Н. А. Любимову.

⁶³ Прислуга в доме Достоевского.

⁶⁴ Это был А. А. Пфейфер.

⁶⁵ Пасынок П. А. Исаев.

А. К. БОРОЗДИН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается по газете «День», СПб., 1916, 28 января, № 27.

¹ А. К. Бороздин учился во 2-й петербургской гимназии.

Ю. И. ФАУСЕК

ВОСПОМИНАНИЯ О ПОХОРОНАХ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Печатается по рукописи, хранящейся в Российской национальной библиотеке, ф. 807, ед. хр. 2, тетр. 9, с. 34—35.

ЗАПИСКА НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЛИЦА О ПОХОРОНАХ ДОСТОЕВСКОГО — ИЗ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЫ 1 ФЕВРАЛЯ 1881 г.

Печатается по рукописи, хранящейся в Российском государственном архиве литературы и искусства, ф. 46, оп. 2, ед. хр. 146.

А. В. КРУГЛОВ

ПЕСТРЫЕ СТРАНИЧКИ

(ИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ)

Печатается по журналу «Исторический вестник», 1895, № 11. С. 481—483.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

- Абельдяев В.*, автор воспоминаний о Достоевском — 52—56, 297
Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), публицист, поэт — 169, 266, 268
Александр II (1818—1881) — 28, 105, 112, 181, 293, 300, 305
Александр III (1845—1894) — 29
Александра Федоровна (1798—1860), императрица, жена Николая I — 90, 93
Александров, купеческий сын — 211—213
Александров Анатолий Александрович (1861—1930), приват-доцент Московского университета, автор воспоминаний о Достоевском — 241—243, 309
Александров Петр Акимович (1838—1893), присяжный поверенный — 239
Анненков Иван Александрович (1802—1878), декабрист, знакомый Достоевского — 50
Анненкова Прасковья (Полина) Егоровна (урожд. Гёбль) (1800—1876), жена декабриста И. А. Анненкова — 47, 97, 118
Апухтин Александр Львович (1822—1903), директор Константиновского межевого института в Москве — 178
Ар-ев И., мемуарист — 42—44, 295
Ауэрбах Бертольд (1812—1882), немецкий писатель — 270
- Бабков*, подполковник, начальник дивизионного штаба — 113
Базунов Александр Федорович (1825—1899), издатель и книгопродавец — 171, 172, 174, 304
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 269
Барышев, странник, встречавшийся на каторге с Достоевским — 52—54
Бахирев Алексей Иванович, семипалатинский офицер — 105, 106
Бахирев Андрей Иванович (1820 — после 1903), брат Алексея Бахирева, штабс-капитан 7-го линейного Сибирского батальона, в котором служил Достоевский — 79, 97, 105, 116, 144, 146, 301
Бахирев Николай Андреевич, сын Андрея Бахирева — 107
Безобразов Николай Михайлович, камер-юнкер — 235
Белих(к)ов Г., подполковник, командир 7-го линейного Сибирского батальона, в котором служил Достоевский — 78, 79, 101, 108, 114, 122, 125, 126, 140, 141, 145, 155, 166, 299
Берг, владелец петербургских аттракционов — 57, 298

* В указатель вошли имена, встречающиеся только в тексте воспоминаний. Цифры, обозначающие страницы вступительной статьи, вступительных заметок и примечаний, набраны курсивом.

Указатель составил С. В. Белов.

Берг Федор Николаевич (1840—1909), поэт, журналист, беллетрист — 169, 195, 304

Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880), журналист и публицист — 165, 303

Бобринцев-Пушкин Николай Сергеевич (1800—1871)— декабрист — 50

Бобринцев-Пушкин Павел Сергеевич (1802—1865), декабрист — 50, 297

Борейша Анна Петровна, смотрительница петербургского Дома предварительного заключения — 225

Бороздин Александр Корнилиевич (1863—1918), историк литературы — 285, 286, 315

Бретцель Яков Богданович (1842—1918), врач — 17, 283, 314

Брюллов Борис Павлович (1882—1940), сын художника П. А. Брюллова, профессор, искусствовед — 250, 310

Брюллов Карл Павлович (1799—1852), живописец — 94

«Последний день

Помпеи» — 94

Брюллов Павел Александрович (1840—1914), художник — 250, 251, 310

Буква — см. Василевский И. Ф.

Булгаков Валентин Федорович (1886—1966), последний секретарь Л. Н. Толстого — 158—160, 302

Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944), философ, экономист, публицист — 198, 306

Бунаков Николай Федорович (1837—1904), педагог, беллетрист, этнограф, статистик — 167, 303

Бутурлин Николай Александрович (1801—1867), генерал-лейтенант — 53

В., свидетель ареста Достоевского — 37, 38

Вагнер Николай Петрович (1829—1907), писатель (псевд. Кот Мурлыка), профессор зоологии — 277, 312

Валиханов Чокан Чингисович (1835—1865), казахский просветитель, друг Достоевского — 124, 143, 301

Василевский Ипполит Федорович (1849 — после 1918), фельетонист, публицист (псевд. Буква) — 266—272, 311

Васильев В., мемуарист — 184, 305

Васильева (урожд. Тюменцева) Е. Евгеньевна, дочь кузнецкого священника Е. Тюменцева — 160

Веденяев, семипалатинский офицер — 100, 102, 128

Вейнберг Петр Исаевич (1831—1908), историк литературы, поэт и переводчик — 176, 177, 269, 305

Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861—1928), писательница — 218, 308

Вергунов Николай Борисович (1832 — после 1883), учитель из Кузнецка, знакомый Достоевского — 134—136, 159

Верецагина Маргарита, ученица фельдшерской школы в Петербурге — 252, 253

Витте Сергей Юльевич (1849—1915), граф, государственный деятель — 28

Владимиров, вице-губернатор Тобольска — 51

Вольф Маврикий Осипович (1825—1883), издатель, книгопродавец — 239, 240

Врангель Александр Егорович (1833—1915), барон, семипалатинский прокурор, друг Достоевского, дипломат и археолог — 105, 107, 109, 115, 116, 119, 122—124, 126, 130, 132—135, 141, 149—152, 154—156, 299—301

Вуич Иван Васильевич, полковник, начальник штаба гвардейского пехотного корпуса — 39—41, 295

Гааз Федор Петрович (1780—1853), врач — 42, 296

Гаевский Виктор Павлович (1826—1888), литератор, в 1880 г. председатель Литературного фонда — 269, 311

Гасфорт(д) Густав Христианович (1794—1874), генерал-губернатор Западной Сибири (1851—1860) и командующий отдельным Сибирским корпусом — 90—93, 155, 156, 300, 302

Гейбович Артем Иванович (?—1865), ротный командир 7-го линейного Сибирского батальона в Семипалатинске, в котором служил Достоевский — 97, 110, 147, 300, 301

Гейден (урожд. Зубова) Елизавета Николаевна (1833—1894), графиня, знакомая Достоевского — 283, 314, 315

Герард Владимир Николаевич (1839—1903), адвокат — 280, 313

Герасимов Борис Георгиевич (1872—1934), священник, исследователь семипалатинского периода жизни Достоевского — 87, 114—157, 299, 301, 302

Гергей Артур (1818—1916), главнокомандующий венгерской национальной армией в период революции в Венгрии 1848—1849 гг. — 148, 302

Герштенцвейг Александр Данилович (1818—1873), генерал-лейтенант — 113, 144

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 248, 249, 251

«Фауст» — 251

Гиришфельд, поляк, инженер, политический ссыльный в Семипалатинске после восстания 1848 г. — 148

Гладышев Н. Е., фельдшер Омского военного госпиталя в 1850-х гг. — 79

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — 165, 169

Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 201, 208

Гольбах Поль Анри (1723—1789), французский философ — 93

Гольбейн Ганс Младший (1497—1543), немецкий художник — 250, 283, 313

Горбунов Иван Федорович (1831—1895), актер — 267

Горчаков П. Д. (1789—1868), князь, генерал-губернатор Западной Сибири — 47, 48, 297

Градовский Григорий Константинович (1842—1915), публицист — 229, 308, 309

Грибоедов Александр Сергеевич (1792—1829) — 165, 169

Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899), писатель — 126, 165, 235, 283, 314

Григорьев Николай Петрович (1822—1886), петрашевец — 39—41, 47, 294

Грот Яков Карлович (1812—1893), академик-филолог — 280, 312

Данилевский Григорий Петрович (1829—1890), писатель — 169, 182, 185, 304, 305

«Беглые в Новороссии» — 182

«Девятый вал» — 182

«Мирович» — 182

Дебэ Огюст (1802—1890), французский врач — 171

«Философия брака» — 171

Демчинский Василий Петрович, адъютант военного губернатора в Семипалатинске — 94

Денисов, майор, сменивший Г. Белихова на посту командира 7-го линейного Сибирского батальона в Семипалатинске — 101

Дмитриев, кузнецкий портной — 159

Дмитриев, попечитель учебного округа — 258

Добровольский Владимир Иванович (1838—1904), профессор, глазной врач — 168

Доброславин Александр Петрович (1842—1889), профессор, один из основоположников экспериментальной и военной гигиены в России — 168

Доганович (псевд. А. Н. Кругловой) Анна Никитична (1857—1940), фельдшерница, детская писательница — 252, 253, 310

Долгоруков Владимир Андреевич (1810—1891), московский генерал-губернатор в 1865—1891 гг. — 181

Дометти (Домете) Александр Карлович (1793—1877), генерал-лейтенант, начальник 24-й пехотной дивизии — 89—93, 113, 301

Достоевская (урожд. Сниткина) Анна Григорьевна (1846—1918), вторая жена Достоевского — 27, 28, 33, 174, 189—202, 211, 214—216, 258, 275—284, 306, 307, 311—315

Достоевская Любовь Федоровна (1869—1926), дочь Достоевского, писательница — 17, 198, 202, 276, 277, 282, 306, 312, 314

Достоевская (урожд. Константин, в первом браке Исаева) Мария Дмитриевна (1824—1864), первая жена Достоевского — 78, 84, 107—109, 111, 115, 122—125, 130—137, 141, 145, 149, 151, 158—160, 299, 301, 302

Достоевская София Федоровна (1868 — умерла в возрасте 3 месяцев), дочь Достоевского — 17, 200, 276, 306, 312

Достоевский Александр Андреевич (1857—1894), сын брата писателя А. М. Достоевского, доктор медицины — 215, 307

Достоевский Алексей Федорович (1875—1878), сын Достоевского — 29, 214—216, 276, 281, 293, 307, 312

Достоевский Андрей Михайлович (1825—1897), брат писателя, архитектор — 120, 214—216, 294, 296, 298, 305

Достоевский Андрей Федорович (1908—1968), внук писателя, инженер и преподаватель — 174

Достоевский Михаил Михайлович (1820—1864), брат писателя, переводчик, издатель, драматург — 30, 97, 101, 106, 110, 112, 117, 119, 125, 138, 150, 167, 173, 277, 278, 298, 305, 312

Достоевский Михаил Михайлович (1846—1896), племянник писателя — 279, 283, 312

- Достоевский Федор Михайлович* (1821—1881)—
 «Бедные люди» — 38, 75, 90, 163
 «Белые ночи» — 183
 «Бесы» — 26, 114, 190, 215, 306, 313, 314
 «Братья Карамазовы» — 14, 17, 25, 28, 56, 191, 200, 218, 241, 257, 279, 299, 313
 «Дневник писателя» — 68, 191, 201, 206, 221—227, 243, 296, 312, 313
 «Дядюшкин сон» — 112, 116, 127, 300
 «Записки из Мертвого дома» — 38, 44, 67, 123, 127, 163, 298
 «Игрок» — 196
 «Идиот» — 17, 127, 129, 243, 279, 296, 299, 301
 «Маленький герой» («Детская сказка») — 112, 301
 «На первое июля 1855 года» — 90—93, 300
 «Неточка Незванова» — 163, 279
 «Преступление и наказание» — 6, 8, 80, 180, 184, 257, 296, 298
 «Речь о Пушкине» — 234, 241
 «Село Степанчиково и его обитатели» — 112, 116, 127
 «Униженные и оскорбленные» — 129, 196
- Достоевский Федор Федорович* (1871—1921), сын писателя — 276, 282, 284, 306, 312
- Достоевский Федор Федорович* (1905—1921), внук писателя — 174
- Достоевский Стефан Иванович*, предок писателя (XVI в.) — 276, 312
- Дружинин Александр Васильевич* (1824—1864), критик и беллетрист — 165
- Дубельт Леонтий Васильевич* (1792—1862), генерал-лейтенант, в 1839—1856 гг. управляющий III Отделением, член следственной комиссии по делу петрашевцев — 38, 43, 44
- Дуров Сергей Федорович* (1816—1869), петрашевец, поэт — 47—50, 296
- Дэбэ* — см. Дебэ Огюст
- Дягилев Павел Дмитриевич* (1808—1883), отец общественной деятельницы А. П. Философовой — 28
- Дягилев Сергей Павлович* (1872—1929), театральный деятель — 28
- Егоров*, колпинский мещанин — 237
- Елисеев Григорий Захарович* (1821—1891), публицист и журналист — 269
- Ждан-Пушкин Иван Викентьевич* (1813—1872), генерал-майор, с 1842 по 1862 г. инспектор классов в Сибирском кадетском корпусе в Омске — 48, 297
- Жемчужников*, генерал, начальник штаба Омского корпуса — 48
- Жуковский Василий Андреевич* (1783—1852) — 165, 281
- Загуляев Михаил Андреевич* (1843—1900), журналист, писатель, переводчик — 102, 301
- Засулич Вера Ивановна* (1849—1919), деятельница революционного движения — 28, 239, 240
- Звонарев С. В.*, петербургский книгопродавец — 171

Иванов Александр Павлович (1813—1868), врач, муж сестры писателя Веры Михайловны — 178, 179, 303

Иванов Алексей (? — после 1893), семипалатинский знакомый Достоевского, личный адъютант начальника 24-й пехотной дивизии — 89, 93, 300

Иванова (урожд. Достоевская) Вера Михайловна (1829—1896), сестра писателя — 17, 178, 179, 283, 303, 305, 314

Измайлов Александр Алексеевич (1873—1921), критик, беллетрист, поэт, пародист — 17, 189—195, 306

Исаев Александр Иванович (? — 1855), чиновник особых поручений при таможне в Семипалатинске, муж М. Д. Исаевой — 107, 115, 125, 130, 132, 134, 148, 149, 158

Исаев Павел Александрович (1848—1900), пасынок Достоевского — 17, 107, 108, 122, 125, 130—137, 141, 173, 283, 302, 304, 315

Исаева М. Д. — см. Достоевская Мария Дмитриевна.

Исаков Яков Алексеевич (1811—1881), издатель и книгопродавец — 171, 222, 223, 304

Камене́цкая (урожд. Философова) Мария Владимировна (1862—1920?), дочь А. П. Философовой — 23, 26

Карелин П. И., литературовед — 211, 307

Карлейль Томас (1795—1881), английский философ и историк — 66, 298

Карцов, сотрудник петербургской газеты «Голос» — 240

Катанаев Иван Михайлович, кузнецкий исправник — 159

Катанаева Анна Николаевна, жена И. М. Катанаева — 158, 159

Катков Михаил Никифорович (1818—1887), издатель, редактор, публицист — 110, 112, 125, 215, 241, 243, 280, 284, 301

Кац Н. Ф. (1837—1912), сослуживец Достоевского по роте в Семипалатинске — 75—77, 87, 96, 99, 101, 105, 120, 121, 144, 299

Каченовский Владимир Михайлович (1826—1892), литератор и переводчик, сотоварищ писателя по пансиону Л. Чермака, сын М. Т. Каченовского — 30—33, 293

Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842), историк, с 1837 г. — ректор Московского университета, с 1841 г. — академик — 30, 33, 293

Кашпирева София Сергеевна (? — после 1917 г.), редактор и издательница журнала «Семейные вечера» — 280, 283, 312

Кеннан Джордж (1845—1924), американский журналист — 128, 302

«Сибирь и ссылка» — 128, 302

Кириллова, жительница Петербурга — 221

Ковалевская (урожд. Корвин-Круковская) Софья Васильевна (1850—1891), математик, доктор философии — 249, 310

Ковалевский Владимир Онуфриевич (1842—1883), палеонтолог и геолог, муж С. В. Ковалевской — 249

Ковригин Николай Никифорович (1809—?), подполковник, горный ревизор при военном губернаторе Западной Сибири — 78, 79, 101, 115, 146, 299

Кожанчиков Дмитрий Ефимович (1820 или 1821—1877), книгопродавец и издатель — 171

Коломенский Кандид (наст. фамилия Владимир Осипович Михневич, 1841—1899), критик, журналист — 264, 265, 311

Комаровская Анна Егоровна (1832—?), графиня, фрейлина при дворе Александра II — 256

Комисаров Осип Иванович, крестьянин, предотвративший покушение Д. В. Каракозова на Александра II в 1866 г. — 176, 177, 305

Кони Анатолий Федорович (1844—1927), академик, юрист и общественный деятель — 211, 228, 239, 269, 296

Корнилова Екатерина Прокофьевна (ок. 1856—1878), петербургская швея — 221—226

Корчуганов Д. В., житель Кузнецка — 160

Кошаров (Кошеров) Павел Михайлович (?—после 1891), томский художник, встречавшийся в Семипалатинске с Достоевским — 94, 95, 300

Кошляков Дмитрий Иванович (1835—1891), профессор Медико-хирургической академии — 17, 283, 284, 313

Краевский Андрей Александрович (1810—1889), журналист, историк, издатель — 165, 170, 269

Круглов Александр Васильевич (1853—1915), писатель — 203—205, 289, 290, 306, 315

Кубарев Алексей Михайлович (1796—1881), филолог, адъюнкт римской словесности Московского университета, историк — 31

Куманин Александр Алексеевич (1792—1863), муж тетки писателя А. Ф. Куманиной — 277, 312

Куманина Александра Федоровна (1796—1871), тетка писателя — 17, 277, 278, 312, 314

Кусков Платон Александрович (1834—1909), поэт — 167, 303

Кушелев-Безбородко Григорий Александрович (1832—1876), граф, писатель и издатель — 110, 112, 127, 301

Лавров Вукол Михайлович (1852—1912), журналист, переводчик, издатель — 281, 313

Ламовский (Ломовский) Александр Михайлович (?—1893), товарищ Достоевского по пансиону Л. Чермака — 31, 278, 294, 312

Ламотт (Лямотт) Станислав (Владислав) Августович, студент Виленского университета, высланный в Семипалатинск за принадлежность к тайной организации — 115, 124

Лауниц А. Ф., чтица — любительница — 280, 313

Леже Луи (1843—1923), французский славист, профессор — 270

Лентовский Михаил Васильевич (1843—1906), антрепренер и артист — 276, 312

Лепухин (Липухин, Ляпухин), семипалатинский почтальон — 78, 108, 109, 111, 115, 125, 127, 128, 142, 145

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 233

Лесков Николай Семенович (1831—1895) — 169, 239

Либрович Сигизмунд Феликсович (1855—1918), журналист, историк книги и писатель-популяризатор — 239, 309

Липранди Иван Петрович (1790—1880), чиновник особых поручений в Министерстве внутренних дел — 42, 296

Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825—1888), граф, в 1880—1881 гг. министр внутренних дел — 71, 235, 312

Львов Федор Николаевич (1823—1885), петрашевец — 47, 50, 51

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897), поэт, друг Достоевского — 6, 18, 104, 105, 135, 150, 169, 176, 177, 190, 192, 248, 249, 269, 280, 283—285, 307, 312

Майкова Анна Ивановна (1830—1911), жена А. Н. Майкова — 283, 314

Максимов Сергей Васильевич (1831—1901), писатель — 269

Малевский, петербургский архитектор — 221

Мамонтова (урожд. Мельчакова) Е. А. (? — после 1924), знакомая Достоевского в Семипалатинске — 103, 105, 115, 116, 121, 122, 147, 301

Мария Федоровна (1847—1928), императрица, жена Александра III — 185, 305

Маркевич Алексей Иванович (1847—1903), историк, встречавшийся с Достоевским — 50, 163, 297, 302

Масленников Константин Иванович (1847 — после 1899), юрист, присяжный поверенный — 221—227, 308

Мельчакова — см. Мамонтова (урожд. Мельчакова) Е. А.

Мессарош, полковник, командир линейного казачьего полка в Семипалатинске — 146, 155

Мещерский, князь, отбывавший ссылку солдатом в Семипалатинске — 94

Мещерский Владимир Петрович (1839—1914), князь, писатель, публицист, издатель — 202, 206—211, 307

Миллер Орест Федорович (1833—1889), историк литературы — 17, 201, 280, 283, 284, 313

Мильгаузен Александр Богданович, соученик Достоевского по пансиону Л. Чермака, брат Ф. Б. Мильгаузена — 31

Мильгаузен Федор Богданович (1820—1878), профессор Московского университета по финансовому праву, соученик Достоевского по пансиону Л. Чермака — 31, 294

Милюков Александр Петрович (1817—1897), писатель, критик, друг Достоевского — 37, 117, 169, 294, 297, 301

Момбелли Николай Александрович (1823—1902), петрашевец — 39—41, 47, 50

Муравьев Александр Михайлович (1802—1853), декабрист — 50

Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866), граф, государственный деятель — 44, 296

Муравьева (урожд. Бракман) Жозефина Адамовна, жена декабриста А. М. Муравьева — 47, 97, 118

Неболсин Григорий Павлович (1811—1896), сенатор, член Государственного совета — 165

Неворотова Елизавета Михайловна (1837—1918), семипалатинская знакомая Достоевского — 80—88

Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877)— 38, 106, 202, 233, 259, 260, 308, 309

«Мороз Красный нос» — 259

Немирович-Данченко Василий Иванович (1848/49—1936), писатель — 207, 307

Никитин Константин, сын А. М. Никитиной — 85

Никитин Николай, сын А. М. Никитиной — 81, 82

Никитина Анастасия Михайловна (?—1919), сестра семипалатинской знакомой Достоевского Е. М. Неворотовой — 80—88

Никитина Нина Готфридовна, племянница Е. М. Неворотовой — 80—88

Николай I (1796—1855)— 40, 90, 94, 117, 148, 208, 306

Новикова (урожд. Киреева) *Ольга Александровна* (1840—1925), публика — 66, 298

Нововейский, поляк, солдат, сослуживец Достоевского в Семипалатинске — 111, 148

Ободовский Константин Петрович (? — после 1903), писатель, знакомый Достоевского — 254—257, 310

Оболенская Александра Алексеевна, княгиня, владелица женской гимназии в Петербурге — 199, 200

Окороков Д. И., житель Кузнецка, знакомый Достоевского — 160

Ольденбургский, принц *Петр Георгиевич* (1812—1881), сенатор, член Государственного совета — 105, 126, 141, 216, 233, 266

Ордынский Карл Иванович, казначей 7-го линейного Сибирского батальона в Семипалатинске — 78, 79, 101, 115, 125, 148, 299

Ордынский Феликс Иванович, брат К. И. Ордынского — 148

Орлов Алексей Федорович (1786—1861), шеф жандармов в 1844—1856 г. — 43

Островский Александр Николаевич (1823—1886), драматург — 266, 267, 269, 285

Пален Константин Иванович (1833—1912), граф, в 1867—1878 гг. министр юстиции — 208

Пальм Александр Иванович (1822—1885), драматург-петрашевец — 38, 40, 41, 112, 295

Пальшины, семипалатинские домовладельцы — 77, 78, 101, 102, 114, 147

Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель — 165

Перевощиков Дмитрий Матвеевич (1790—1880), математик, астроном, профессор Московского университета — 31, 294

Перевощиков Петр Дмитриевич, сын Д. М. Перевощикова — 31

Перетц Владимир Николаевич (1870—1935), филолог-академик — 168, 303

Петр I Великий (1672—1725) — 255, 269

Петрашевский (Бутаевич-Петрашевский) *Михаил Васильевич* (1821—1866), руководитель общества петрашевцев, утопический социалист — 39—44, 47, 50, 51, 94, 182, 191, 208, 235, 295, 298, 300

Пешехонов, семипалатинский судья — 104, 116, 124

Пешкова-Толиверова Александра Николаевна (1842—1918), писательница, издательница — 228, 308

Пинчук Василий Александрович (?—1919), журналист — 37, 294
Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868), критик и публицист — 165, 166, 259, 303

Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881), писатель — 268, 269, 271, 272, 285

Плевако Федор Никифорович (1843—1908), адвокат — 169, 170

Плещеев Александр Алексеевич (1858—1944), сын А. Н. Плещеева, писатель, театральный критик — 232—235, 308

Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893), поэт — 38—41, 164, 165, 219, 232, 233, 256, 269, 295, 308

Плещеева Елена Алексеевна, дочь А. Н. Плещеева — 232

Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), обер-прокурор Синода, друг Достоевского — 190, 193

Полонский Яков Петрович (1819—1898), поэт и критик — 195, 219, 253—255, 269, 271, 285, 308

Поляков Борис Борисович (? — 1884), адвокат — 279, 312

Полянская Мария Николаевна (? — 1918), жена Н. И. Полянского — 180

Полянский Николай Иванович (?—1884), преподаватель Константиновского межевого института в Москве, отец Н. Н. Полянского — 178

Полянский Николай Николаевич (1862—1938), писатель — 178—183, 305

Попов Л. К., петербургский журналист — 290

Пружанский Н. (псевд., наст. фамилия Линовский) Николай Осипович, 1844 — после 1910), писатель, знакомый Достоевского — 229—301, 308

Пушкин Александр Александрович (1833—1914), сын А. С. Пушкина — 233, 234, 269

Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 27, 29, 32, 116, 123, 164—166, 181, 200, 233, 259, 263, 266—272, 296, 303, 304, 308, 310—313

«Деревня» — 259

«Евгений Онегин» — 166, 234, 272, 280, 296, 313

«Египетские ночи» — 121

«Капитанская дочка» — 166, 272

«Пророк» — 200, 220, 308, 312, 313

«Скупой рыцарь» — 259, 312

«Цыгане» — 272

Пушкин Григорий Александрович (1835—1905), сын А. С. Пушкина — 269

Пушкина (Гартунг) Мария Александровна (1832—1919), дочь А. С. Пушкина — 269

Пушкина (Меренберг) Наталья Александровна (1836—1913), дочь А. С. Пушкина — 269

Разин Александр Егорович (1823—1875), публицист, популяризатор — 167, 303

Ратьков-Рожнов Александр, муж З. В. Ратьковой-Рожновой — 28

Ратькова-Рожнова (урожд. Философова) Зинаида Владимировна (1870—1966), дочь А. П. Философовой — 23—26, 28

Репин Н., журналист — 236, 309

- Рожновский* А. К., каторжник — 57—65, 298
- Романовский* Клавдий Маркович, учитель географии и истории в пансионе Л. Чермака — 31, 294
- Рохель* Александр Ансельмович, доктор, директор Старорусских минеральных вод — 243, 309
- Рыкачева* (урожд. Достоевская) Евгения Андреевна (1853—1919), племянница Достоевского — 283, 308, 314
- Савина* Мария Гавриловна (1854—1915), актриса — 219, 308
- Савостьянова* (урожд. Достоевская) Варвара Андреевна (1858—1935), дочь брата писателя А. М. Достоевского — 214—216, 307
- Салтыков* Георгий Ильич, присяжный поверенный, племянник М. Е. Салтыкова-Щедрина — 182
- Салтыков-Щедрин* Михаил Евграфович (1826—1889) — 182, 256, 308
- Сальников* Александр Николаевич (1851—1909), критик, писатель — 259, 260, 310
- Самарин* Юрий Федорович (1819—1876), публицист и общественный деятель — 209
- Сапожников*, чиновник таможенного ведомства в Кузнецке — 159
- Свистунов* Петр Николаевич (1803—1889), декабрист — 50
- Семенов-Тянь-Шанский* Петр Петрович (1827—1914), граф, географ, путешественник — 94, 95, 124, 300
- Сер-в*, знакомый Достоевского — 169
- Сидоров* А. С., штаб-трубач 7-го линейного Сибирского батальона в Семипалатинске — 99, 102, 144
- Синкин*, дьякон в Семипалатинске — 104
- Скандин* А. В., исследователь семипалатинского периода жизни Достоевского — 96—113, 144, 299, 300
- Сниткина* Екатерина Ипполитовна, жена двоюродного брата А. Г. Достоевской — 280, 284, 313
- Соловьев* Владимир Сергеевич (1853—1900), философ, поэт, критик — 202, 244—248, 309
- Спешнев* Николай Александрович (1821—1882), петрашевец — 47, 50, 102
- Спешнева*, владелица женской гимназии в Петербурге — 199
- Спиридонов* Петр Михайлович, полковник, военный губернатор Семипалатинской области в 1854—1856 гг. — 123, 150, 151, 155
- Стасюлевич* Михаил Матвеевич (1826—1911), историк, публицист, издатель — 169
- Стахеев* Дмитрий Иванович (1840—1918), критик — 244—248, 309
- Степанова*, жена ротного командира Достоевского в Семипалатинске — 130
- Степанова* (Цихонович) Елизавета Карловна, знакомая Достоевского — 168
- Стоюнин* Владимир Яковлевич (1826—1888), педагог — 196—202
- Стоюнина* (урожд. Тихменева) Мария Николаевна (1846—1940), гимназическая подруга А. Г. Достоевской, жена В. Я. Стоюнина — 196—202, 306
- Стояновский* Николай Иванович (1820—1900), юрист, в 1862—1867 гг. товарищ министра юстиции — 269, 311

Страхов Николай Николаевич (1828—1896), философ, критик, публицист — 5, 7, 14, 26, 167, 190, 244—248, 289, 293, 310, 314

Стэд Вильям Томас (1849—1912), английский писатель — 66, 298

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912), писатель, журналист, издатель — 229, 269

Сумароков Сергей Павлович (1793—1875), командир гвардейского пехотного корпуса, генерал-лейтенант — 39, 40

Суслова Надежда Прокофьевна, в замужестве Эрисман (1843—1918) первая русская женщина-врач, сестра возлюбленной Достоевского А. П. Сусловой — 168, 303

Сухомлинов Михаил Иванович (1828—1901), академик, историк литературы — 269

Сытина (урожд. Гейбович) Зинаида Артемовна, дочь ротного командира 7-го линейного Сибирского батальона в Семипалатинске А. И. Гейбовича — 110, 111, 147, 301

Таганцев Николай Степанович (1843—1923), юрист, сенатор, член Государственного совета, почетный член Российской академии наук — 269, 311

Темезева Т. М., дочь кузнецкого чиновника — 158—160

Темнова М. В., жительница Кузнецка — 158, 160

Теннисон Альфред (1809—1892), английский поэт — 270

Тецкой, полицмейстер Тобольска — 50

Тимковский Константин Иванович (1814—1881), петрашевец — 41

Тихонравов Николай Саввич (1832—1893), академик-историк литературы — 269, 270, 311

Толиверова — см. Пешкова-Толиверова А. Н.

Толль (Толь) Феликс Густавович (1823—1867), петрашевец, писатель, педагог — 50, 297

Толстая Александра Андреевна (1817—1904), графиня, двоюродная тетка Л. Н. Толстого — 256, 257, 310

Толстая (урожд. Бахметьева) Софья Андреевна (1844—1892), графиня, жена А. К. Толстого, хозяйка литературного салона — 202

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 6, 26, 27, 158, 190, 245, 257, 258, 285, 293, 306, 310

«Анна Каренина» — 26

Тотлебен Эдуард Иванович (1818—1884), граф, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг. — 105, 112, 126, 141, 143, 302

Третьяков Сергей Михайлович (1834—1892), московский городской голова, брат П. М. Третьякова — 169, 304

Троицкий Иван Иванович, старший доктор Омского военного госпиталя — 49, 297

Трофимов Александр Иванович (1818—1884), мировой судья в Петербуге — 237, 238, 309

Трубецкая Зинаида Александровна (р. 1908), княгиня, внучка А. П. Философовой — 6, 23—29, 293

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 7, 26, 169, 170, 181, 200, 202, 219, 234, 256, 266, 268, 270, 271, 285, 308, 313

«Дворянское гнездо» — 234, 270

Тыркова Ариадна Владимировна (1869—1962), писательница — 23, 27, 28, 293

Тюменцев Евгений (? — после 1884), священник в Кузнецке, венчавший Достоевского и М. Д. Исаеву — 160

Угелянский Петр, дьякон в Кузнецке — 160

Фаусек (урожд. Андрусова) Юлия Ивановна (1863—1941?), деятельница дошкольного воспитания — 287, 315

Феоктистов Николай Васильевич, сибирский журналист, поэт — 80—88, 299

Филарет (Дроздов Василий Михайлович, 1782—1867), с 1826 г. московский митрополит — 52

Философов Владимир Владимирович (1858—1929), сын А. П. Философовой — 23—26, 28

Философов Владимир Дмитриевич (1820—1894), статс-секретарь, главный военный прокурор, член Государственного совета, муж А. П. Философовой — 24, 27, 293

Философов Дмитрий Владимирович (1872—1940), сын А. П. Философовой, критик — 24, 26, 28, 293

Философов Дмитрий Николаевич (1789—1862), отец В. Д. Философова — 28

Философова (урожд. Дягилева) Анна Павловна (1837—1912), общественная деятельница, знакомая Достоевского — 23—29, 293

Фирсов Николай Николаевич (1839—?) (псевд. Рускин Л.), писатель — 164—166, 303

Фонвизина (урожд. Апухтина, во втором браке Пущина) Наталья Дмитриевна (1805—1869), жена декабриста М. А. Фонвизина — 47, 97, 118, 296

Францева Мария Дмитриевна, дочь прокурора Тобольска — 47—49, 296

Фридрихс, генерал-майор, военный губернатор Киргизской губернии — 155

Фукс Э. Я., петербургский прокурор — 224

Фурье Шарль (1772—1837), французский утопический социалист — 50

Хлыновы, жители Семипалатинска — 107, 110, 121

Хоме(я)нтовский Миханл Михайлович, бригадный генерал, с 1859 г. начальник провиантской комиссии во Владимире — 78, 94, 101, 115, 145, 146, 299—301

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — 219

«Патетическая симфония» — 219

Чермак Леонтий (Леопольд) Иванович (серед. 1770-х—1840-е гг.), содержатель пансиона в Москве, где в 1834—1837 гг. обучался Достоевский — 30, 31, 278, 294

Черновитов Рафаил Александрович (1810—1868), петрашевец — 90, 300

Черняев Михаил Григорьевич (1828—1898), генерал, в 1876 г. командующий сербской армией в войне с Турцией — 229, 308

Чошин Григорий А., петербургский детский врач — 216

Ш., свидетель ареста Достоевского в 1849 г. — 38

Шаликова А. Ф., княгиня — 30

Шамин Николай Андреевич (1862—1933), писатель — 263, 311

Шахматов Алексей Александрович (1864—1920), академик-филолог — 181

Шашков С., знакомый мемуариста А. Южного — 57

Шекспир Вильям (1564—1616) — 248, 249

Шиле Аделаида Гавриловна (1842—1919), писательница — 171—175, 304

Шпильгаген Фридрих (1829—1911), немецкий писатель — 70

Штакенингейдер Елена Андреевна (1836—1897), хозяйка литературного салона, знакомая Достоевского — 17, 283, 313

Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), историк, журналист — 169, 304

Шумахер Александр Данилович (1820—1898), сенатор, соученик Достоевского по пансиону Л. Чермака — 31, 294

Шумахер Дмитрий Данилович, соученик Достоевского по пансиону Л. Чермака, брат А. Д. Шумахера — 31

Щеглов И. (Иван Леонтьевич Леонтьев, 1855—1911), писатель — 217—220, 308

Щиrowsкая Аграфена Степановна, жена К. А. Щиrowsкого — 30, 312

Щиrowsкий Кузьма Алексеевич, врач Мариинской больницы в Москве — 30, 277, 312

Энгельке Карл Федорович (1786—?), губернатор Тобольска — 50

Южный А., мемуарист — 57—65

Юрьев Сергей Андреевич (1821—1888), председатель Общества любителей российской словесности — 268—270

Ядринцев Николай Михайлович (1842—1894), сибирский писатель, археолог, этнограф — 67—70, 298

Яковлев Н., исследователь семипалатинского периода жизни Достоевского — 77—79, 101, 102, 299

Ястржембский Иван-Фердинанд Львович (1814—1880), петрашевец — 50, 117, 118, 296

СОДЕРЖАНИЕ

<i>С. В. Белов.</i> «Гений и злодейство — две вещи несовместные»	5
--	---

ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ

<i>З. А. Трубецкая.</i> Достоевский и А. П. Filosofova	23
<i>В. М. Каченовский.</i> Мои воспоминания о Ф. М. Достоевском	30

АРЕСТ. ЭШАФОТ. КАЗНЬ

<i>В. А. Пинчук.</i> Из жизни Ф. М. Достоевского	37
<i>Ив. Вуич.</i> Дневник	39
<i>А. Н. Плещеев.</i> [Воспоминания]	41
<i>И. Ар-ев.</i> Из воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском	42

КАТОРГА

<i>М. Д. Францева.</i> Воспоминания	47
<i>А. М. [А. И. Маркевич].</i> К воспоминаниям о Ф. М. Достоевском (Рас- сказ очевидца)	50
<i>В. Абельдяев.</i> Памяти Ф. М. Достоевского	52
<i>А. К. Рожновский.</i> Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском (Со слов А. Южного)	57
<i>О. А. Новикова.</i> Депутат от России. Воспоминания и переписка. 1880—1885	66
<i>Н. М. Ядринцев.</i> Достоевский в Сибири	67

ССЫЛКА. ПЕРВЫЙ БРАК

<i>Н. Ф. Кац.</i> [Воспоминания]	75
<i>Н. Яковлев.</i> Заметка о жизни Достоевского в Семипалатинске	77
<i>Н. В. Феоктистов.</i> Пропавшие письма Федора Михайловича Досто- евского	80
<i>А. Иванов.</i> Встреча с Достоевским (Из моих поездок по Азиатской России)	89
<i>П. М. Кошаров.</i> Воспоминания о Достоевском	94
<i>А. В. Скандин.</i> Достоевский в Семипалатинске	96
<i>Б. Г. Герасимов.</i> Новые данные о жизни Достоевского в Семипа- латинске	114
<i>Б. Г-в [Б. Г. Герасимов].</i> Достоевский в Семипалатинске [Статья первая]	117
<i>Б. Г-в [Б. Г. Герасимов].</i> Ф. М. Достоевский в Семипалатинске [Статья вторая]	130
<i>В. Ф. Булгаков.</i> Ф. М. Достоевский в Кузнецке	158

ПЕРВАЯ ВЕРШИНА. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

<i>А. И. Маркевич.</i> Памяти Ф. М. Достоевского	163
<i>Н. Н. Фирсов.</i> В редакции журнала «Русское слово» (Из воспоминаний шестидесятника)	164

Н. Ф. Бунаков. Записки. Моя жизнь, в связи с общерусской жизнью, преимущественно провинциальной. 1837—1905	167
В. Н. Перетц. Из воспоминаний	168
Одиссей. Записная книжка	169
А. Г. Ш. [А. Г. Шиле]. Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском	171
А. Г. Шиле. Памяти Ф. М. Достоевского	173
П. И. Вейнберг. 4-е апреля 1866 г. (Из моих воспоминаний)	176
Н. Н. Полянский. О Достоевском. Из воспоминаний	178
В. Васильев. Несколько воспоминаний о Достоевском	184

СЧАСТЛИВЫЙ БРАК. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ. К ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРШИНЕ

А. А. Измайлов. У А. Г. Достоевской (К 35-летию со дня кончины Ф. М. Достоевского)	189
М. Н. Стоюнина. Мои воспоминания о Достоевских	196
А. В. Круглов. Простые речи (Памяти Ф. М. Достоевского)	203
В. П. Мецкерский. Мои воспоминания	206
П. И. Карелин. Ф. М. Достоевский в заключении	211
В. А. Савостьянова (Достоевская). Воспоминания о встречах со своим дядей Ф. М. Достоевским	214
И. Щеглов. Три мгновения (Из воспоминаний о Ф. М. Достоевском) .	217
К. И. Масленников. Эпизод из жизни Ф. М. Достоевского (Материал для биографии)	221
А. Толливерова. Памяти Достоевского	228
Н. Пружанский. Литературные воспоминания. Мое знакомство с Федором Михайловичем Достоевским	229
А. А. Плещеев. Встречи с Ф. М. Достоевским	232
Н. Репин. Ф. М. Достоевский и босяк (Из моих воспоминаний) . . .	236
С. Ф. Либрович. На книжном посту. Воспоминания. Записки. Документы	239
А. А. Александров. Федор Михайлович Достоевский (Страничка из воспоминаний)	241
Д. И. Стахеев. Группы и портреты (Листочки воспоминаний) . . .	245
Б. П. Брюллов. Встреча с Ф. М. Достоевским (Со слов П. А. Брюллова)	250
А. Доганович. Из воспоминаний фельдшерицы	252
К. П. Ободовский. Листки из записной книжки	254
А. А. Толстая. Воспоминания	257
А. Сальников. Ф. М. Достоевский о любви Пушкина к народу . . .	259

ЗАВЕЩАНИЕ. РЕЧЬ О ПУШКИНЕ

Н. А. Шамин. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском . .	263
Коломенский Кандид [В. О. Михневич]. Вчера и сегодня	264
Буква [И. Ф. Василевский]. Из московских в честь Пушкина празднеств в 1880 году (по личным воспоминаниям)	266

СМЕРТЬ. ПОХОРОНЫ

А. Г. Достоевская. Записная книжка 1881 года	275
А. К. Бороздин. Из воспоминаний	285
Ю. И. Фаусек. Воспоминания о похоронах Ф. М. Достоевского . . .	287
Записка неустановленного лица о похоронах Достоевского — из Александро-Невской Лавры 1 февраля 1881 г.	288
А. В. Круглов. Пестрые странички (Из литературных воспоминаний)	289
Примечания	291
Указатель имен	316

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«АНДРЕЕВ И СЫНОВЬЯ»,
ВЫХОДЯЩИЕ В СВЕТ В 1993 ГОДУ**

Серия «Русские издатели»

**С. В. БЕЛОВ. «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
П. И. ЮРГЕНСОНА»**

Тираж 5000 экз., 160 стр., обложка

Книга С. В. Белова «Музыкальное издательство П. И. Юргенсона» — первая книга о крупнейшем музыкальном издательстве России.

Автор уделяет большое внимание в этой книге биографии. Но все же основное внимание уделяется прежде всего выпущенным им изданиям. И дело не только в том, что некоторые пробелы в биографии П. И. Юргенсона уже невозможны. Просто внешняя жизнь его была не богата событиями, а если и были какие-нибудь события, то они или проходили как бы незаметно, или всегда были связаны с музыкой.

Лучшим материалом для понимания личности Петра Ивановича, направления и характера его деятельности являются выпущенные им музыкальные издания. Поэтому первая обстоятельная книга о П. И. Юргенсоне — это прежде всего рассказ о его изданиях, о размахе его музыкально-издательского дела, ибо сам Петр Иванович подчеркивал в своем завещании: «...Я всей душой предавался служению этому делу, что оно мне очень близко к сердцу было не только по выгоде, но как создание мое, приносящее пользу не только мне, но и очень многим».

Цель предлагаемой книги — дать читателям представление о размахе и значении музыкально-издательской деятельности П. И. Юргенсона, показать, что он по праву занимает в истории русского издательского дела и в истории русской музыкальной культуры одно из самых почетных и высоких мест.

**Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
В ЗАБЫТЫХ И НЕИЗВЕСТНЫХ ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ**

Художественный редактор *В. Д. Кашин*
Технический редактор *С. Н. Холстина*
Корректоры *Н. В. Викторова, С. П. Доничкина*
Выпускающий *О. Я. Карманова*

Сдано в набор 03.02.93. Подписано к печати 13.09.93. Формат 60×90¹/₁₆.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,0. Тираж
5000 экз. Заказ 45.

Издательство «Андреев и сыновья».
196143, Санкт-Петербург, а/я 176, ул. Орджоникидзе, 5.

Ордена Трудового Красного Знамени ГП «Техническая книга» типогра-
фия № 8 Мининформпечати РФ. 190000, Санкт-Петербург, Прачечный пер.,
д. 6.

